

457029
К

Евней
Букетов

Шесть
писем
другу





Евней
Букетов

Шесть
писем
друзю

66.017.83 K23

Б 90

Рецензент Брагин А. И

Б $\frac{4702010201-56}{408(05)89}$ 30-89

ISBN 5-610-00439-X.

© Издательство «Жалын», 1989.

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. Муканова
г. Петропавловск

457029

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Я не буду в предисловии отступать от жанра книги и тоже обращаться с письмом к читателю.

Дорогой друг! Ты держишь в своих руках книгу с необычной, а если говорить прямо и откровенно, с трагической судьбой.

В сокращенном и несколько упрощенном виде рукопись Евнея Арстановича Букетова впервые увидела свет в восьмом и девятом номерах журнала «Простор» за 1978 год.

Я познакомился с рукописью еще до ее публикации, и на меня, как и на других товарищей, она произвела самое отрадное впечатление. Я был убежден, что ее появление в печати станет событием в нашей культурной жизни.

Мне довелось видеть, с каким трепетом и поистине юношеским волнением перелистывал эти свежие книжки журнала Евней Арстанович. Пусть ему было уже пятьдесят три года, пусть рукопись претерпела хирургические вмешательства,— все равно на душе у автора было празднично.

В редакции повести дали название «Время светлой судьбы», которое теперь воспринимается только с горькой иронией. И рубрика «Документальная проза», и подзаголовок «Записки научного работника» предопределили, казалось бы, жанр произведения как мемуарный. Так ли это? Это не совсем так. Конечно, многое здесь совершенно достоверно. В повествовании и крупным планом, и в отдельных деталях присутствует автобиографический элемент. Но биография того лица, от имени которого ведется повествование, далеко не всегда совпадает с биографией автора. Наряду с действующими лицами, существовавшими в жизни,— названы их подлинные фамилии,— мы встречаем просто придуманных писателем людей, созданных его художественным воображением. И доискиваться, с кого они списаны, дело в данном случае ненужное и не всегда доказуемое.

В этой связи прежде всего следует помнить о том, что повесть Евнея Букетова — художественное произведение, лишь опирающееся на дей-

ствительность. В повести сказались и талант, и определенная профессиональная подготовка прозаика. Он выступил отнюдь не новичком, а скорее традиционалистом, возрождая жанр повести в письмах, которым любили пользоваться писатели прошлого, к которому прибегали и Пушкин, и Тургенев. Букетов перенес любовь к письмам в жизни (надо полагать, он оставил большое эпистолярное наследие) к письмам и в своих занятиях литературой.

Но вернемся к судьбе журнального варианта. «Записки научного работника» были тепло встречены читателями. Добрые письма шли и в адрес автора, и в адрес редакции. Разумеется, попадались письма и с критическими замечаниями, но они занимали незначительную часть почты.

И вдруг взмах дубинки, неожиданный удар из-за угла. 19 мая 1979 года в молодежной республиканской газете появился фельетон «В соавторстве с... Хлестаковым», подписанный кандидатом исторических наук Ю. Роциным. В конце семидесятых годов это имя наводило страх на писателей, научных работников, Ю. Роцин появлялся на страницах алма-атинской периодики. Когда-то сотрудничавший под другой фамилией в республиканской газете и не создавший в те времена не то что шедевра, а просто запомнившейся статьи, он перебрался в Москву и внезапно предстал перед читателями Алма-Аты знатоком ее литературной и общественной жизни. Он раздавал лавровые венки тем, кто их не заслуживал, а уж пользоваться критической дубиной научился, как заплечных дел мастер.

Он увидел в «Записках» «скособоченную общественно-политическую картину», наклеил Букетову двойной ярлык «прямого родственника» горьковского Клима Самгина и леоновского Грацианского.

В фельетоне была обдуманно подчеркнута и должность Букетова, бывшего в ту пору ректором Карагандинского государственного университета.

Не требовалось обладать большой прозорливостью, чтобы осмыслить случившееся — надо было во что бы то ни стало скомпрометировать Букетова как ученого, как деятеля науки.

Да, Букетову пришлось расстаться с университетом, он вернулся научным сотрудником в Карагандинский химико-металлургический институт, в котором был директором до ректорства. Инициаторы травли (а Роцин всего-навсего выполнял их волю) достигли подспудной цели, развенчав Букетова как деятеля науки, как организатора, ведь вслед за крупной газетной инсинуацией поползли мелкие слухи и слухи. Теперь в новом своем качестве скромного научного сотрудника, ведущего какие-то исследования в лаборатории (а скомпрометировать эти исследования еще легче, чем отстранить от ректорства!), он уже не представлял никакой опасности для тогдашнего президента Академии наук республики.

Рикошетом фельетон задел и литературную работу Букетова. Да, перед ним захлопнулись двери издательств, хотя сами издатели видели в нем одного из самых желанных авторов. Я говорю, фельетон задел рикошетом Букетова-писателя. Только задел, ибо писатель — не должность, с которой можно снять. Разве способна клевета лишить художника его дара, клевета в силах огорчить, потрясти, даже выбить из колеи на какой-то срок. Забегая вперед, скажу, что отлучение от административной деятельности плодотворно сказалось на литературном творчестве Евнея Арстановича. Больше того, «отлучение» вплотную приблизило к нему его любимую химию.

Букетова сняли с постов, и его недруги торжествовали. Торжествовали прежде всего те, для кого высокий пост, престижная должность являлись заветной целью, смыслом жизни.

Недруги завидовали не столько таланту (в таланте они разбирались не слишком глубоко) Евнея Арстановича, сколько его популярности.

Но тут, дорогой мой читатель, в нетерпении своем ты можешь задать мне законный вопрос: кто же он, Евней Арстанович Букетов? Ученый или писатель? И даже если он сочетал литературный труд с научным творчеством, то что же в нем преобладало?

Отвечу вопросом на вопрос. А кем был композитор Александр Порфирьевич Бородин? Химики станут перечислять его труды и изобретения, и окажется, что этот список никак не меньше списка музыкальных произведений композитора Бородина, создателя таких шедевров, как опера «Князь Игорь» или симфоническая картина «В Средней Азии».

Одаренные натуры часто бывают разносторонни, полифоничны. Вспомните Чокана Валиханова, о котором, к месту будет сказано. Евней Букетов написал блестящий этюд, грозивший развиться в большую книгу. Чокан — ученый, историк и этнограф, отважный путешественник, тонкий стилист-писатель и, наконец, художник.

Таков и Евней Букетов. Человек яркого и многогранного таланта. Его многолетний друг А. И. Перевертун пишет, какое огромное впечатление произвел на него еще в 1951 году молодой аспирант-металлург Букетов в спектральной лаборатории Казахского горно-металлургического института. Он показал глубокое знание методики химических анализов вообще и спектрального в частности. Его способность к научно-исследовательской работе выглядит бесспорной. Тридцать лет спустя, уже изруганный и гонимый, в своей лаборатории он настойчиво и остроумно разрабатывал метод получения искусственной нефти из высокочольного угля и воды с применением сферосплавов. За три дня до смерти он писал начальнику «Карагандаглавснаба»: «...воспомоше-

ствуй, Христа ради, насосами высокого давления (хотя бы одним) для будущих бензиновых рек из угольного бассейна».

В почти тридцатилетнем промежутке между аспирантскими занятиями и — увы! — незавершенной разработкой метода получения искусственной нефти — две диссертации: кандидатская и докторская, Государственная премия СССР за внедрение технологии комплексной переработки медных руд на Балхашском горно-металлургическом комбинате. «Я — производственник, я — металлург» — не без гордости говорил он о себе, уже будучи академиком. На предприятиях цветной металлургии Казахстана и Урала его встречали как своего и очень необходимого человека. Он — советчик, рационализатор, изобретатель. Около семидесяти авторских свидетельств и зарубежных патентов в его «производственном» портфеле. Уже после его смерти в Карагандинский химико-металлургический институт из Москвы пришло официальное уведомление, что новому способу электрохимического окисления фосфора «...присвоено имя авторов, и он имеет название: Способ Букетова — Баешева».

Даже это краткое перечисление вполне убедит тебя, наш читатель, что Евней Арстанович был крупным ученым-химиком, что напряженный поиск нового, раздумья над проблемами металлургической химии были его естественным состоянием и в годы ректорства в КарГУ.

При всем при том он был талантливым и своеобразным писателем.

Влюбленный в химию, он проникал в таблицу Менделеева, как в ритмы стихов Пушкина и Маяковского. Он написал очерк о Менделееве, вдохновенный, словно поэма. И познавал законы стихосложения, они открывались ему яснее химических формул.

Еще аспирантом он стал бывать в редакции «Казахстанской правды», приносил рецензии на спектакли казахских и русских театров, статьи о литературе. Что-то печаталось, что-то отвергалось.

Занятия поэзией, театром, публицистикой и, наконец, художественной прозой он продолжал всю свою жизнь.

Оглянувшись на пройденный путь уже в зрелые годы, убедился, что сделано немало, хотя значительно меньше, чем задумал.

Оглянемся и мы...

Одни его переводы на казахский язык стихов Сергея Есенина, в том числе и поэмы «Анна Снегина», могут составить целую книгу, как и стихи Маяковского с поэмой «Хорошо!».

Театральные увлечения Евнея Букетова дали казахскому театру «Клопа» Вл. Маяковского и «Макбета» Шекспира. «Макбет» был поставлен Карагандинским театром имени Сакена Сейфуллина и вывозился во время гастролей в Алма-Ате. Имя переводчика стояло на афише. «Неужели это академик Букетов, химик-металлург?..» — удивлялись иные зрители.

Печатное наследие Букетова-писателя не так уж велико. В 1975 году на казахском языке в издательстве «Жазушы» вышла книга его очерков «Человек, родившийся на верблюде». Спустя год это же издательство выпустило уже на русском языке небольшую по объему книгу документальной художественной прозы «Грани творчества».

Литературные портреты деятелей науки и культуры Казахстана, опубликованные в этих двух книгах, написаны мастерски, с глубоким знанием и любовью. Прочитайте, к примеру, очерк «Человек, родившийся на верблюде», кстати, впервые напечатанный на страницах журнала «Знамя». Главное действующее лицо очерка — доктор медицинских наук, профессор Ишанбай Каракулович Каракулов. Это он, не только ученый, но и крупный общественник международного плана, действительно появился на свет во время кочевья, как сказано об этом в заголовке очерка. Здесь же возникает пока только эскизно набросанный портрет академика Каныша Имантаевича Сатпаева, потом Каныш станет его болью и радостью, как писал Евней Арстанович в одном из писем ко мне, а эскиз развернется в большое, незавершенное, к нашей горести, повествование. В своих очерках писатель знакомит нас со многими учеными Казахстана. И вот что характерно: в целой портретной галерее, созданной Букетовым, встречаются не только выдающиеся деятели-казахи. Здесь есть и русские люди, и татарин, и осетин, и еврей. Как в жизни друзей, так и героев своих очерков Евней Арстанович выбирал не по национальному признаку. Он был подлинным интернационалистом в большом и малом.

Если говорить о самой большой его привязанности, о любимом его герое, то, кроме уже упомянутого Каныша Сатпаева, это был, конечно, Чокан Валиханов, который в равной мере был великим казахским просветителем и великим ученым, принадлежавшим двум народам — казахскому и русскому.

В литературном наследии Букетова выделяется эссе «Святое дело Чокана», опубликованное в 18-м сборнике «Пути в неизвестное. Писатель рассказывает о науке» (Москва, издательство «Советский писатель», 1985 г.). Не будет лишним напомнить, что он был и членом редакционной коллегии этого авторитетного союзного издания.

Эссе Евнея Букетова не теряется в относительном обилии научно-популярных и художественных произведений о Чокане (Аликея Маргулана, Сабита Муканова, Сергея Маркова, Ирины Стрелковой и др.). Вроде бы и факты известные, а воспринимается эссе как новое слово о Валиханове. Даже о его дружбе с Достоевским, дружбе, ставшей «ярчайшей страницей в истории братства русского и казахского народов», рассказано по-своему, по-букетовски. Высвечивается новое и в своеобразной и очень точной оценке того, как объективно, с достоинством, но не без иронии относится Чокан к своей родословной, уходящей в далекий и жестокий век Чингисхана. По-своему осмысливается и бес-

страшное путешествие в Кашгарию. Букетов объяснил подвиг Чокана чрезвычайно простой и одновременно насыщенной мыслями формулировкой: «Только фанатично преданный науке Чокан Валиханов мог на виду пирамиды человеческих голов пренебрегать опасностями и заниматься делами ученого. И в этом смысле его подвиг ничем не отличается от подвига Архимеда». Главные рассуждения автора эссе перемежаются лирическими отступлениями и даже корректной, но достаточно острой полемикой с современниками Валиханова. Букетов приводит слова Потанина: «Чокан был большой лентяй». И разрушает этот, в общем, невинный миф. Остроумно рассказанный в эссе «артистическая одаренность Чокана» и «его неподражаемая способность к розыгрышам», кроющаяся отчасти в его национальном характере. Да, ведь и сам Евней Арстанович ценил остроумное слово, мог посмеяться над приятелем, умел сделать шутливый сюрприз.

Он не отделял литературы от жизни, щедро выплескивал добрые чувства на страницы своих книг.

Ты ощутишь это, дорогой читатель, знакомясь с той повестью, которую мы тебе предлагаем. История этой книги была, как ты уже знаешь, горькой. Теперь ее судьба становится светлой.

Читая книгу, мысленно представляешь ее героя и по праву отождествляешь героя с автором.

Как он любит свою Родину, любит отчужденную степь, сыновней застенчивой любовью. Описание степи, описание сенокоса, слиянность физического труда с восхищением запахом трав, распаханностью простора — одно из лучших мест в книге.

Сам Евней Арстанович был навсегда очарован неброской и чистой красотой заповедных ему с аульного детства краев.

Один из его друзей сказал:

— Если он что-нибудь и любил в лесу, то широкие поляны. Лесные чащи его стесняли... Зрелому Евнею Букетову больше всего по душе был степной простор.

Я отдыхал как-то вместе с Евнеем Арстановичем и его семьей в Каркаралинске. Мне запомнилось, как он с сыновьями купался в озере Пашенном. Он буквально часами не выходил из воды, а потом загорал на горно-степном солнце. И, одеваясь, говорил:

— Неужели на Черном море лучше? Да вы только посмотрите, какой здесь пляж! Глубже вдохните воздух, где вы еще найдете такой: он пахнет соснами и степью.

Любви трудно научиться, как трудно научиться и настоящей дружбе. Воспитание чувств — самая сложная наука.

И все же молодой человек, постигнув, как привязан был Евней Арстанович к природе и людям, к своим учителям и ученикам, поймет, что на него надо равняться, с него надо брать пример.

У него надо учиться преданности родной культуре в сочетании с истинным интернационализмом. Именно такой он был — коммунист, гражданин, поэт, ученый.

Восхищаясь другими, даже выдавая своим друзьям повышенные оценки, он, которого обвиняли в самолюбовании, сравнили с Нарциссом был требователен к себе, весьма скромно оценивал свои достижения проявляя порой даже застенчивость, так плохо вяжущуюся с его крупной фигурой, размашистыми жестами, открытым живым взглядом.

Все мелкое, наносное, даже недостатки и ошибки, свойственные ему, как всем, стираются временем, уходят в забвенье, а все то доброе, большое, нужное, что он сделал для родной культуры, для тебя, молодой друг, становится яснее, отчетливее, дороже.

Становится ясным главное: он человеком был... человеком нашего времени.

Алексей Брагин

...Если хочешь быть в ряду разумных, то раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за это время вел себя в жизни, не достойны ли были твои поступки раскаяния, соответствовали ли они благу и разуму..

АБАЙ

«Слова назидания»

...Любовь к науке — это любовь к правде, поэтому честность является основной добродетелью ученого.

Л. ФЕЙЕРБАХ

Письмо первое

Дорогой друг!

Говорят, командировка — иначе проведенный отпуск. Ни доли, ни полдоли правды в этой шутке, к сожалению, не нахожу: изнываешь в приемных начальников — редкий из них успевает принимать в назначенное время, беспокоишься сряду о нескольких делах, требующих одновременного и безотлагательного решения почему-то именно в этот приезд, а вечером в гостиничном номере появляются озабоченные молодые люди с вопросами, которые, по их пониманию, ждут сугубо научного решения, и в этом, опять же по их убеждению, только твой ученый друг должен сказать веское слово. Пребывая в такой вот круговерти, начисто сбившись с привычного ритма жизни, не успеваешь заглянуть даже в газеты. Все это пишу тебе, друг мой, к тому, что хочу смягчить твое сердце, накопившее немалую обиду за долгое мое молчание.

Помнишь, как я, отвечая на твои любознательные вопросы, сказал, что труд ученого — это такой род умственной работы, которая захватывает все существо человека, и поэтому она редко укладывается в рамки установленного трудового восьмичасья; мало того, сказал я тогда, она, эта работа ученого, смешивает часы сна с часами бодрствования, беспорядочно, капризно, деспотично меняя их местами. Ты тут же парировал, что это называется вдохновением, это и есть те муки, которые приводят к высям творений. Помню твою лукавую улыбку: «Не присваивай только себе присущее всем людям творческого труда!». Я, помнится, тогда же честно признался, что и не думал о том, что возвышенное слово «вдохновение» может иметь отношение и к нам. Только вот не знаю, как это состояние реализуется (будем говорить научно) в тех случаях, когда мы говорим «о наших

работах», поскольку ныне коллективное творчество стало характерной особенностью серьезных научных изысканий. Вот этого ты, мой дорогой писатель, может, и не поймешь. Ведь ты — тот самый «кустарь-одиночка», который двигал науку недавнего прошлого, а теперь сохранился лишь в некоторых редких областях художественного и научного творчества. Все это ты и сам мне говорил: главную роль в общем деле века, когда наука стала производительной силой общества, играют не люди типа чеховского умнобрюзжащего Николая Бонара и не те, что идут чуть ли не с мечом сокрушать преграды косности, а скромные труженики, умеющие занимать строго определенное подобающее им место в группе людей, которую мы теперь называем творческим коллективом.

Когда мы говорили обо всех этих вещах, ты называл почему-то трудовую жизнь научных коллективов возвышенно — «особым миром». При этом ты старался внушить мне, будто твой друг какая-то «величина» в этом «особом мире» и тебя приводят в восторг те пять десятков изобретений, одно открытие, шесть монографий, числящиеся в списке моих научных трудов. Ты не обращаешь внимания на то, что они — плод коллективных усилий, пусть даже при моем ведущем участии. Меня коробят твои похвалы, но я прощаю тебе эту слабость, хотя бы потому, что такое свойство было присуще самому Пушкину, ставившему выше себя из-за личной приязни многих средненьких поэтов-современников; эту душевную щедрость больших людей точно выразил Маяковский, обращаясь к Горькому: «Вы и Луначарский — похвалы повальные, добряки». Видишь, на какие сравнения ты нарвался своими излишними восторгами. И все же тебе придется примириться с тем, что имя твоего друга никогда не будет упоминаться в учебниках как ученого, установившего ту или иную фундаментальную закономерность окружающего мира; его сочинения никогда не войдут в золотой фонд научной литературы. Он может тешить себя скромной надеждой, что научные работники будущего при необходимости, с трудом отыскав из залежалых фондов его писания, найдут в них добросовестную научную информацию, полученную на уровне современных автору исследовательских возможностей. Думаю — достаточная награда для твоего друга и ему подобных. Так что умерь, друг мой, свои восторги, не огорчайся, не разочаровы-

вайся: говорю не из ложной скромности, это правда, а от нее никуда, как известно, не уйдешь.

Теперь о нашем уговоре. Ты давно предлагал мне написать о жизни, о моем опыте; писать откровенно, бесхитростно и доверительно, как это положено между друзьями. Я и этого по лености и безалаберности не делал, отделяясь лишь незначительными писульками. Теперь же думаю об этом иначе. Вот почему. Когда же я начал все-таки эти записки, почему-то все время в памяти держал твои наставления: «Слушай, почему ты не напишешь о себе, о своей работе, о своих коллегах? Это же живая история создания большой науки в бывшей «инородческой» окраине, и молчать об этом, мне кажется, преступно, позорно!» Сказал страстно, категорично. Когда же я усомнился в целесообразности описания собственных деяний, как бы тщась выглядеть значительной личностью, ты тут же ответил: «А я тебя и не заставляю делать это. Ты — это не только ты, а десятки-сотни твоих коллег, которые имеют примерно одинаковую с тобой судьбу. Погляди позорче на своих коллег, прибавь чуть-чуть воображения, и ты оторвешься от себя, но это не будет означать, что ты оторвешься от правды жизни. Просто у тебя появится возможность отбирать наиболее характерные черты твоих сверстников. То же будет относиться и к тем людям, которых ты хочешь описать, их у тебя много, они в твое повествование не вместятся, ты вынужден будешь делать из нескольких одного, отбирая от тех лишь характерные, лишь запомнившиеся черты. Тогда работа твоего воображения наиболее приблизится к окружающей реальности. Естественно, при сохранении определенной меры, подсказываемой опытом, чутьем. Так что пиши, брат, смелее — и не стесняйся. Ты пишешь мне письмо. Твои эпистолы хороши своей исповедальностью. Но в них много соленых, иногда даже пересоленных шуток, к которым мы с тобой привыкли; это сбивает с серьезного тона. Лучше вообрази более молодого писателя, очень заинтересованного твоей жизнью и твоей работой, и исповедуйся, как старший по опыту жизни и по возрасту, чуть, может быть, назидательно. Я уверен, что получится. Учти, что написанное тобой нужно, очень нужно».

И вот теперь, стремясь уложиться в начертанную тобой программу, начал думать о себе, своем деле, о людях, среди которых вращаюсь, пытаюсь на все это как-то смотреть со стороны: сверху, сбоку, с отдаления и т. д. Но,

честное слово, чувствую, что не могу связно рассказать о путях, которые привели меня к тем или иным жизненным и творческим результатам. Теперь уже кажется, все, что было, как-то являлось и уходило само собой. Думаю про себя над этим и все время не могу избавиться от ощущения, что вспоминается почему-то не главное, а побочное, мелкое, второстепенное, попутное, копошащееся вокруг этого главного. По-видимому, не всегда даже представляю, что означает для данного вспомнившегося случая это «главное» (и в этом моя беда). Здесь, может быть, сказывается и профессия. Основное оружие в науке, которой я занимаюсь,— опыт. Научный эксперимент в идеале должен осуществляться так, чтобы при минимуме затрат в каждом опыте получить, как мы иногда говорим, максимум научной информации. Здесь нельзя упускать никакой мелочи, ибо она вдруг может стать самым главным и важным. Ведь ты не раз читал, как великие открытия получались порой из совершенно случайных, не предусмотренных наблюдений. Подобные случаи, как ты знаешь, являются любимым коньком популяризаторов науки. У нас в естественных науках существует так называемый статистический метод выведения закономерностей, когда из многочисленных данных по одному и тому же свойству или, как мы говорим, параметру выводится нечто математически усредненное. Это, наверное, для художественной типизации грубая аналогия, ибо область мышления образами требует, как ты сам говорил, особого восприятия, отхода от грубых реалистичностей в область чувства музыки жизни, гармонии окружающего. И все же такую аналогию, по-видимому, сделать можно.

Не думай, пожалуйста, что теперь, задавшись желанием писать тебе, сяду за стол, аккуратно разглажу лист белой бумаги, учено нахохлюсь, посижу, глубокомысленно вперив очи в потолок, и начну: «Я, Нурбаев Мажит Муканович, академик республиканской академии, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники, кавалер орденов и т. д., и т. п., родился в ... году», — т. е. стану писать нечто анкетного или мемуарного характера. Ничего подобного я не смогу сделать. Для того, чтобы писать в подобном плане, надо думать, сопоставлять, обращаться к архивным документам (поскольку дневников я никогда не вел) и т. д. Не имею для этого ни времени, ни охоты, скорее, охоты. Дело в том, что испытываю предубеждение

против некоторых из многочисленных ныне публикуемых воспоминаний. И вот почему. Что ни говорите, человек не может изменить свою природу, он всегда остается человеком. Жизнь же сложна, и в ней повсюду острые углы, шипы и заусеницы, которые не всегда обойдешь, не ободрав себе если не кожу, то, по крайней мере, одежду. При обсуждении же задним числом происходившего вольно или невольно отбираются факты, что углы и шипы, виною которых был сам, исчезают, потому что, как говорят у нас в народе, человеческая голова кругла и обладатель ее желает выставить и собственные деяния в устраивающей самолюбие овальной, обтекаемой форме. Если бы стал чересчур сопоставлять и анализировать былое, то, возможно, из вспомнившегося исчезло бы как раз все необходимое для читателей, ибо у меня голова не менее кругла, чем у пишущих мемуары.

Буду писать тебе о своей жизни, но в этом писании, пожалуйста, не жди какой-то системы или последовательности. Начну немного издалека. Я кончил вуз, когда мне шел двадцать седьмой год. До окончания института не помню, чтобы подолгу бывал сыт. Так складывалась жизнь. Когда же, получив высшее образование, стал немного зарабатывать, я обрел наконец возможность хорошо, сытно есть. Я быстро раздобыл на радость моей маме, которая ни разу не видела ни из своего, ни из мужниного рода достаточно дородного человека. Между тем, это была ее мечта, ибо, по ее представлениям, полнота являлась показателем авторитета и, конечно, достатка. Появление живота у сына для нее более всего свидетельствовало о том, что сын выбирается в люди. Это и подвело меня. К сорока годам у меня так ослабело сердце, что врачи сказали: прежнее сильное сердце теперь не вернешь, но это теперешнее, ущербное, надо поддерживать, согнав вес и увеличив физическую нагрузку. С тех пор я постепенно добиваюсь того, что могу теперь ежедневно бегать в течение тридцати минут. И вот каждое утро где-то между шестью и семью спешу трусцой по тротуару. И, бывает, улыбаюсь во весь рот. Это означает, что я вспоминаю добрую старую кобылу, которая кормила до войны кумысом всю нашу семью, всех забредших по тому или иному случаю гостей. Это была крупная лошадь с большим животом и большой головой. Бывало, мы с младшим братом впряжем ее в телегу и едем вечером, чтобы накосить на ночь ей сена. Серая трогается и сразу

же с места берет той трусцой, которая была характерна только для нее: старыми ногами, потерявшими былую размашистость и силу, она перебирала мелко, неупруго. И сколько бы мы с братом ни шлепали ее кнутом по крупу, она равнодушно и спокойно отмахивалась хвостом, не меняя скорости, которую брала с места. Когда я впервые вспомнил нашу серую кобылу, то долго смеялся над собой: мне показалось, что моя трясушаяся, тяжелая, рыхлая, полная фигура с выдающимся вперед животом точь-в-точь напоминает нашу серую кормилицу в упряжке. И вот, когда я по утрам в течение получаса бегу по тротуару, мне лезут в голову всякого рода жизненные случаи в том неприхотливом беспорядке, который присущ памяти человека, накопившего с возрастом достаточное количество причудливо действующих всевозможных отложений. Если это тебя устроит, я буду излагать, не мудрствуя лукаво, то, что мне будет вспоминаться по утрам. Но и тут, мне кажется, имеется деталь, которую сразу же надо оговорить. Узнав о том, что я бегаю (если топание называется бегом), один мой товарищ сказал, что в этом деле главное — настроить дыхание. Я, признаться, над этим не думал. И когда теперь, труся, вспоминаю об этом дыхании, я вмиг начинаю набирать воздух носом, выпускать изо рта, стараясь дышать не часто, т. е. делать так, как это рекомендовано в книгах. Но знаю, что до этого дышал несколько иначе, и мне не было тяжело. Я не могу уловить, как дышу, если на это не обращаю внимания. Боюсь, что получится то же с моим письмом. Когда, следуя твоей просьбе, сяду восстанавливать все, что приходило в голову по утрам, наверняка они потеряют первозданную свежесть — не обойдется без рассудочных наслоений. Но с этим придется мириться. Кто-то из писателей говорил, что честно и объективно о себе, о своем прошлом рассказал бы вслух лишь Робинзон, да и то если бы не было Пятницы. Итак, друг мой, начинаю свое повествование о себе и жизни.

Письмо второе

Дорогой друг!

Как я стал ученым? Этот вопрос часто приходит мне на ум после наших бесед.

...Перед глазами всплывают картины прошлого, которые отнюдь не давали повода к тому, чтобы мне предрекать стезю служителя науки. В пятом классе семилетней школы я полюбил учителя истории. Он имел обыкновение требовать от учеников, чтобы они дома вспомнили и записали рассказанное им на уроке (наверное, оттого, что не было учебников). И я самозабвенно предавался этому делу, стараясь перенести на бумагу все то, что излагал этот крепко сбитый, чуть выше среднего роста, широколобый, с блондинистым ежиком волос русский человек, говоривший рокочущим басом. Он, по-видимому, обладал большим педагогическим даром, ибо ученики слушали его внимательно, хотя наш класс представлял разновозрастное сборище; так, рядом со мной, двенадцатилетним мальчиком, сидел Кривенко, большой конопатый юноша девятнадцати лет, и охотников поозорничать было достаточно. Когда Иван Антонович объяснил, что труд, постепенно облагораживая обезьяну, превратил, наконец, ее в человека, то мне представлялось, как наш предок из поколения в поколение, не покладая рук, все трудится и трудится; как пот катится градом, медленно смывая с его тела животную грязь и растительность; как с осмысленной улыбкой он тянется к свету, к солнцу и становится наконец рослым благородным существом.

Предок мой вначале стал неандертальцем, а потом моим пра-пра... прародителем на шестнадцатом от меня колене, могучим Даулетаем, благодаря смелости, силе и находчивости которого существую я, ибо, как мне рассказывала моя бабушка, он спас своих детей, в том

числе и моего прародителя на пятнадцатом от меня колене, от дракона, который собирался стащить их и сожрать. Так писал я в своей тетради: история появления современного человека была очень проста и убедительна.

И вот я в мечтах, достигши возраста, становлюсь учителем, причем непременно учителем истории, и, слегка наклонившись вперед, как Иван Антонович, картинно размахивая руками, рассказываю ученикам об изумительных деяниях Александра Македонского и Спартака. Я хожу в темном костюме, сатиновой косоворотке и фабричных ботинках с выдавленными на резиновой подошве красивыми, затейливыми рисунками. Словом, на уроки иду, одевшись, как мой учитель. Но у меня нет того ежика, что у Ивана Антоновича, у меня бритая голова, потому что я — казах. И вообще дома, во внеурочное время я — настоящий казах: летом ношу сшитые отцом шегольские, как мне кажется, сапоги на высоких каблуках (они шьются одинаковыми и для правой, и для левой ноги, и, чтобы не изнашивать в один бок, я, обуваясь, не забываю каждый раз менять их) и чапан, сшитый матерью, а зимой надеваю лисью шапку-тымак и сапоги-саптама, тоже сшитые отцом. У меня есть добрый гнедой конь, как у соседа, занимающего высокую должность исполнителя суда. И на этом коне, впряженном летом в легкий ходок с плетеным из отборных лоз красивым коробком-сидением, а зимой в игрушечно-удобные саникошеву, в свободное время я разъезжаю по своим родственникам по материнской линии, расселившимся в округе в пределах до полусотни верст, чтобы проведать и, главное, поесть ту долю яств, которую по неписаным законам каждая семья должна держать в неприкосновенном запасе на случай приезда тех или иных родичей.

Эта мечта сидела во мне крепко почти до десятого класса, иногда прерываясь различного рода мимолетными желаниями стать, например, летчиком-полярником (наслушаешься и начитаешься о Чкалове, Папанине) или поэтом, подобно Пушкину или Джамбулу (случайно обнаруживаешь, что и ты мог бы рифмовать казахские и русские слова). В этих мечтах есть одна особенность. Ни один из наших учителей не имел образования выше средней школы или педагогического техникума. И моей заветной мечтой было окончить среднюю школу или пе-

дагогический техникум. Я никак не полагал, что после перехода этих заветных рубежей образования надо еще заниматься или читать. Я считал, что можно иногда читать для времяпрепровождения сказки, дастаны-поэмы, рыцарские романы (последние с упоением читал мой один друг и при каждой возможности взахлеб рассказывал о подвигах Айвенго и Ричарда Львиное Сердце). Но само по себе чтение для дальнейшего познания совершенно не входило в мои расчеты о будущем устройстве. Я уже в седьмом классе считал себя достаточно ученым, потому что до этой ступени образования в нашем ауле никто тогда не дошел. Я полагал, что, когда я кончу техникум или среднюю школу, буду настолько недосыгаем в своем аульном окружении, что никакой необходимости учиться дальше не будет. Из этого заключаю, что я был довольно самолюбивым мальчиком и мои тщеславные устремления ограничились пределом стать чуть выше окружающих. Новые сведения познавательного характера, которые я получил в классе и при чтении, меня, может быть, и радовали, но эта радость была, по-видимому, мимолетной и не переходила в жажду познания. Во всяком случае, я не помню, чтобы меня тревожила последняя. Мечты об окончании техникума или средней школы однажды у меня расстроились. Дело в том, что, когда я пришел в седьмой класс, оказалось, что Иван Антонович исчез. Историю скучно рассказывал маленький человек с водянистыми глазами, говоривший с явным украинским акцентом. Вернулся Иван Антонович, когда я сел за парту девятого класса. За эти два года он окончил учительский институт в областном центре, и авторитет его перед нами возрос неизмеримо. Теперь я уже мечтал об учительском институте. Мечта эта, очевидно, была не очень навязчивой, так как, когда однажды зашел к нам в класс мой одноклассник Ковтун, до седьмого класса усердно сосавший палец и учившийся ниже среднего, а после восьмого класса уехавший работать учителем начальной школы в дальнее село, мне вдруг захотелось бросить школу и работать учителем: так завидно было смотреть на этого Ковтуна, на его фабричного покроя пальто и шапку, новые красивые валенки, которые никто из нас не носил. К тому же он, вероятно, для того, чтобы окончательно добить нас, ни разу не державших в руках более гривенника и, несмотря на это, продолжавших зачем-то пыхтеть за партой, над

учебниками, солидно достал из кармана портмоне и похрустел перед нашими глазами новенькими червонцами.

Интересно было отношение отца к моей учебе. В нашем роду вообще не было грамотных, и мой отец, несмотря на то, что никогда не брал в руки книгу, знал массу пословиц, поговорок, притч, песен и стихов акынов и в любой момент мог высыпать и с охотой высыпал нужное количество изречений на предмет «учение — свет, а неучение — тьма». Ему нравилось, что Советская власть создает условия для учебы, и он с большим жаром говорил об этом, особо распаляясь в тех случаях, когда кто-либо из собеседников глупо замечал, например, что книга и знание — не хлеб и не мясо, и ими не насытишься. И когда наша семья вместе со многими семьями нашего аула переехала из-за недорода в родных местах в граничащий с нами район Российского Приуралья, где было организовано отделение совхоза, отец мой принял решение поселиться в ближайшем русском селе, чтобы отдать меня в школу, так как в отделении ее не было. Наша семья терпела много неудобств, квартируя в проходных передних крестьянских изб и испытывая затруднения из-за невозможности свободно изъясняться (отец плохо владел русским языком, а мать вообще не знала ни слова). Правда, последняя трудность уменьшилась, когда месяца через два обнаружилось, что я легко «обрусел» и стал говорить на русском так же свободно, как на родном. Отец был, по-видимому, упорным человеком, он так и не прерывал мою учебу в течение тех трех лет, пока мы жили в Приаралье, зимой продолжая квартировать в русском селе и чеботарствуя для заработка, а летом переезжая в аул и работая в совхозе. Из десятка моих сверстников учился только один я, и в ауле друзья отца посмеивались над ним, говоря, что сын Мукана будет читать на могиле отца русский коран, смешав крест с полумесяцем. Отец, слыша такие шутки, слегка темнел в лице, но делал вид, что глупые разговоры недостойны его внимания.

Вскоре наш аул вернулся в родные степи и влился в колхоз, организованный там из нескольких родственных аулов. Теперь в нашем отделении была своя казахская четырехлетка, и мне хотелось остаться с привычными сверстниками, и учитель уже обещал меня принять в казахский четвертый класс, но отец строго посмотрел на

меня и молча отвез в районный центр к дяде, работавшему конюхом в одном из районных учреждений, чтобы я продолжал учебу в русской школе. Словом, отец делал все возможное, чтобы я учился, и именно по-русски.

Это было в сентябре предвоенного года. Я учился в десятом классе и, приехав на воскресенье, помогал отцу копать погреб. Первый погреб в нашем роду, ибо до этого ни в нашем ауле, ни в нашей семье не приходилось выращивать картофель и заботиться о его хранении. Отец, шутя, отметил это. Я воспользовался его хорошим настроением и сказал, что мои одноклассники ушли из восьмого и девятого классов работать, в большинстве своем учителями, и неплохо зарабатывают. Сделав паузу, добавил, что и мне, может быть, пора помогать дому, перестав быть иждивенцем. Когда я это сказал, отец перестал копать, уперся левой рукой в лопату, указательным пальцем правой руки тщательно провел по лбу, стирая пот, и грустно посмотрел на меня своими небольшими карими глазами. Это меня поразило. Я ожидал, что взгляд отца будет таким, когда он бывал чем-то недоволен. В этих случаях тонкие губы его из-под свисающих редких усов сжимались в поперечную нитку, глаза грустно чернели, брови, сдвигаясь к переносью, принимали строгие, четкие и суровые очертания и хмуро свисали над красивым носом с горбинкой, который, казалось, горбился еще больше, легкий румянец с нешироких скул сползал вниз во впадины щек. Особенно тяжело было выдержать этот взгляд, когда он смотрел сверху, положив свою седеющую бородку на грудь. Этого неодобрения взглядом нам, детям, было достаточно, чтобы понять его неудовольствие и поступать так, как он желает. Но видеть этот сегодняшний грустный взгляд отца мне было не легче, в нем было что-то такое не то от отрешенности, не то от бессилия, что, в общем-то, не было присуще этому человеку, очень полагавшемуся на казахское «тауекель», это слово звучало даже более оптимистично, чем русское «авось». «Как хочешь, мой мальчик,— сказал он, тихо вздохнув,— я так хотел, чтобы ты кончил десятый класс, но, видно, не судьба. Девять классов тоже неплохо, учиться девять лет подряд не каждому удастся, в нашем роду, в нашем ауле я таких не знаю,— уже бодрее добавил он.— Аллах дал тебе разум, и ты неплохо учился. Теперь тебе нужна удача, да поможет аллах». Потом правой

ступней глубоко вдавил лопату в землю, пошутил, глядя на меня: «А там авось и хорошая невеста найдется».

Отец неукоснительно верил в предназначения всевышнего и всегда был доволен тем, что ему предпосылал аллах. Он не жаловался на то, что аллаху угодно было забрать в свое лоно семь сыновей и одну дочь, родившихся до меня. Он был доволен тем, что аллах оценил эту кротость его, и шестеро сыновей, появившихся после меня по его милости, были живы и здоровы. Ему уже было под шестьдесят, и он, не привыкший к жалобам, все же иногда говорил своему другу Ахмету, что дети еще малы, а он не может по-прежнему высиживать за шитьем и починкой сапог колхозников столько, сколько нужно, чтобы зарабатывать большие трудовни, а за должность колхозного сторожа не начисляют больше одного трудовня в день. Ему и матери, также устававшей от домашних дел, от догляда за шестью сыновьями, которых она еле успевала обшить и накормить, приходилось тяжело и надо было иметь большую изворотливость, чтобы сводить концы с концами. И все же времена эти для отца и матери были не самыми худшими, чтобы прерывать мою учебу. Что-то другое тревожило отца, раз он решил изменить тому, о чем он не раз говорил своим друзьям, заверяя их, что будет учить своего старшего сына, сколько хватит сил, и повторяя при этом прослышанную где-то им истину: учеба — дело бездонное, учиться можно всю жизнь.

— Бе-е-е-у,— укоризненно вмешалась однажды в разговор моя девяностолетняя бабушка, направив на отца свои незрячие глаза: это междометие «беу» я ни от кого более не слышал, кроме бабушки: его протяжно произносила только она, когда была чем-то недовольна.— Я тебя, Мукан, не понимаю. Мальчик засохнет за этими русскими книжками и молодость свою не заметит.

Не знаю, что больше повлияло на отца: сказанное бабушкой или нечто другое, о чем мне не было известно, но я стал замечать, как отец в тот год часто говорил о том, что он уже прожил немало, что в нашем роду мужчины (женщины в расчет не брались) долго не жили, что родитель его умер в пятьдесят два года, оставив его, семнадцатилетнего, старшим среди девятерых детей, а дед умер, будучи еще моложе, и он не уверен, если не поможет аллах, сможет ли дожить до того времени, когда старшего

сына (т. е. меня) женит, породнится с хорошими людьми, порадуется первому внуку. При этом он, казалось, забывал свои мечты и свои заверения учить меня, сколько хватит сил, не думая ни о чем другом.

Теперь мне почти столько же лет, сколько тогда было отцу, и становится грустно и смешно, когда я вспоминаю, как он был наивно эгоистичен и нерасчетлив в моих глазах. Он желал иметь внуков, а между тем его младший сын (тот, что теперь работает главным инженером завода) только начал ходить, и забот с детьми было больше чем достаточно, если даже старая ослепшая наша бабушка, жившая у младшего сына, весь день проводила у нас, считая, что она помогает старшей невестке приглядывать за детьми. Желание отца женить старшего сына (мне шел шестнадцатый год) прежде всего было связано с желанием породниться с хорошим человеком и, передав все хозяйственные заботы в руки женатого сына, взаимно ездить в гости, шутить, вести душевные разговоры, а дома испытывать радость и умиление от того, как уважает и ухаживает за ним, свекром, жена сына. В этих его мечтах, овладевших им в этот год, места для моей учебы, конечно, не оставалось.

Итак, мой дорогой друг, я стал учителем начальной школы в соседнем русском селе и, будучи прижимистым крестьянским сыном, воспитанным на бережливости, всю зарплату, за исключением суммы, которую я сдавал хозяйке за харчи и уголь, приносил отцу. Деньги тогда, в предвоенные годы, были дорогими, и моя зарплата явилась большой подмогой семье. Я гордился этим, и отец тоже. Мне было только шестнадцать лет, и я, наверное, был очень плохим учителем, но над этим я не очень задумывался. Не помню также, чтобы я особенно тревожился по поводу того, что недоучился.

Началась война. Предчувствия отца сбылись: он умер в первый год войны зимой, простудившись, когда ездил в поле за сеном. В третьем году войны все мои ровесники были на фронте. Часто приходили похоронные, их в ауле прятали, боясь показать близким и надеясь, что это ошибка. А я все еще оставался дома: два раза возвращали из района, находя какие-то затемнения в легких. Учительствовал я теперь в своем ауле, и моя бабушка рассуждала среди женщин: старшего внука не берут в армию, поскольку бог видит, что мать уже старая, а дети

малые. И все же на четвертом году войны я оказался на фронте. Я считал, что и здесь мне не повезло: наши двигались к Германии, а я после глубокого пулевого ранения в плечо, провалявшись несколько месяцев в госпитале, вернулся домой до окончательного выздоровления. Пока медицинские комиссии каждый раз находили, что моя левая рука в плече недостаточно подвижна, и пока я чуть не год выздоравливал, кончилась война. Пришлось вернуться в аул учителем. Заниматься самообразованием было некогда, так как после положенных четырех-пяти часов в школе приходилось крутиться по хозяйству то дома, то в колхозе, ибо надо было кормить и одевать семью, а зарплата учителя тогда мало что значила.

Неожиданно на сцену моей жизни выступила мать, дав первый и решающий толчок моей научной карьере. У матери был окованный белой жестью сундучок. Он был дорог ей как память, потому что был привезен в ее девические годы отцом с какой-то дальней ярмарки. Так вот, в этом сундучке я обнаружил письма, сочинявшиеся мною одной девочке, в которую, как казалось мне, был влюблен. Я писал ей по-русски обо всем, что было на душе, и, не без желания блеснуть, ввертывал в текст запомнившееся из прочитанного или услышанного, например, стихи Есенина, которые мне взхлеб читал в госпитале один раненый солдат из Ленинграда. Девочка эта замолчала за несколько месяцев до моего возвращения домой. Оказалось, что она уехала в другую область и там вышла замуж: парень, у которого на шее пять малолетних ребят и стареющая мать, показался ей, по-видимому, незавидным женихом. Так думал я, но, может быть, я был неправ, потому что она, уезжая, совершила один сентиментальный поступок. Как рассказывала мать: было начало лета, только что переселились из землянки в шушалу, она сидела у костра и пекла лепешки. Вдруг легонько скрипнула дверь и тихо открылась; оглянувшись, увидела высокую, стройную чернявую девушку... незнакомую, но такую приятную лицом, что даже обрадовалась. Девушка стояла робко и молчала. Мать и говорит ей: «Садись, дитя моё. Рассказывай, кто ты, откуда?» Она присела, от стеснения мяла подол пиджака, будто не знала, куда девать свои руки. Потом тихо спросила: «Вы — мама Мажита?» «Да, дитя мое!» А у самой сердце екает: с

добрыми ли вестями? Девушка еще немножко помолчала, вытащила из кармана какую-то связку бумаг и сказала: «Он скоро домой вернется. Передайте ему это». Встала, подала, а у самой слезы на глазах. И не успела мать отвести взгляд от связки на руках, как гостя уже оказалась за дверями. Мать быстро вышла вдогонку, а ее уж след простыл. Так и не узнала: кто она, откуда и как приехала, и как уехала.

Мать моя положила письма в свой сундучок и, ежедневно перебирая и снова складывая их, измучилась желанием как-то узнать содержание. Она никого не хотела просить в ауле прочесть их, не желая, чтобы аульные языки обсуждали секреты ее сына. И вот, на счастье, заходит однажды в нашу шушалу пожилая русская женщина в белом халате, на ломаном казахском приветствует дом и неумело садится далеко от очага. На полурусском, полуказахском справляется о здоровье детей, хозяйки дома; мать также на полурусском, полуказахском отвечает ей. Она оказалась врачом из района, приехавшим оказать кому нужно медицинскую помощь, т. к. ни фельдшера, ни врача в ауле не было. Эта женщина — врач, а может быть, и фельдшер (для матери тогда были все «дохтурами»), так понравилась, что она решила доверить ей мои письма. Она передала связку и попросила «дохтура» прочесть и рассказать содержание, но только чтобы никому она больше не говорила. «Дохтур» засмеялась и взяла. Она пришла вечером и за маминым чаем рассказала, что ничего особенного в этих письмах нет, такие письма пишут все молодые люди. Но когда она добавила, что автор писем очень грамотный парень, что таких грамотных по-русски в аулах она не встречала, мать возгордилась и сказала, что иначе и не может быть, ибо ее сын чуть не десять классов кончил. «Дохтур» на это ответила, что ей, наоборот, показалось, что автор писем окончил не менее учительского института, что это очень способный парень и ему, если он вернется с фронта живым и здоровым, надо учиться дальше, что он тогда будет большим человеком. Скоро кончится война, говорила она, и тогда государство будет учить всех молодых людей, особенно фронтовиков, потому что ученые люди стране очень нужны.

С тех пор мать мою стала неотступно преследовать мысль, что вот ее Мажит вернется домой, и она его пошлет

учиться, и не куда-нибудь, а прямо в Алма-Ату. Мысли о том, что нужно налаживать хозяйство, иметь вместо развалюхи-землянки хороший дом, учить остальных детей, а Мажита как старшего сына женить, отступила на второй план, и только мечта о моей дальнейшей учебе занимала ее воображение. Ей нужно было с кем-то поделиться этим, как всегда в таких случаях, она рассказала бабушке обо всем, что ей говорила ученая женщина — «дохтур». От себя же добавила, что когда кончится война и вернется Мажит, то пошлет его в город учиться: пускай выходит в люди, а пылиться в ауле хватит и остальных детей Мукана. И, как будто мысленно отсекая возможные возражения бабушки, она сказала, что после войны с голода никто не умрет, поскольку этого не происходит даже сейчас, во время войны.

— Бе-е-е-у,— ответила бабушка,— странная ты женщина, Умсун. Не гневи аллаха, надо, чтобы Мажит вернулся домой, ты об этом проси всевышнего, а там видно будет, как быть. Смотри, и ты — не молодая, Мукан мечтал о снохе, внучатах, так и ушел из жизни со своими мечтами, сколько ты еще собираешься жить полуголодной, полуодетой...

Мама почтительно замолчала и в разговорах с бабушкой к этой теме не возвращалась. Я вернулся домой и где-то недели через две устроился учителем в нашей аульной школе. Раздумывать и сокрушаться было о чем. Брат, следовавший за мной, шестнадцатилетний Сагит, уже не учился, работал в колхозе. При таких обстоятельствах я совершенно не думал о своей учебе, надеясь еще и на то, что успею выздороветь, попасть на фронт и побывать в Европе. Но однажды мать, сидевшая за шитьем, посмотрела на меня своими зеленоватыми слезящимися глазами, потом закрыла их. Она всегда делала так, когда хотела сказать что-то серьезное и заветное.

— Мажит, тебе надо учиться. Отец так хотел, чтобы ты учился, но у него не хватило сил, да и война началась... А теперь наши победили, жизнь будет хорошей, и ты должен учиться. Аллах в этом тебе поможет.

— Ты это, Умсун, с аллахом сама договоришься? Учиться еще успеем, надо хозяйство наладить, братишек одеть, может, выздоровею, на фронт успею...— сказал я тоном старшего, чуть насмешливо и назидательно.

Этот мой тон и обращение по имени были привычны для нее, ибо я не считал себя ее сыном, поскольку в раннем детстве рос на руках у бабушки, и она меня научила такому обращению. Бабушка еще хвасталась тем, как хорошо она сделала, забрав Мажита к себе, оттого он сохранился, вырос здоровый и большой, оттого перестали у Мукана умирать дети. Мать наклонилась, и иголка в ее руках продолжила свой бег, я же, считая разговор законченным, стал было натягивать на ноги сапоги, как заметил, что мать снова выпрямилась, отложив шитье в сторону, и снова закрыла глаза, что означало продолжение разговора. Сидела она, подобрав ноги калачиком, как сидят мужчины, ибо, будучи вдовой и старшей в доме, имела на то право, и когда ладони ее жестких, маленьких, почерневших рук легли на ее колени, она стала похожа на Будду, знакомого из учебников истории.

— Послушай, сын мой! — сказала она, и в ее голосе я почувствовал незнакомую до этого властность, хотя он звучал так же мягко, как обычно, но была иная интонация, по-иному, в растяжку звучали слова, в особенности — «сын мой», которые она в мой адрес произнесла впервые. — Я теперь и отец, и мать. Это моя воля. Ты о нас не беспокойся, наша власть недаром победила, и она никому не даст ни голодать, ни умереть. И отец всегда говорил, что наша власть любит тех, кто учится.

И мать, как ни в чем не бывало, снова взялась за шитье. Я засунул портянки в голенище и отбросил сапог обратно. Я почувствовал, что это говорит не тетя Умсун, а моя мать, которая ни разу не напомнила мне о том, что она выносила меня девять месяцев, выкормила священо-белым молоком своей груди и всю жизнь души не чаяла в заботах обо мне, как это не однажды можно было слышать от других матерей. На этот раз она говорила об этом не словами, а тоном, голосом, назидательной краткостью и значительностью сказанного, что к этим ее словам надо отнестись серьезно и вдумчиво.

Признаться, я не был достаточно высокого мнения о своей матери. И не только под влиянием бабушки, а еще и потому, что ни разу не видел, чтобы она при жизни отца поднималась выше сварливых жалоб на детей; легко могла поколотить всех, кроме меня, потому что я был, как бабушкин воспитанник, неприкосновенен для нее. Каждому из моих младших братьев доставалось порядком, при

этом она громко жаловалась на природу, не давшую хотя бы вместо одного из этих пострелят девочку, которая была бы послушной и хорошей помощницей. Я считал, что она могла бы поменьше шуметь. Кроме того, мне показалось, что она безрасчетно истратила все нажитое отцом на его поминки, которые справляла не по нашим возможностям. Наверное, я был не совсем прав, ибо в народе издавна говорилось: «Смерть близких богатым скот убавляет, а бедных на голод обрекает». Так уж повелось, что ни один казах не жалел средств на поминание умершего. И все же было больно и обидно, когда мать уговорила меня выменять воз сена на барана, чтобы отметить годовщину со дня смерти отца, и как раз из-за нехватки весной этого воза сена не выжила наша старая серая кобыла. Впервые, насколько я себя помню, у нас в то лето не булькал в турсуке кумыс и в доме по вечерам не щекотало ноздри от приятного запаха начавшего бродить кобылье молоко. Я был невыдержанным и порой резко (о чем до сих пор вспоминаю со стыдом) укорял мать за безрасчетность, но она отвечала спокойно и просто: «Коль так рассудил аллах, он и поможет». И продолжала шуметь на младших, занимаясь каким-либо делом, и я ни разу не видел ее сидящей сложа руки. Во всем остальном, кроме отношения к моим братьям, она была удивительно спокойна. Я полагал, что это спокойствие от веры в аллаха, не принимающего, как я знал, никакого участия в нашей жизни, и приводит ее к безответственности в земных делах. И меня часто подмывало сказать ей что-нибудь обидное, уничтожающее, оскорбительно-колкое. Но у меня все же хватало чувства такта и выдержки не трогать то, что было свято для матери и всех старших. Кроме того, я знал, как она любит и умеет любить.

Когда умирает близкий, в особенности муж, женщине принято рыдать с причитаниями, ее голос должен выделяться, и она с громким плачем должна встретить каждого, явившегося с выражением соболезнования. У моей матери, когда умер отец, казалось, пропал голос, такой громкий в обращении с моими братьями. Она плакала и говорила слова печали, будто рассказывала ровным голосом, чуть нараспев какую-то трогательно-жалобную историю. Впервые моя мать предстала передо мной не сварливой и шумной тетушкой Умсун, а женщиной, умеющей с достоинством и мужеством встретить любые труд-

ности и несчастья. И в том, как она читала нараспев в традиционном плаче и как отвечала на соболезнования, казалось, только одно печалит и беспокоит ее, это то, что муж умер рано, не повидав сыновей взрослыми и не испытав полностью счастье отцовства. Казалось, она не обращала внимания на то, как соболезнующие часто, не находя других слов, говорили: надо быть мужественнее, дети вырастут, ибо сирота с отцом, но без матери — это настоящий сирота, а с матерью, хоть и без отца — это сирота-баловень и т. д. Но мне запомнилось, как однажды кто-то из пришедших слишком жалел нас, детей, гладил каждого из моих братьев по голове, называя сиротами (во всем этом чувствовалось что-то фальшивое и ненастоящее), а мать утерла слезы и нараспев, спокойно сказала:

Ушел наш кормилец, муж и отец,
Аллаха любимец — земли нежилец.
Разве оставит всевышний детей
Того, кто уже в благодати небес.
Жалость земных им совсем не нужна,
Без милости их не оставит творец.
Есть братья отца, есть у них я —
Сиротливой не будет Мукана семья.
Лишь жалко отца, ушел, не видав,
Как батырами стали его сыновья.

Я знал, что у матери было развито чувство юмора, ибо часто слышал, как она, вставив какую-то складную фразу в общий разговор в семье, за дастарханом или когда приходили друзья отца, заставляла всех смеяться: особенно долго заливалась при этом, кашляя и харкая, наша бабушка. Но что она так легко складывает слова в рифмы и это у нее может получаться удивительно гладко и умно, я заметил впервые в дни похорон и поминаний отца.

За этими скупыми словами, за этим плачем без излишнего крика, без надрыва, мы, дети, чувствовали, как глубоко она переживала смерть человека, с которым она прожила более тридцати лет, родив ему четырнадцать детей. Я заметил, как через месяц после смерти отца повис на ней мешком бархатный камзол-безрукавка, так ладно облежавший ее плотное тело. Я понимал и, находясь на

фронте и в госпитале, не раз думал о том, что за внешней эмоциональной скупостью она, моя мать, умеет скрывать глубокие переживания. Так было и тогда, когда я уходил в армию. Моя бабушка плакала и причитала, прося аллаха сохранить ее Мажита. Мать же не проронила ни слезинки, только сурово стало ее лицо да гуще собрались складки над ее верхней губой. И лишь когда она, подойдя ко мне, прикоснулась губами к тыльной стороне моей ладони (вообще я не помню, чтобы до этого она ко мне прикасалась) и, подняв голову, поглядела на меня, ее зеленоватые глаза чуть помутнели от подступивших слез. Ни крика, ни причитаний. Как будто не ее сын уезжал чуть ли не на верную смерть.

И сейчас сидит она передо мной, сказав давно ею обдуманное и подготовленное. На ней бархатный камзол, которым она особенно дорожила, ибо он был сшит из материала, купленного на одну из моих первых зарплат. Камзол этот она очень хотела сберечь для праздничных случаев, но не смогла, так как вся обносилась, и он теперь, лишившись во многих местах бывшего ворса с блеском, висит на ней еще более просторным мешком. Тонкая, затейливая паутина морщин веером разошлась по белым щекам, разрыхлив их и согнав с них довоенный румянец, и, обойдя глаза, превратила в мятый пергамент кожуцу ее выпуклого, некогда плотного подборовья. Видно было, как эта паутина морщин переходила через редкие и рассыпчатые брови дальше на лоб под кимешек, который постоянно закрывал его. Резче и глубже обозначились вертикальные складки над верхней губой, появившиеся после смерти отца, и теперь они собирались в гармошку под ноздрами, когда мать сжимала рот. Красные веки, будто две слезящиеся ранки во внутренних углах глаз. Из-за красноты век совсем были не заметны ее когда-то пушистые светлые ресницы.

Я, казалось, видел впервые, что передо мной сидит не шумливая, неумная, острая на язычок тетушка Умсур, а маленькая сморщенная старушка, моя старушка-мать остался от той, какой она была три-четыре года назад только жемчужный ряд ничем не тронутых, ослепительных белых зубов. А ведь ей едва минуло пятьдесят лет. В такую старушку она превратилась после смерти отца в заботах о том, чтобы я и мои братья не выглядели оборванцами-сиротами, безотцовщиной. Ее слезящиеся глаза — р

зультат ночных бдений над сальной свечой (керосин бывал не всегда) с тем, чтобы заживить, залатать одежды ребят, успевавших за день понаделать дырки в рубашонках и штанишках, скроенных и сшитых ее же руками из различного старья. Среди этих ребят был и я. Помню, как до моего ухода на фронт мать сняла с гвоздя старый чапан отца, долго сидела над ним (я заметил, как на чапан капнули две-три слезы: она очень хотела сохранить чапан как память об отце), потом решительно распорол его и, вывернув ткань наизнанку, сшила мне фуфайку. Дня через два или три в свалке один мой приятель порвал фуфайку. Когда пришел домой, мать посмотрела на нее, чуть потемнела в лице, но ничего не сказала и за ночь посадила латку из остатков того же отцовского чапана.

Все это я передумал, все это промелькнуло передо мной, когда, отбросив свой солдатский сапог к печи, сел, спрятав голые ноги под себя. Сколько раз приходилось пререкаться с матерью по разным житейским мелочам, доказывая обратное тому, что она говорила, пререкаться до тех пор, пока она, почувствовав свою неправоту, не замолкала, сказав: «Ты взрослый парень, пусть будет по-твоему, но потом чтобы не стыдился...» — или когда, считая себя правой, прикрывалась авторитетом отца: «Ты что заладил свое, меня в данном случае и отец бы твой послушался».

Она спокойно продолжала свою работу и, несмотря на то, что я сидел, уставившись на нее, не считала нужным даже повернуться в мою сторону. Этим она давала понять, что сказанное ею не подлежит обсуждению в данный момент и что ее сын, если он помнит своего отца и то, как он поступал в таких случаях, не может допустить такую бестактность, чтобы приступить к немедленному обсуждению жизненного задания, что детали следует обдумать, обтолковать и возвратиться к ним позднее, не торопясь, а детали не были радужными. Во-первых, чтобы поступить в высшее учебное заведение, необходимо иметь полное среднее образование, а я его не имел, бросив школу в первой четверти десятого класса. Во-вторых, для того, чтобы поехать учиться, нужны деньги, нужна одежда, а у меня — солдатское обмундирование, и то уже изнашивалось. И в-третьих... Вот когда я думаю, мой дорогой друг, об этом «в-третьих», я вспоминаю пуш-

кинское «обычай — деспот меж людей». Тогда еще был в силе обычай обсуждать серьезные шаги в жизни со своею роднею, под которой подразумевались ведущие мужчины рода, аула. Я должен был посоветоваться с дядей, который жил в райцентре и был особенно близок мне, потому что я у него жил, когда учился в школе, с двоюродным дядей, который жил тоже в райцентре, и еще со многими родными, кто старше меня и имеет в ауле вес. И, наконец, с девяностолетним старшиной нашего рода Алжиганом или с ата, как мы все его называли. Я знал, что все они будут против, потому что, хотя это были старики и им самим приходилось туго, но иногда, от случая к случаю, они беспокоились о семье Мукана, в особенности когда неожиданно вскипал ата, крича, что «измельчавшие потомки забыли обычаи предков, никто не догадается забросить во двор Мукана навильник сена». При своенравном, независимом, шепетильном характере моей матери взаимоотношения с родными складывались вообще нелегко.

Я снова притянул к себе сапоги, не торопясь, обернул ноги портянками, обулся, надел свою солдатскую шинель и вышел, чтобы прогуляться и хорошенько подумать, как лучше исполнить волю матери, ибо я был ее сыном.

Учиться в высшем учебном заведении, думал я, а почему бы и нет? Мне учеба всегда давалась легко. Только придется поступать на подготовительное отделение, терять целый год. Ничего не поделаешь... Ах, отец, почему он не настоял на том, чтобы я все-таки окончил десять классов?.. Я вспомнил своих учителей, в особенности старенькую и добрую Аграфену Федоровну, которая преподавала нам до седьмого класса. Она при каждой встрече так сокрушалась по поводу того, что я бросил учиться, что, приезжая в райцентр, мне приходилось избегать встреч с нею. И теперь я думал, что не особенно ценил то, как она вдалбливала в нас тонкости русского правописания, и не особенно понимал, что именно ее стараниями заслужил звание первого грамотея в классе, и не без ее участия получилось так, что мамина женщина — «дохтур» отзывалась так высоко о моих письмах, а последнее привело мою мать к навязчивой мысли учить меня дальше во что бы то ни стало. Все, казалось, складывается из странных случайностей, дающих толчок к решению самых важных вопросов моей жизни. Я уди-

вился тому, что неожиданно появляются какие-то русские тетки и чуть ли не подсказывают пути решения моей судьбы. Конечно, никто более отца не желал, чтобы его сын, Мажит, был хорошим, умным, грамотным человеком. Поэтому он и старался учить меня, не прерывая, в русской школе. Отец и в особенности дядя Актай считали, что именно моя ранняя понятливость в русской грамоте выручила однажды отца из беды. Я помню этот случай, он произошел при моем участии. Но я его воспринял тогда только внешне, потому что мне шел всего восьмой год. А суть сводилась к следующему. Весной, когда я окончил первый класс, мы переехали в совхоз, поставили рядом с дядиной землянкой нехитрый шалаш, и отец со своим другом Ахметом запряг нашу кобылу в телегу и уехал, как объяснила мать, в станционное село Лебяжье, находившееся от нас где-то в ста километрах. По расчетам, путники должны были вернуться примерно через неделю, но уже прошло десять дней, их не было. Поехал за ними дядя Актай и вернулся с вестью, что отец с Ахметом сидят в заключении, а на кобыле ездят милиционеры. Оказалось, что отец и Ахмет собрали золотые и серебряные вещи, которые имелись в наших семьях, и там, в Лебяжьем, в специальном магазине обменяли их на три мешка такой муки, из которой выпекают самые что ни на есть белые лепешки и которая называется «крипшетке». Но милиция заподозрила их в нечестности и арестовала впредь до выяснения. А выяснить было нелегко, т.к. оба, и отец, и Ахмет, были неграмотны, плохо говорили по-русски и еле рассказывали, откуда приехали. Нужна была справка от сельсовета в селе, где мы жили зимой. Село находилось от нас теперь в шести километрах. И вот мы с дядей приходим в сельсовет. Сидят двое русских: один рыжий, бородатый, другой безбородый — и совсем не слушают дядю, говоря что-то свое. Я боюсь и прячусь за дядю. Дядя объясняет, а они не то смеются, не то ругают. Вышли ни с чем. Дядя совсем поник головой и даже, кажется, забыл, что я иду рядом с ним. И вдруг, выглядывая из-за спины дяди, вижу, что навстречу нам идет сама Аугустастина, наша учительница, большая, дородная старушка, с закинутой назад гордой седой головой, и я услышал ее громовой голос: «Мажит, где твоё «здравствуйте»?!» Я говорю: «Здрастье!» — и несколько не боюсь, зная, что она меня любит, и отлично помня, как

не раз говорила моему отцу: «Мукан! Учи сына, он будет хорошо учиться!» И вот мой дядя, взбодрясь, начинает толковать Аугустаине, почему и зачем пришли в сельсовет. Учительница взяла меня за руку и так решительно зашагала к сельсовету, что, казалось, дядя еле поспевал за нами. Я не помню, что она там говорила, но ее голос так гремел, что двое сельсоветских с удивительной расторопностью составили бумагу, подписали и поставили печать. Дня через три или четыре вернулся отец со своим другом и с мукой, ничего не оставив и не растеряв. Только было жалко смотреть на сильно похудевшую нашу пегую кобылу, на ее сбитую до крови спину. Больше я Аугустастину не видел: в сентябре того года мы устроились жить в соседнем ауле, и я учился в другой школе. Теперь я полагаю, что это была не Аугустаина, а Августа Устиновна, фамилии ее не помню, и, наверное, ни я, ни мои родители не знали фамилии тогда. За три года моей учебы в Приуралье я переменял три школы, а из учителей ныне помню только ее. Отец мне ни разу не говорил, что кто-то явился или мог явиться причиной его особо страстного желания меня учить, но я знал, что отец помнил эту благородную и добрую женщину, спасшую его от несправедливости, и подозревал, что перед ним не раз вставал ее образ, строго и назидательно внушая: «Мукан, учи сына! Он будет хорошо учиться!» Но почему отец не говорил мне об этом, для меня до сих пор остается загадкой.

Сейчас не могу толком объяснить, почему я вспомнил тогда Аграфену Федоровну и решил поделиться решением матери именно с ней. Особой близости я к ней не имел, после седьмого класса она у нас не преподавала, и, следовательно, пять-шесть лет, прошедшие с тех пор, были достаточным сроком, чтобы считать обращение к ней за советом по личным делам неделикатным. Было много других учителей и учительниц, которые, казалось, были связаны со мной в большей степени. Хотя учителя в большинстве своем ушли на фронт и почти никто из них не вернулся, но все-таки было к кому обратиться. Но тем не менее меня потянуло к моей старой учительнице.

Очень скромным, трогательно кротким человеком была эта женщина. Одевалась она так просто, что со своими гладко зачесанными назад и затянутыми на затылке в

тугой маленький жгут каштановыми волосами казалась самой обычной крестьянкой в немудреном воскресном наряде. На ее морщинистом лице не было ничего отличительного, кроме чуть выдававшихся вперед неровных зубов и больших серых глаз, постоянно смотревших на всех с добрым вниманием. К ее виду сельской труженицы не шли только ее мягкие ладони и длинные изящные пальцы. Говорила она чуть сиплым и незвонким голосом. Но мы ее слушались, несмотря на то, что ни на одного из нас, даже при обнаружении непозволительных шалостей, она не повышала голос, не говорила ни о каких наказаниях и только укоризненно качала головой. Возможно, некоторую роль здесь играло то, что мы были наслышаны о подвиге ее отца и старшего брата, которые были красными партизанами и погибли за Советскую власть в родном селе, находившемся рядом с нашим аулом. Знали мы о том, что учительница наша осталась одинокой из-за своей племянницы Оли, которую еще грудным ребенком бросили ей на руки. Мы хорошо знали эту красавицу Олю с длинной толстой светлой косой, с большими серыми глазами, насмешливо глядевшими на нас из-под длинных пушистых ресниц. Она училась на два класса старше нас. И все же до сих пор я не могу понять, почему мы так слушались Аграфену Федоровну и как она могла так умело вдабливать в нас грамматику русского языка. Употребляю слово «вдабливать» потому, что именно это впечатление осталось у меня от ее обучения: и на уроках, и вне урока она всегда готова была рассказывать, растолковывать ту или иную ошибку в письме, в произношении русского слова, без конца повторяя то или иное правило правописания.

И вот в волглый, слякотный воскресный день глубокой осени подхожу к маленькой бревенчатой избенке, с прохудившейся дерновой крышей. Пройдя маленькие полутемные сени, стучусь и, услышав: «Войдите!» — переступаю порог небольшой светлой комнаты. Она спокойно подняла голову от столика, за которыми сидела, сняла очки и мимо большой русской печки подошла ко мне.

— Мажит! Не ждала, не ждала, молодец! — вижу чистый, выскобленный почти до бумажной белизны пол и боюсь тронуться от двери своими грязными сапожищами, с которых стекает черная жижа, к тому же сверлит догадка, что наверняка наследил и в сенях, где, должно

быть, так же чисто, как здесь.— А вот что, вытри ноги этой тряпкой и проходи,— говорит она, подкатывая от печи правой ногой большой комок рваной мешковины.

Почистив сапоги, поднимаюсь во весь рост, она продолжает стоять рядом, и мне становится неудобно оттого, что я такой длинный верзила, чуть ли не достающий головой потолок, смотрю на свою учительницу сверху вниз. В смущении вижу, что Аграфена Федоровна, казавшаяся когда-то высокой и крупной, на самом деле не такая уж большая, что детские глаза мои преувеличивали ее дородность и полноту.

— Это каким ты, Мажит, вымахал, а ведь был в классе чуть не самым маленьким,— говорит она, словно чувствуя причину моего смущения,— успел уже повоевать...

Расспрашивая о моей жизни, она откладывает в сторону тетрадки, которые, по-видимому, проверяла, и я, сидя за некрашеным столиком против нее, замечаю, что ее когда-то нежные пальцы, которыми мы любовались, заметно огрубели, ладонь почернела, стала сухой, жесткой. Это означало, что ей приходится заниматься не только учениками и ученическими тетрадками, но и печью, полом, огородом и многим другим.

— Я теперь одна,— говорит она как бы между прочим, не акцентируя на своем одиночестве, не жалуясь на судьбу,— мама моя умерла в прошлом году, а Олечка выпорхнула замуж и живет теперь в городе.

Выждав удобный момент, выкладываю о велении матери, как только кончится война, ехать учиться и, шутя, добавляю, что она, мать моя, уже точно рассчитала, что война кончится не позже весны; сын ее со своим раненым плечом в армию теперь не вернется, и поэтому летом он имеет полную возможность поступить в облюбованное им высшее учебное заведение, а о том, что сын этот еще не имеет аттестата зрелости, она и знать не хочет. Рассказываю о трудностях, которые ожидают семью ввиду того, что я — старший и на мне лежит обязанность содержать ее.

Аграфена Федоровна молча выслушала меня, взяла два лежавших перед ней карандаша, зажав их в кулачок, положила руку на стол и взглянула на меня своими лучистыми глазами:

— Как сам, Мажит, думаешь?

Я пожал плечами.

— Слушать мать, конечно, нужно, но ты сам должен решать. Война кончится, жизнь будет хорошей, ты — молод, степь, раздолье, работы много, увлечений тоже... Будет сытно... Мало тебе четырех лет полуголодной жизни на отмеренном пайке, ты еще сядешь на скудный студенческий... Не понимаю тебя, Мажит. Зачем тебе это?

Голос Аграфены Федоровны был спокоен, кулачок правой руки держал карандаши строго вертикально, острием вверх и неподвижно, левая ладонь мягко прилегла рядом. Вокруг глаз, уставившихся на кончики карандашей, ни смешинка, ни лукавинка не улавливались. Я, признаться, опешил. То, что она говорила, не входило в мои расчеты. Я шел с тайной мыслью обрадовать мою старую учительницу.

— Ну подумай сам, — продолжала она, — ты уже пятый год, как бросил школу. Бросил еще до войны, когда ты мог продолжать учиться. Значит, учеба тебе не так уж дорога. Ты говорил, что отец велел бросить школу. Было б у тебя внутреннее желание, отец вряд ли продолжал бы настаивать. А сегодня ты снова захотел учиться, потому что мать велит. Учеба — не легкое дело, особенно в высшем учебном заведении... А ну-ка скажи слова Маркса, что висели на стене перед учительской? Не помнишь? «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Ты читал эти слова не раз, но в значение их не вдумывался... Ты легко учился, легко перестал. Поступишь в институт и с такой же легкостью бросишь, не доучившись... Лучше, конечно, не начинать.

Аграфена Федоровна говорила ровно, обыденно, без назидательной четкости и совершенно незлобно, она не обвиняла, не обличала, не укоряла. Она говорила самую обычную правду. Но эта правда, сказанная настолько просто, ясно и кратко, так меня обожгла, что я впервые, может быть, почувствовал силу правды, высказанной честно и прямо. Помню только, как мои глаза, довольно бесцеремонно изучавшие лицо учительницы, опустились и уставились в те же два карандаша, на которые смотрела Аграфена Федоровна. Я не мог отвести от них глаз и тогда, когда учительница встала и карандаши с легким треском упали из ее разжатого кулачка. Я слышал лишь, как она,

подойдя к печи, рогачом-ухватом доставала из глубокой пасти ее чугуны, собирая нехитрый стол: появилась тарелка с картошкой «в мундире», как тогда было принято называть, ибо ради экономии она варилась нечищенной, чай из чугуна, ломтик тонко нарезанного черного хлеба. Я громко хлебнул из кружки жиденский и теплый чай и сразу же вслед заметил, что совершил бестактность, ибо, молча ставя все на стол, хозяйка еще не приглашала меня к нему. Но я делал это бессознательно, так мне необходимо было намочить язык, который превратился во что-то большое, сухое и малоподвижное, похожее на ту соленую воблу, к которой меня пристрастил в госпитале один мой товарищ, когда нам удавалось тайком забегать в пивную, находившуюся за углом.

Хозяйка хлопотливо угощала, а я боялся слишком много съесть, т. к. понимал, что для нее в то время значили и эти картофелины, и этот ломтик хлеба, не вдруг я обрел дар речи и заговорил. Самое удивительное, мой дорогой друг, заключается в том, что я начал врать: врать бессовестно и неудержимо. Я говорил Аграфене Федоровне, что вначале я сказал ей не все правильно, что я всю жизнь хотел учиться, а школу бросил из-за болезни отца, но повсюду: дома, на фронте, в госпитале — меня не покидала мысль о дальнейшем образовании, мать же только разгадала то, о чем мечтал я давно. Я говорил, все более распаляясь и выдумывая такие подробности, что уже казался себе чуть ли не тем архангельским мужиком, который с котомкой на плечах входит в шумный город, бежав в поисках знаний от мрачного отца, не желавшего его учить. Воодушевлялся же я, вероятно, оттого, что чувствовал, как нравится Аграфене Федоровне тот парень, каким я представлял себя ей в тот момент в своей импровизации. Между тем в том, что я говорил ей, не было ни грамма правды. Отец в том предвоенном году не болел, он вообще редко болел, и не помню, чтобы я до этого серьезно мечтал об учебе, поскольку, в общем-то, я не был из тех, кого томит духовная жажда. Думаю, врал оттого, что мной руководило внутреннее подспудное и неуправляемое желание реабилитировать свою персону в глазах любимой учительницы.

— Вот хорошо! — прервала мои излияния Аграфена Федоровна. — Как это хорошо, Мажит, что ты такой! Я, значит, ошибалась, представляя тебя не таким! Очень хорошо!

От этих простодушно произнесенных «такой» и «не такой» я снова потерял дар речи, мне стало стыдно от своего вранья, чувствовал, как я перехватил, и перехватил необратимо. И, может быть, какое-то облегчение принесло лишь то, что Аграфена Федоровна перевела разговор на деловую почву.

— Это уже совсем другое дело,— продолжала учительница,— если ты не можешь иначе, если ты представляешь себе свое будущее только через учебу, тогда можно будет поговорить. Тогда и поступай так, как велит мать. Только зачем тебе терять год, ты поступай в десятый класс, тебя примут, ты и ушел из него примерно в это время.

Я не мог бросить работу, не было учителей. Когда я сказал об этом, Аграфена Федоровна посоветовала пойти к директору школы и договориться о возможности сдать на аттестат зрелости экстерном.

Я уже было приблизился к двери, прощаясь и собираясь уходить, как Аграфена Федоровна сказала:

— Вот сдай на аттестат экстерном — это тебе первое испытание. Ты способный парень и это можешь сделать. Только надо иметь упорство.— Потом, помолчав, добавила: — Мажит, еще ты помни вот что: твоя мать — редкая, сильная и благородная женщина. Верит в тебя и готова на всякие лишения. Учти. Самое большое горе будет для нее, если она обманется в своих ожиданиях.

Бывают, наверное, моменты в жизни, дорогой друг, когда человек после внезапного, резкого или, как теперь говорят, стрессового осознания своих слабостей и недостатков враз исправляется и становится, как в сказке, абсолютно положительным героем. К сожалению, твой друг не относится к категории людей, которые способны приобрести за счет подобных стрессов длительный нравственный иммунитет против своих слабостей. Ярким примером тому являются чувства, овладевшие мной после свидания с Аграфеной Федоровной. Мне было стыдно, я укорял себя за двуличие и трусость, за робость, которая овладевает мной, когда случай вынуждает открыто говорить о своих ошибках и слабостях, за чуть ли не враждебную способность приписывать себе мнимые достоинства, словом, за все то, что четко проявилось во мне в разговоре с Аграфеной Федоровной. Я шел и давал себе

клятву, что подобное в моей жизни не повторится. Но когда пришел домой к дяде, покушал, сел на коня и поехал домой, я почувствовал, как понемногу рассеиваются укоры совести и мне становится легко и даже как-то приятно, ибо теперь уже казалось, если судить без излишних и, может быть, даже ненужных эмоций обо всем, что говорилось у Аграфены Федоровны, ничего «такого» я не говорил, и если теперь буду учиться, то буду впереди всех близких и знакомых своих сверстников, а это означает, что я, в общем-то, и неплохой парень.

Прошу тебя заметить, друг мой, что я не оговариваюсь, когда пишу «без, может быть, ненужных эмоций». Теперь с высоты своего жизненного опыта мне, конечно, легко судить, но все же я содрогаюсь при мысли, что сравнительно безобидное утешение мелкого самолюбия, о котором я говорил выше, могло при некоторых благоприятных для этого обстоятельствах утратить в душе все, что связано со стыдом, совестью, моралью и т. д... И теперь, анализируя былое, я могу твердо сказать, что в переменчивом лабиринте моих настроений наверняка преобладало человеческо-эмоциональное над эгоистически-рациональным, и я, во всяком случае, ни разу не доходил до такого состояния, чтобы чистые побуждения души заранее относить к ненужным сентиментам, если это не касалось оправдания задним числом того, что по игре случая невольно произошло. Мне, конечно, легко было бы признаться в низменных свойствах своего характера, если эти свойства являлись лишь предметом внутренних переживаний и ни на ком другом неприятно не отражались. Беда-то в том, дорогой друг, что были такие поистине несчастные ситуации, когда плохое из меня вырывалось наружу, приводя к не очень радужным последствиям.

Овладевшее мной на пути в аул чувство самооправдания со временем рассеялось, и при воспоминаниях об этом свидании с Аграфеной Федоровной все же всегда выступало впереди чувство стыда. К сожалению, это чувство стыда не оградило от того, чтобы я не повторил в будущем подобное же. Невольное, неуправляемое желание обелить себя, оправдать, сфальшивить и соврать при этом хотя и происходило с возрастом все реже, но, к сожалению, проявлялось в еще более глупых формах. К этому будет приведено, наверное, немало примеров, а сейчас расскажу, какое постыдное последствие имело

мое тогдашнее вранье. Когда лет пятнадцать тому назад защитил докторскую диссертацию, один местный корреспондент обратился к моей старой учительнице с просьбой рассказать, что она помнит обо мне. Аграфена Федоровна сообщила о моей персоне точно то, что я ей симпатизировал при тогдашнем свидании. Эта версия пошла гулять по газетам и устам. И что вы думаете: мне было вначале неприятно, я внутренне морщился, а потом и сам привык к этой версии. А когда недавно рассказал одному корреспонденту правду, он не поверил и напечатал статью, превознося мою, видите ли, «удивительную скромность». И мне почему-то кажется, что на такой базе создавались и создаются многие легенды о так называемых замечательных людях. Аграфена Федоровна умерла лет десять назад, и теперь, старея, все чаще обращаюсь к ее образу, прося прощения за то, что заставил ее, женщину, вероятно, не произносившую в жизни ни одного фальшивого слова, говорить невольную ложь обо мне, за ложь, которую я же вложил в ее простодушные уста, за то, что у меня не хватило мужества и воли своевременно признаться ей в этом.

Между тем, как я уже писал в тогдашних думах, соображениях и решениях, связанных с моим поступлением в институт, никто, как таковой, о науке в нынешнем понимании не говорил. Речь шла лишь о том, чтобы стать просто образованным человеком, специалистом, прошедшим обучение в высшей школе. Сейчас каждый учащийся старших классов средней школы знает, что наука есть не просто стремление к многознанию, а более всего такое многознание, которое способно к уже имеющимся знаниям прибавить что-то новое и свежее. Ныне, к сожалению, принято считать, что на последнее способны все люди, окончившие высшую школу и как-то оказавшиеся потом в научных учреждениях или лабораториях и на кафедрах университетов и учебных институтов. Друг мой, ты после войны сразу остался в Москве, но тем не менее, вероятно, хорошо помнишь, как в довоенные и в первые послевоенные годы предполагалось, что само высшее образование могут иметь лишь люди способные и одаренные. Конечно же, это было связано с тем, что высших учебных заведений в стране тогда еще было недостаточно, а в республике можно было их по пальцам пересчитать. Поэтому-то мое решение учиться дальше в вузе было воспринято не только

мною, но и многими другими как событие довольно серьезное. И я не могу тебе не рассказать здесь о людях, которые с большой душевной щедростью помогали мне в этом деле, ибо, если даже я в то время и не помышлял стать научным работником, все же то, к чему пришел сейчас, началось именно тогда.

Я был наслышан, что директором нашей школы является Семен Иванович Шибанов, фронтовик, приехавший к нам после госпиталя, так как его родная Смоленщина была оккупирована врагом. Директор единственной в районе русской средней школы был в то время видным лицом, и поэтому все знали о том, что семья Семена Ивановича погибла при бомбежке и он одинок. Привожу же я эту подробность к тому, что в то время узнал о его женитьбе на Варваре Агеевне, которая меня учила географии, а я к ней и в особенности к ее сестре Анне Агеевне, тоже моей учительнице, питал большую симпатию, о чем я расскажу ниже.

Когда я зашел в маленький, знакомый мне с ученических лет кабинет директора, навстречу поднялся выше среднего роста, широкий в костях и казавшийся массивным блондин в потертом офицерском мундире без петлиц. Я заметил, как болтается пустой левый рукав. Не по-русски широкое лицо и толстые губы улыбались приветливо. Семен Иванович молча выслушал меня и высказал удивление, что здесь впервые обращаются к нему с таким предложением и что для точности он проконсультируется в районном отделе народного образования, хотя примерно знает, что сдавать экзамены экстерном на аттестат зрелости разрешается. Говорил он звонким басом, и казалось, толстые губы его придают какую-то особо приятную смачность четко произносимым словам. Он преподавал историю, и когда я ему, отвечая на его вопросы, перечислил русских царей из династии Романовых, точно называя даты их царствования, ему это понравилось, он весь расположился ко мне и выразил готовность помочь. Он назвал предметы, которыми надо заниматься, и учителей, с которыми можно консультироваться. Почти все учителя меня знали, я у них учился. Я вышел от Семена Ивановича открытым.

Удивительная штука, дорогой друг, память. Был я тогда у Аграфены Федоровны всего один раз и запомнил почти все. А вот сейчас стараюсь вспомнить Анну Агеевну,

учительницу, которая привлекала меня более всех после Ивана Антоновича, и обнаруживаю, что, несмотря на то, что ходил к Анне Агеевне в ту зиму и весну раз десять или пятнадцать, никак не могу восстановить в памяти ее домашнюю обстановку. Знаю, стоял возле школы большой бревенчатый дом с тесовой крышей и резными наличниками, и я, пройдя сени этого дома, оказывался в комнате налево. Там был длинный стол, с одного конца которого садилась Анна Агеевна, с другого — я. А что еще в комнате было — не помню; не помню также, видел ли ее маленькую дочурку; слышал, что тогда от ее мужа с фронта не было вестей. Анна Агеевна среди наших преподавателей отличалась, мне казалось, какой-то необычной одухотворенностью на красивом, чуть откинутаом лице с тонкими чертами, ее большие карие глаза смотрели холодно и строго, к ее стройной среднего роста фигуре очень шла независимая быстрая походка. Судья, конечно, я был тогда плохой, но у меня сложилось впечатление, что Анна Агеевна выражала мысли так ясно, четко, точно и красиво и так умела обходиться без обычных междометий, без слов-паразитов, что ни один из наших учителей, даже Иван Антонович, не выдерживал с ней сравнения. Речь ее не имела вынужденных пауз и остановок, казалось, нужные слова, образные и четкие, приходили к ней легко, сами собой. Преподавала она нам химию и биологию, предметы казались куда более скучными, чем, например, литература или история, но когда Анна Агеевна говорила мягким и мелодичным голосом о вечном движении в естественном мире, о том, что поведение какого-то ничтожного атома имеет для мироздания такое же значение, как и поведение планет, и что законы этого вечного и неустанного взаимодействия больших и малых, живых и неживых частиц должен человек познавать, изучить, искусственно разбив целое и неразъемное на наивозможно малые процессы и частицы, — мы слушали разинув рты. Так она завораживала нас своим умением красиво и строго переходить от сложного к простому и снова к сложному. Когда она рассказывала, очевидно, действительно вдохновлялась, так как мы замечали, как бледнеют ее щеки и чуть раздуваются тонкие ноздри. Строгая была женщина эта Анна Агеевна, она не позволяла себе на перерывах или встречах вне школы какие-либо разговоры или шутки, проходя мимо, лишь легким кивком головы

отвечала на приветствия. Не было в ней той простоты, которой отличалось и нравилось нам большинство наших учителей.

И вот, представь себе, дорогой друг, я должен пойти к Анне Агеевне, любимой учительнице, которая не в пример другим педагогам ни разу не устаивала меня своим вниманием, кроме редких, колких, язвительных замечаний в классе, на которые она была мастерица. Я теперь не могу сказать, почему должен был пойти непременно к ней домой, а не пойти, например, в школу и встретить ее там, чтобы договориться. Я ко всем моим учителям, кроме директора, непременно шел напрямик домой. Тогда в нашем сельском быту не особенно отделяли рабочее время от нерабочего, рабочую обстановку от нерабочей. И вот, затаив дыхание и стараясь быть как можно спокойнее, стучусь в ее комнату. Слышу, как подходит к двери: «Вы — Нурбаев? Погуляйте и зайдите минут через двадцать!» — говорит она, по-видимому, заметив меня в окно. Сразу отметил себе, что она обратилась ко мне на «вы». Вхожу через двадцать минут, она встает навстречу и подает мне руку, но каких-либо движений на ее лице, придающих хотя бы какую-то теплинку ее приветствию, не вижу: эта холодность обливает и гасит проявление радости и на моем лице.

— Я уже все знаю, меня Семен Иванович предупредил, — говорит она, садится сразу же за стол, покрытый ветхой, но чистой скатертью, указывая мне на табуретку у противоположного конца стола, и приступает к делу. Рассказывает, что я должен знать по химии, чтобы сдать на аттестат зрелости, при этом она изредка откидывает движением головы густые, волнистые темно-русые волосы, разливом ниспадающие на узенькие плечи. Потом начинает опрашивать и убеждается, что пройденное когда-то я знаю твердо на тройку; это ее, кажется, успокаивает, но никаких эмоций по этому поводу она не выражает, только отмечает, что имеющиеся у меня знания по химии — достаточно хорошая база, чтобы теперь заниматься тем, что проходят в десятом классе, — органической химией. Затем предлагает мне приезжать по воскресеньям, примерно с двенадцати до двух. Она, как в школе, будет меня сначала спрашивать, а потом рассказывать новый материал. Я, как и у Аграфены Федоровны, замечаю ее огрубевшие руки, на которых теперь нет довоенного

маникюра, который, как нам говорили девчонки из нашего класса, делала она сама и на который мы обращали особое внимание, потому что для нас это было в диковинку. Замечаю также, как напрасно она помадила в довоенные годы свои строго очерченные красивые губы, яркая окраска с которых не сходила и сейчас. Удивляюсь, как тогда, в ученические годы, не замечал ослепительной белизны жемчужного ряда чуть выдававшихся вперед зубов. Теперь руки ее казались мне большими и крестьянскими, т. е. такими, какими они, как мне подумалось в тот момент, и должны были быть, ибо Анна Агеевна, несмотря на поражавшую нас интеллигентность, была дочерью Агея — рабочего местной промартели, имевшего восемь или девять дочерей. Рассказывали, что Агей овдовел и, несмотря на то, что был еще не стар, не захотел привести в дом новую жену, боясь, что она окажется злой мачехой. Он поставил себе целью учить дочерей, потому что видел, что они все как на подбор умны и способны. Анна Агеевна была старшей дочерью и надеждой, она первой из тех, кого мы знали, поехала учиться в Ленинград, но из-за какого-то случая (судачили о неудачной любви) вернулась через год или два. Вторая, Варвара, тоже моя учительница, окончила педагогический техникум. Третья, Елизавета, окончив учительский институт, работала в соседнем районе на какой-то большой должности. Агей продолжал учить других сестер, посылая их в школу в одежде и обуви, которые приобретал по одному комплекту на двоих или троих.

Такова была Анна Агеевна, которая мне не задала при этой встрече (да и при всех последующих) ни одного вопроса о житье-бытье, без которых не обходились ни один разговор, ни одна встреча в нашем ауле, она в последний раз тряхнула головой, откидывая волосы, и встала, давая мне понять, что аудиенция окончена. Я покинул ее, все больше удивляясь ее строгости при таком великодушном желании помочь, желании, не окрашенном ни словами, ни внешними проявлениями эмоций, которыми часто и привычно сопровождаются добрые дела добрых людей и еще чаще и преувеличенной добрые или якобы добрые дела недобрых людей.

Мне так и хочется рассказать, как Анна Агеевна удивительно просто и понятно излагала суть преподаваемой ею науки и в какой восторг меня она приводила

стройностью и последовательностью излагаемого. Этот восторг усиливался еще тем, что в течение предыдущей недели, желая блеснуть перед Анной Агеевной, я пробовал заниматься самостоятельно по учебнику и испытывал страшное разочарование, так как ничего не укладывалось в голове. Очень боялся поразить Анну Агеевну своей тупостью. Я хорошо помню, как она объясняла тот или иной раздел программы, но боюсь усложнить свое повествование, рассказывая об этом. И все же расскажу, что многочисленные вещи, с которыми мы запросто обращаемся, лекарства и химикаты, вся живая природа оказались сложенными из больших и малых молекул, в центре которых находится атом углерода, то есть попросту атом того угля, который в обиходе, например, накапливается в виде сажи в дымоходах домашних печей. Во всех органических веществах углероду постоянно сопутствует водород, легкие и подвижные атомы которого, зацепившись за четыре крючка атома углерода и держа их постоянно оттянутыми, соблазняют атомы других элементов удобством своего положения и при приближении тех легко уступают место, не преминув зацепить за крючок, и быстро отскакивают на сторожевую позицию с нужной стороны плененного чужеродного атома, притиснув его еще ближе к углеродному атому. Так образуются многочисленные цепочки с атомом углерода в центре и атомами водорода снаружи. Поэтому молекулы разнообразных сложных органических соединений представляются пространственной сетью, сотканной из цепочных нитей атомов элементов, непременно стянутых в узлах сети атомами углерода и водорода. Теперь я знаю, насколько примитивным было объяснение сложной природы явлений, связанных с образованием органического мира, но это объяснение выглядело так образно, так убедительно и последовательно, что это наивное и милое толкование моей учительницы, сослужив свою службу для быстрого усвоения среднешкольных азов, долго продолжало во мне жить, вызывая невольный и несознательный протест в душе при рассмотрении более правильных, более глубоких и современных суждений в институте. Десять, а может быть, пятнадцать (сейчас точно не помню) подобных занятий, ровно по два часа каждый раз, провела она со мной, и где-то в начале мая в радужные и торжественные дни, связанные с победой над заклятым врагом,

она мне сказала, что я могу свободно сдавать экзамены и ее дальнейшая помощь вряд ли необходима. Я неумело и робко начал говорить слова благодарности. Это были, пожалуй, первые мои слова, относящиеся к области чувства, за эти несколько месяцев регулярных встреч с ней. Она прервала меня и сказала:

— Не надо благодарить. Лучшей благодарностью для меня будет, если вы действительно поступите в высшую школу и... окончите ее.

Мне показалось, что она перед последними словами сделала невольную и непривычную для нее паузу. Показалось также, что после паузы чуть сбился с тона ее голос, заметно дрогнула верхняя губа, на миг, как у расстроенной девчонки, расслабилось ее строгое лицо. Я настолько привык к тому неизменно холодному спокойствию, владевшему всем ее существом, что удивился этому необычному мгновению, когда внутренние эмоции у моей учительницы пробовали чуть проступить наружу и были резко вогнаны ее волей обратно, внутрь. Я успел обратить внимание еще на то, что слово «действительно» она произнесла чуть вразяжку и с ударением, давая этим понять, что трудилась она лишь ради того, чтобы я на самом деле учился дальше, а не оказался многообещающим болтуном. Эту первую и последнюю для меня краткую речь моей учительницы, не относящуюся непосредственно к делу, запомнил дословно и потом не раз возвращался к ней, восстанавливая и анализируя все мельчайшие ее нюансы и все больше убеждаясь, как она с редкой искренностью и добротой желала, чтобы я учился дальше, учился упорно, вспоминал и то, как она невольно выдала свои глубокие переживания, связанные с тем, что она сама недоучилась. К последнему выводу я пришел позже, тогда мне казалось, что женщине, даже такой, как Анна Агеевна, большей образованности нечего и желать и не к чему быть недовольной своим положением.

Такой строгой, красивой, замкнутой, холодной и независимой сохранилась в моей памяти Анна Агеевна... Теперь же я полагаю, что она, наверное, смеялась и острила, сердилась и обижалась в кругу родных, товарищей и друзей, была, где нужно, беззаветно весела, сговорчива и проста, а где нужно — непреклонна и сурова; занималась она, наверное, как и все другие учителя, разнообразной организаторской, общественной и воспи-

тательной работой, т. е. была обычной женщиной. Но моя память бережет, по-видимому, лишь ту сторону ее образа, которая была обозрима для мальчика, учившегося у нее в течение двух-трех лет, а потом, через пять лет, повзрослев и чуть коснувшись тягот жизни, постучавшегося к ней за помощью, которую оказала она, Анна Агеевна, с необычайной душевной щедростью и самоотверженностью. Я не оговариваюсь, когда пишу «самоотверженностью», ибо то был период тяжелейшего напряжения сил всех честных людей нашей Родины, период большой усталости, и убивать время и слабые остатки сил на то, чтобы помочь юноше, которому взбрело на ум сэкономить год учебы за счет добрых людей, решались, конечно, душевные и самоотверженные люди, подобные Анне Агеевне. Я с благодарностью вспоминаю многих своих учителей, помогавших мне в том году, в особенности нашего физика, больного, угрюмого на вид кавказца, заброшенного к нам не то из Западного Прикаспия, не то из Причерноморья, как потом выяснилось, по чьим-то злым и несправедливым наветам; нашу учительницу математики, изможденную, преждевременно постаревшую женщину, обремененную большим семейством и инвалидом-мужем и настолько занятую, что я теперь удивляюсь ее терпимости и деликатности. Она находила возможным при моих бесцеремонных обращениях не отказывать мне и успевала разъяснить в спешке, на ходу, между делом непонятные теоремы и задачи. Но больше всех я запомнил Анну Агеевну, потому что она поступила так, как могла поступить только Анна Агеевна. И я теперь благодарю судьбу за то, что она меня нет-нет, да и сталкивала с теми редкими людьми, у которых в самой высшей степени сочетается глубочайшая добросовестность в выполнении того, что им повелевает их незапятнанное ни малейшей фальшью благородство, с абсолютно полным отсутствием даже намеков на умиление и восторг от собственных деяний, не говоря уже о картинных жестах и патетических восклицаниях по поводу служения долгу и жертв, приносимых ему, которые мы слышим, к сожалению, часто от людей, дела которых на самом деле довольно далеки от того, что они говорят.

Нужно ли рассказывать о том, как я благополучно сдал экстерном экзамены, получил аттестат зрелости, где были поставлены не те отличные оценки, которые я имел, будучи

учеником. Баллы в аттестате были не очень высокими, но меня утешили, говоря, что я совершил чуть ли не подвиг, что отлично импонировало моему трепетно отзывчивому на малейшую похвалу самолюбию. Нужно ли рассказывать о том, как я сидел на торжествах по случаю окончания средней школы рядом с парнишками и девочками, не зная, как вести себя с ними. Когда я учился в школе, все они были незаметными для наших глаз молокососами-четвероклассниками, и я, естественно, был мало знаком с ними. В этой школе до меня (как я недавно выяснил) и после меня никто на аттестат зрелости экстерном не сдавал, и я вызывал едва ли не почтение, ибо представитель райкома партии, выступая после директора, особо отметил мою персону, посмотрев на мою долговязую фигуру, еле вмещавшуюся за школьную парту и резко выделявшуюся среди окружающих отроков.

Память мне подсказывает подробности другого плана. Я уже писал выше, что такое серьезное решение, как ехать учиться в большой город, и надолго — пять лет для старшего поколения нашего аула казались пугающе долгим сроком, — необходимо было тщательно обтолковать со всеми видными родственниками. Это была, в общем-то, формальность, поскольку я полагал, что, несмотря на возражения, они в конце концов согласятся: ведь я мог погибнуть на фронте. И все же, скажу честно, я хотел иметь от них не формальное, не бездушное согласие. Мне трудно в этом признаться, но я до сих пор ловлю себя на том, что во мне есть что-то от суеверия моего отца. Родитель мой был очень суеверным человеком. Любое серьезное дело, особенно поездки на далекие расстояния, он начинал только в среду — это, по его убеждению, был наш семейный (я уже не помню, может быть, и родовой) день — «сят», день удач. Любые неудачи в делах и в жизни он склонен был относить не к объективно неблагоприятному стечению обстоятельств, которые возможны у всех и в любом деле, а к тому, что когда-то случайно или неслучайно обидел кого-то, к кому-то был несправедлив и прогневил аллаха, к тому, что вовремя перед началом дела не получил благословения у старших.

Оба брата отца меня несказанно любили. Они были холостяками, когда я родился, и меня с малых лет носили на руках, позже возили по соседним аулам, посадив на седло перед собой. Когда они обзавелись семьями, я

остался у них баловнем. Будучи бабушкиным воспитанником, для всех трех ее сыновей был чем-то вроде не-поделенного наследства. Особенно баловал меня старший, дядя Жактай, тот, что жил в райцентре. Бабушка любила рассказывать, что я в раннем детстве был первым другом дядиноного вороного коня. Привыкнув болтаться с дядями в седле, я постоянно караулил их коней, чтобы на них не уехали без меня. Вороной Жактая-ага был очень злым, неуживчивым конем, не подпускавшим к себе никого, кроме хозяина. Однажды вечером, когда Вороной, спасаясь от комаров, подбежал к юрте и стал с подветренной стороны костра, я (которому не было еще трех) спокойно подошел к коню, оказался между передними ногами и обнял одну из них. Бабушка застыла в испуге, а я продолжал обнимать то одну, то другую ногу. А дальше было еще хуже, я от передних ног перешел к задним и стал между ними. Но конь в это время спокойно, медленно и осторожно тронулся, а я хватался за заднюю ногу, за хвост коня, не желая отстать, и упал, подняв неистовый рев. Конь ушел, а бабушка еле пришла в себя. Эта история стала одной из любимых тем бабушки, а Вороной из постылого в нашей семье превратился в любимца, несмотря на то, что он продолжал оставаться таким же злым животным, как и прежде. Словом, и бабушка, и братья отца в детстве рабски исполняли мои капризы, и я, видимо, так злоупотреблял этим, что отец иногда ворчал на них, высказывая свое недовольство. Теперь же я был не настолько неразумным, чтобы продолжать эти злоупотребления, но хорошо знал, что если им, бабушке и дядям, разъяснить значение учебы для моего будущего, они поймут и благословят. И на самом деле было так. Я, шутя, говорил им, что, как выучусь, буду таким большим начальником, что никто из них не будет работать, так как у них будет все, и каждый из них, порознь или вместе, будет сидеть, опустив свои руки в чашу с маслом. Присловье «держат руки в чаше с маслом» в народе означало жить в предельном достатке.

Более трудным человеком был Алжиган-ата. Он вообще считал, что городское образование — это безвозвратная потеря людей из аула, что городская жизнь, да и вообще жизнь вне аула ведет к очерствению сердца и души, к утрате родственных чувств и что того, кто

уезжает из аула учиться или жить в городе, надо сразу вычеркнуть из списка нашего благородного и дружного рода. Он был уверен, что наш Алкадаш благороден по происхождению и исключительно дружен испокон веков. Я в этом сомневался, потому что знал массу примеров, свидетельствовавших, что это не совсем верно. Наш род несколько не благородней и не дружней, чем все казахские аулы и роды, которые к тому времени были мне известны. Но я это не смел высказывать старику, боясь раздражить его и прослыть перед ним безродным прощелыгой, не знающим «намыс», то есть способности беречь честь своего рода. Прослышав, что я собираюсь уезжать учиться, он был страшно недоволен мной. Он не был скуп на злые слова и обозвал меня оболтусом, не уродившимся в отца своего. Он сказал далее, что того и жди, что он уедет, женится на русской и будет креститься; говоря это, он делал ударение на «креститься», это означало, что последнее он считает большим проступком, чем женитьбу на русской; при этом он исходил из странной логики, которая принадлежала единственно ему, Алжигану-ата. Он знал, что молодежь не верит ни в аллаха, ни в бога, и все же считал, что ни один человек не может жить без аллаха или бога в сердце, стало быть, любой неверующий все равно в душе, про себя мысленно простирает в молитве ладони, если он казах, или совершает крестное знамение, если он русский. Эту мысль он утверждал так громогласно и с такой запальчивостью, что возражать ему было невозможно, да никто и не осмелился бы, по крайней мере, в нашем ауле. Ему уже, как и моей бабушке, было где-то за восемьдесят; и считалось, что аруахи, духи предков всего нашего рода, сосредоточены в этом маленьком сгорбленном старичке, из-под нависших седых бровей которого не по возрасту молодо и беспокойно сверляще смотрели маленькие глазки. В жилистых, длинных и больших пальцах правой руки он всегда крепко держал сучковатую палку, которой пользовался не столько, чтобы опираться при движении, сколько для пристукивания об землю, чтобы усилить назидательность своих речей. Несмотря на возраст, у него сохранились все зубы в виде желтых, сточенных временем обрубков, еле выступавших из десен. Усы и бородка, свисая и дрожа редкими, белыми, тонкими ниточками на маленьком сморщенном лице, производили комическое впечатление, когда он начинал го-

ворить неожиданно звонким голосом, резко обрубая слова и фразы. Тем не менее никто в ауле не смел ни к действиям, ни к словам Алжигана-ата отнестись несерьезно, потому что он был живым аруахом, живым духом нашего рода. Удивительно противоречивым существом был этот живой аруах. В нашем быту сквернословие не было принято, а Алжиган-ата бранился постоянно и с таким искусством, что об этом рассказывали чуть ли не легенды в соседних аулах. У нас же над этим лишь посмеивались, и никто не считал нужным высказывать хотя бы слово осуждения. Даже мой отец, с отвращением относившийся к нецензурным словам, только улыбался, слушая, как старик ввертывает в свою речь непотребные выражения. Рассказывали, что в молодости Алжиган был совершенно спокойным. Подружившись с русскими парнями из соседнего села, неделями пропадал у них, играл в карты и, что позорнее всего, пил самогон. Этого ему не могли простить; непутевый был изгнан из аула, шатался неизвестно где до тех пор, пока родичи не всполошились (какой бы ни был, все же своя, родная кровь) и не поехали искать. Нашли его у дальних родственников по женской линии под Кустанаем, где он завел дружбу с самим Амангельды,¹ а потом хвастался, что он, Алжиган, научил юного батыра приемам джигитовки на резвом коне. Остепенился он лишь годам к сорока, когда его чуть ли не насильно женили. Правда, семьянином стал хорошим. В гражданскую войну первым в нашем ауле понял, что красные несут справедливость, хотя, будучи неграмотным, он не имел ни малейшего понятия о классовой природе тогдашних событий в ауле, но чутье подсказывало, что, например, алчный Самет, богатея за счет родичей, как червь, разъедает дружбу, сплоченность и взаимную выручку внутри нашего рода. Он видел, что в каждом казахском роду есть такие, как Самет. Поэтому он первым в годы конфискации подписал приговор выслать Самета с семьей туда, как говорили тогда в ауле, где на собаках ездят, хотя аульный бай приходился ему двоюродным братом. А после очень беспокоился о детях Самета, которые, по его понятиям, напрасно пострадали из-за алчного отца, и даже ездил за ними, чтобы вернуть, но

¹ Предводитель восстания казахов против царского самодержавия в 1916 году, впоследствии погиб от рук националистов.

те отказались. Оказалось, что они еще пылали прежней враждой; и Алжиган, рассказывая об этом только моему отцу, которого очень любил, ругал себя за наивность. С тех пор он ни разу не вспоминал ни о самом Самете, ни о его семье, будто забыл их. Алжиган-ата был одним из активнейших организаторов коллективного хозяйства, потому что находил, что именно наш народ, живя испокон веков родами, всегда мечтал об общем и справедливом владении хозяйством, скотом, имуществом, и то, что при царе плохим, алчным, бессердечным людям давали возможность богатеть, разлагало, портило всех людей. Поэтому он, несмотря на свой преклонный возраст, постоянно заботился о процветании родного колхоза, чествуя и ругая нерадивых из нашего рода. Один парторг колхоза даже шутил, что напрасно Алжигану-ата не начисляют трудодни, ибо ни один бригадир или другой руководитель не делает столько для колхоза, сколько этот старик. Алжиган-ата считал, что каждый, рожденный на исконной земле предков, должен здесь и оставаться, посвятить свою жизнь процветанию своего колхоза и своего рода. Но при этом он никогда не проявлял что-либо подобное нетерпимости, пренебрежения к другим родам, племенам и народам. Он просто полагал, что каждый должен хорошо заботиться о себе не во вред другому. Тогда будет хорошо. Он любил рассказывать об одном русском по имени Мекайло (наверное, Михайло), проживавшем до революции в нашем зимовье, выкладывая в казахских землянках нехитрые печурки. Был он добрым, веселым, хорошо говорил по-казахски, и его никто не считал чужим. Тогдашний аксакал нашего рода однажды сказал ему: «Мекайла! Почему ты не казах? Ты — такой хороший человек, мне жалко, что ты русский! Я не хочу, чтобы ты был русским!» Мекайла ему ответил: «Аксакал, ты — умный человек, и ты не должен желать, чтобы все хорошие, добрые русские стали казахами. Тогда у русских останутся только злые люди, и будет нехорошо, русские и казахи не будут жить мирно, будет на земле плохо. Пусть лучше и у казахов, и у русских будет одинаково много хороших людей. И я тоже лучше останусь, как и был, русским, раз я, как ты говоришь, добрый человек». По словам Алжигана-ата, мудрость этих слов так поразила нашего аксакала, что Мекайла остался на всю жизнь самым почитаемым им человеком. Сам же Алжиган-ата расска-

звал эту быль (Мекайлу он знал лично) в назидание нам, младшим, чтобы мы не отзывались все небрежно и плохо о других, были дружны с разными людьми. При этом любил подчеркнуть, что для того, чтобы умно, красиво и интересно жить, казах должен оставаться казахом, а русский — русским. «Этого требует наша власть. Это тебе не белый царь, при котором детей в аулах пугали русскими. И я счастлив, что дожил до такой справедливой власти!» — кричал он, шумя и неистово стуча своей палкой, будто спорил со свирепым противником, хотя никто ему и не собирался возражать. Он, наш Алжиган-ата, был очень набожным человеком, не пропускал пять положенных в день намазов, но набожность у него была своеобразной. Например, если молится один, заканчивал свой намаз так быстро, что молчаливая старуха его, Патсам-аже, старалась совершать намазы отдельно от него, потому что считала, что Алжиган-ата, торопясь, недочитывает положенные молитвы и намазы его остаются «каза», т. е. не принимаются в небесах. Предполагалось, что совершающий намаз, весь отдавшись всевышнему и его пророку, как бы отрекается на время молитвы от всех суетных земных дел. Не таков был Алжиган-ата: он запросто прерывал молитву, отзываясь на любую будничную мелочь, а затем, как ни в чем не бывало, продолжал намаз дальше. И даже успевал при этом выбросить непотребное словечко. Непонятно было, как терпел Алжиган-ата в тех случаях, когда старики совершали групповой намаз, который исполнялся, как правило, и чинно, и длительно.

Когда я был еще мальчиком, мне казалось, что Алжиган-ата должен знать чуть ли не весь мир, так много рассказывалось в нашем ауле о его приключениях, о его былой силе, ловкости и бесстрашии. Взрослея, я с удивлением узнавал, что это не так. Теперь же знаю, что в каждом ауле в те времена были мудрые и добрые старички, подобные нашему Алжигану-ата, возможно, с меньшими или большими причудами и своеобразием в характере. Можно, наверное, отнести к одному из последних жизненных приключений аксакала то, как он вдруг за несколько лет до смерти стал муллой и без него не проходило ни одно поминание, где надо было справлять молитвенные ритуалы. Никому не было ведомо, учился ли Алжиган-ата когда-либо корану, сидел ли в детстве перед

муллой, но знали, что он довольно сносно нараспев читает некоторые известные суры (главы) корана. Алжиган-ата с его суетливостью и резкостью, с неположенным для служителя пророка насваем (молотым табаком) за губой, с его склонностью к сквернословию никак не подходил к должности муллы. Тем не менее, он считался муллой, ему за чтение молитв дарили баранов, деньги, халаты, которые у Алжигана-ата никак не накапливались, потому что он потихоньку помогал нуждающимся солдатским семьям аула. Иногда думаю, почему совершенно малограмотный и даже несколько сомнительный мусульманин, Алжиган-ата вдруг стал популярным муллой, и прихожу к выводу, что, наверное, оттого, что тогдашние верующие старики и старухи бескорыстного, доброго чудака предпочитали некоторым промышлявшим на книге пророка чопорным, алчным, ханжески лицемерным религиозным грамотеям.

Из карьеры Алжигана-ата (он умер, когда я учился на третьем курсе института) как муллы сохранилась быль, которая характерна только для нашего любимого аксакала. Умер Ахмет из соседнего аула, ровесник Агжигана-ата, человек уважаемый, занимавший приблизительно такое же положение в родном ауле, как наш аксакал в своем. Хоронили Ахмета с возможными почестями на родовом кладбище. У свежей могилы Алжиган-ата сел читать ту длинную молитву из корана, которую положено читать мулле после захоронения усопшего. Все сели, ибо стоять при чтении молитвы не полагалось. Читал Алжиган-ата звонко, хорошо, но вдруг где-то в середине кашлянул, сбился, сделал нетерпеливую паузу и снова начал. Во второй раз опять кашлянул, опять сбился, не смог вспомнить, пришлось снова возвращаться к началу. Когда же сбился в третий раз, старик, спокойно оглядев сидящую в молитвенной серьезности паству, сказал: «Черт с ним, Ахмету и этого достаточно» — и развернул ладони перед собой, показывая, чтобы все перешли на ту часть молитвы, которая читается шепотом про себя и которой заканчивается молитвенный ритуал. Я здесь, друг мой, несколько смягчил слова муллы, он произнес «не черт с ним», а что-то более непотребное и чуть ли не по-русски. Дядя рассказывал мне, что сидящие у свежей могилы не знали, что делать: смеяться (что было бы нехорошо) или развернуть ладони и читать молитву (что было

невозможно, так как всех разбирал смех). А мулла, как ни в чем не бывало, спокойно и серьезно завершил свое чтение, не сдвигая взор с ладоней, раскрытых перед челом. Позже, вспоминая этот диковинный случай, люди нашего аула толковали его в том смысле, что Алжиган-ата и Ахмет-аксакал были ровесники и обменивались между собой такими едкими шутками, что происшедшее на кладбище можно отнести к продолжению этих шуток. Вероятнее же всего, старик забыл слова молитвы и завершил чтение сообразно своему характеру. Таким муллой был наш незабвенный Алжиган-ата.

Мать моя имела привычку, в особенности после того, как Алжиган-ата стал числиться муллой, приглашать его к нам вместе с бабушкой и другими стариками и старухами из аула на поминальный чай, чтобы прочитать молитвы по отцу. Я был расчетлив и знал, что это ложилось бременем на семейный паек, но мать эти угощения считала обязательными и перечить ей в этом было невозможно. В раннюю весну победного года ко времени и к великой радости семьи отелилась наша корова, и это был удачный момент для подобного приглашения — молозиво считалось большим деликатесом. На этот раз к нам пришли только Алжиган-ата и бабушка, чему я очень удивился. Бабушка, как я уже говорил, почти жила у нас, Алжиган-ата бывал редко и только по приглашению. Но когда приходил, сживал подолгу, и мне казалось, что старику удобно и уютно сидеть в нашей теплой избе, толстые, чуть ли не полуметровые стены которой были сложены, как и во всех избах аула, из дерна, а крыша аккуратно покрыта несколькими слоями того же дерна, вырезанного потоньше, попеременно с негниющей длинностеблистой сухой травой с поймы реки. Все было сделано с той основательностью, которая отличала отца. Наша изба имела еще одно привлекательное отличие. В том предвоенном году, когда я бросил учиться, сильно разлилась наша река, и отцу в это половодье очень повезло. Как-то прежал он по колхозным делам на пойму и обнаружил в чаще талов штук пятнадцать или двадцать железнодорожных шпал, принесенных рекой бог знает откуда. Мы привезли их домой, отец намеревался распилить их в лесопилке на доски. Этих досок, он считал, хватит не только на избу, в которой мы жили, но и на дома сыновей, когда они женятся. Однако лесопилка была

далеко, распилить не удалось, он их просто сверху чуть подстрогал и постелил дома на положенные поперечно вместо лаг длинные, ровные жерди. Получились низенькие нары в полутора шагах от двери; жить на этих нарах было намного удобнее, чем на смазанном глиной холодном полу.

Алжиган-ата вошел, положил правую ладонь на грудь и сказал:

— Ассалаумагалейкум!!

Отвечать было некому, так как я встретил его на улице, братьев тоже не было дома. Матери, сидевшей у печи и готовившей что-то горячее к чаю, отвечать громко не полагалось. На приветствие аксакала она лишь почтительно наклонила голову. Алжиган-ата скинул большие азиатские галоши, надеваемые на ичиги-масы, легко шагнул на нары и сел на сложенное вдвое толстое лоскутное одеяло, постеленное специально для него на самом почетном месте нашего дома, чуть левее маленького окошечка, расположенного против двери. Отрывисто, быстро спросив у матери о здоровье детей, ее самой, достал из кармана четки и стал нервно перебирать их, закрыв глаза и двигая губами; последнее означало, что он шептал слова корана. Когда, опираясь на посох и поддерживаемая мною, медленно вошла бабушка, старик, как будто того и ждал, так оживился, так озорно заблестели его глаза, четки с такой скоростью исчезли в его правом кулаке, что можно было подумать, будто до этого перебирал он их с неохотой, по чьему-то принуждению.

— Ты зачем, Мажит, эту развалину тащишь? — накинулся старик на меня. — Мы что, в доме Мукана не можем без нее за чаем посидеть? Ведь одно расстройство быть за одним дастарханом с такой слепой, беззубой, немощной старушкой. Жаль, что я тогда был мал, был бы постарше, ни за что не позволил бы ага жениться на ней! — Под «ага» аксакал имел в виду моего деда. Бабушка, услышав эти слова, постояла у двери, потом сделала привычный шаг влево, к печке, уперлась левой рукой об нее, и голова ее затряслась в беззвучном коротком смехе (бабушка любила смеяться), вздохнула, произнесла свое обычное «слава аллаху» и, тяжело, но уверенно шагнув на нары, села рядом с Алжиганом-ата, который продолжал: — Ты что, старушка, льнешь ко мне, места тебе не хватает... Поистине правду говорят: аллах хороших к себе забирает, плохих землю сорить оставляет...

Нет, чтобы жил ага, вместо него живешь ты... Я б с удовольствием на твоей могиле прочитал молитву...

Бабушка опять залилась смехом, закашляла, отдышалась и, успокоившись, отпарировала:

— Жинды-жан,¹ ты, видно, тоже не очень-то нужен аллаху... Соришь землю не меньше меня да еще с насваем и непотребными словами... Как узнала, что ты муллой¹ прозываться стал, почему, думаю, люди грех на душу берут, тебя муллой называя, ну какой ты правоверный, ну скажи честно... Ты меня давно на тот свет собираешься отправить, опять грех на душу берешь, обижаешь, бесовестный человек, внуков моих, видишь, как они меня чуть ли не на руках носят. Нужна им, значит. Недавно подумала было: не чужой Жинды-жан человек, раз он муллой стал, неудобно его бесноватым называть, собиралась было переименовать, но как тебя переименовать, если, кроме «бесноватый», ни одно слово не подходит, как ни назови, сползет с тебя это слово, как вода с крыльев утки.

Ты, друг наш, может быть, даже не хуже меня знаешь некоторые особенности нашего быта в прошлом. Молодая женщина, приходя в дом мужа, роднясь с людьми всего аула, как правило, считала неудобным называть мужчин рода по именам, а давала им свои прозвища, так, чтобы эти имена-прозвища звучали ласково к младшим, почтительно к старшим. Этим она выражала свое уважение к роду, членом которого она стала. Присваивая личные прозвища младшим, молодая женщина в меру своего остроумия старалась высмеять какие-либо черты в характере, в поведении родного человека. Бабушка была на пять лет старше Алжигана-ата, и, когда она приехала в наш аул насовсем, он был еще малышом. Бабушка, видно, сразу разгадала особенности характера мальчика, когда его назвала Жинды-жан — «бесноватая душа», включая в это прозвище и элемент ласки, потому что «Жинды-жан» звучало одновременно и ритмически нежно, как «бесноватый наш» или «бесноватый мой».

Я не передаю здесь, может быть, и десятой доли тех едких острот, которые высыпал, как из короба, Алжиган-ата и на которые с неменьшей находчивостью отвечала не спеша, обстоятельно бабушка. Теперь же, приезжая в родной аул, я не слышу этих острот между людьми

¹ Жинды-жан — бесноватая душа.

одного поколения, как это было раньше, острот язвительных, колких, порою грубоватых, острот, не вызывающих, тем не менее, ни злобного раздражения, ни неприличной перепалки и выслушиваемых с тактом и терпением, которым позавидовали бы ныне многие люди, называющие себя интеллигентными. Может статься, при пожилом профессоре, приехавшем из большого города, стесняются шутить, и все же думаю, что и в аулах переходят сейчас на изысканные комплименты. Это, конечно, очень хорошо, но все же жаль, что мы теряем много от постепенного исчезновения того соленого юмора, который веками процветал в нашем быту, не только скрашивая однообразие его, но и развивая в народе чувство юмора и умение выражать это смешное изумительно точными и емкими словами.

Вот так, пикируясь между собой, вспоминая дорогое прошлое и вздыхая о счастливом (счастье, по-видимому, заключалось в молодости) былом, старики с удовольствием насытились румяными, тающими во рту оладьями-куймак, испекать которые наша мать была мастерица, густым, свежим, пряным молозивом, наслаждаясь ароматным запахом и терпким вкусом фамильного чая из неприкосновенного запаса матери, неизвестного нам, детям, и хранимого ею для подобных случаев. После чая и чтения молитвы старики как будто ослабли: они прислонились к подложенным подушкам, как бы в полудреме перебирая четки, которые оба по привычке держали в руках. Мать сидела возле самовара и мыла посуду. Я собрался было уходить, но Алжиган-ата встрепенулся и, приподняв голову, сказал:

— Уай, долговязый щенок Мукана, куда бежишь, посиди со стариками. У меня к тебе разговор есть. Ты все время болтаешься, как жеребчик, отбившийся от косяка, вместо того, чтобы после занятий с детьми помогать колхозу и солдатским семьям, а теперь, говорят, по ночам при фитиле над книгами сидишь, вижу, глаза красные, дочитаешься, что ослепнешь...

К нарочито грубому обращению старика к ребятам и вообще к более молодым из аула мы привыкли, знали и то, что старик любит обобщать два-три замеченных им случая чуть ли не на все времена, ибо особой привычки болтаться без дела у меня не было. Меня больше всего поразил острый глаз старика, заметивший, очевидно, на улице (в избе, имевшей всего лишь два маленьких окна,

было темновато) красноту век, действительно связанную с тем, что я зимними ночами, сидя рядом с матерью, занимавшейся шитьем, готовился к экзаменам. Между тем Алжиган-ата продолжал:

— Слушай, ты что это задумал ехать куда-то учиться? Толку с тех, кто выезжал из нашего аула, никогда не получалось. Назови мне хоть кого-нибудь, кто бы в стороне делами своими прославил наш род? Значит, не суждено нашим быть на виду через книжные занятия. Все хвалят тебя, что ты способный на книги, ну и хорошо, учи аульных детей, да ладом, все будем благодарны. Нечего мотаться; мать, братьев, аул оставлять, ехать бог весть куда и тревожить аруах покойного Мукана.

Алжиган-ата замолчал, посмотрел на мою физиономию, почтительно уставившуюся на его маленькие, в аккуратных масах ноги, и откинулся на подушку, видимо, решив, что, раз парень молчит, значит, согласился и будет делать, как он сказал. Тем более, меня он не относил к числу строптивых.

— Ата! — вдруг заговорила моя мать. Это было неожиданно и для старика, и для нас всех, ибо мать никогда не позволяла себе такую фамильярность. — Ата, вы простите меня, я теперь старшая в этом доме и прошу вас выслушать меня. Я хочу признаться вам: в том, что задумал Мажит, виновата я. Мажиту надо учиться. Вы сказали, что из нашего аула никто вне аула особых успехов не имел. Это, может быть, так. Но сейчас времена другие. Помните, покойный ваш брат (она имела в виду моего отца) не раз говорил, что теперь хозяином жизни станет тот, кто будет больше учиться. Слава аллаху, нам жаловаться на судьбу грешно, все дети вашего брата дома. У вашего ровесника и свата Мухамеджана из соседнего аула из десяти сыновей вернулся с фронта один, да и тот калека. Мухамеджан, вы сами помните, сделал той и сказал собравшимся: «Слава аллаху, было у меня десять сыновей, я не бахвалился и не хвастался перед теми, у кого их было меньше. Вернулся один сын — не жалею и не плачу, потому что те девять сложили головы за Родину, и они живы для меня». Я думаю, что Мухамеджан многое отдал бы только за то, чтобы хоть один из девятерых был жив, где бы ни находился. Мажит мог остаться на полях сражений, и если аллах нашел нужным вернуть его, то пусть учится. Я прошу вас благословить

его. Если он не умен и нет в нем намыса, то от него проку и здесь, в ауле, не будет, если же в нем есть что-то ценное от родовой закваски, то, где бы ни был, он будет думою и сердцем нашим и вернется в аул.

Я заметил, как старик собрал в какой-то удивленно-недоумевающий комок морщинистое лицо и обратил его к моей матери с таким выражением, будто перед ним внезапно заговорил человек, всю жизнь пребывавший в безнадежной немоте. Это было понятно: настолько молчаливо-почтительна была келин (сноха) Умсун, что ни разу за свою долгую жизнь в ауле не позволила себе обратиться к Алжигану-ата непосредственно; в тех редких случаях, когда были необходимы советы или помощь со стороны аксакала, она передавала свои просьбы, как правило, через Патсаим-апа или бабушку. Я видел, как морщины на лице старика постепенно стали расходиться по местам и как уже с любопытством и вниманием он слушал мою маму. Уставившись в самовар и ни разу не обратив взор в сторону Алжигана-ата (этого требовали аульные правила почтительности), мать спокойно говорила, видимо, заранее заготовленную речь.

Мать сказала, вероятно, все, что хотела высказать. Она умолкла, еще немного посидела молча, потом поднялась и отнесла за печку самовар, свернутый дастархан и поднос с посудой. Старик же сидел, не меняя выражения лица и, казалось, продолжал слушать, хотя мать уже давно перестала говорить, заняв свое обычное место у печи и приводя в порядок запечное хозяйство дома. Наступила длинная пауза, которая была слишком непривычна для бесед с участием экспансивного, живого, быстрого на ответы Алжигана-ата.

Я вспоминаю, дорогой друг, сказанное тогда матерью и думаю, что передаю здесь лишь приблизительное и краткое содержание ее речи. Говорила она так умно и неповторимо красиво, что ныне я не берусь восстановить образный колорит того, что было сказано тогда этой неграмотной женщиной. И совсем не случайно Алжиган-ата так внимательно слушал ее, а потом долго молчал. Я знал, что старик уважает мою мать, ибо она была из тех снох, которые старели на его глазах, ни разу не переступив перед старшими установленные пороги приличия. И если она заговорила с ним впервые, то Алжиган-ата должен был понять, что ей уже пора было

заговорить, потому что она теперь не прежняя молодая келин, а пожилая вдова, глава семейства, человек, ставший по своему положению в ряд с видными мужчинами аула. Я полагаю, что в этот момент именно так и рассудил Алжиган-ата, ибо он умел быть объективным и справедливым, если этого требовала обстановка. А она в данном случае требовала этого: он уже догадался, что сегодняшний чай в доме покойного Мукана был специально задуман этими двумя женщинами, чтобы растолковать аксакалу целесообразность дальнейшей учебы их внука и сына, заранее зная, что аксакал к этому предприятию относится отрицательно. Аксакал понимал также, что само желание рассказать ему, посоветоваться с ним, спросить у него разрешения свидетельствует о высоком уважении, которое питают эти женщины, и он не мог не ценить, особенно в связи с тем, что давно уже чувствовал, как время постепенно движется к тому, когда многие дела (если не все) будут молчаливо решаться и без участия таких шумных и капризных стариков, как он. Он, Алжиган-ата, не мог терпеть, когда говорили глупости, начиная нетерпеливо ерзать на месте и резко прерывал: «Ты что чепуху мелешь? Хорош рот, да язык не тот!» — ввернув склад какое-нибудь непотребное слово. Сейчас же он был совсем другим, казалось, он задумывался над тем, как уговорить эту дорогую для его сердца родную келин оставить сына возле себя, как ей сказать о тех тяготах, которые ожидают ее, пожилую, с пятью оставшимися несмышленишками, как ей дать понять, что он, старик, знает, как легко разрушается благополучие и как тяжело и долго восстанавливается... Но он всего этого не мог сказать, ибо не в его правилах было жалеть и жалостью унижать близких.

Молчание становилось тягостным, и прервала его бабушка. Она медленно оттолкнулась от подушки, покашляла, выплюнула в находившуюся рядом консервную банку и, обратив свой незрячий взор в сторону Алжигана-ата, чуть ехидно улыбнулась: ей было смешно молчание шумного старика.

— Беу-у... Жинды-жан! Хорохоришься все, стариком стал хуже меня... Что замолчал, кол проглотил? Умсун дело говорит, надо отвечать... Отвечать спокойно, дельно. А то ты привык кричать, благо, в нашем роду уважают старших за седую бороду, а не за крик... Не то давно тебя выгнали бы из аула, потому что кричишь без толку...

Бабушка знала Жинды-жана. Она знала, что, когда он обдумывает и будет говорить обдуманное, его за слово не поймаешь. Лучше задеть его за живое, и тогда он и скажет то, что на самом деле на душе. Бабушка задела старика, задела не столько словами, сколько ехидной улыбкой. Он уже еле сдерживал себя, чтобы не сказать какое-либо из своих общеупотребительных слов, но слишком уважал мою мать и от этого мучился, подбирая выражения. Зато он накричал на бабушку, да так, будто срывал на ней зло, накопившееся в нем за целый месяц.

— Что вы, две бабы из дома Нурбая, взялись за меня? Я говорю и буду говорить, что никто из нашего рода ни почета, ни уважения на стороне не добивался и не достигал... И если этот твой внук не окажется болтуном и безмозглым дураком, а станет через книги хорошим человеком, если при этом у него не окаменеет сердце и он не сделается чужим для нас, пусть едет... Я не стану возражать и брать на старости лет грех на свою душу... Вот этого ты от меня, старая развалина, хотела добиться! Вам, женщинам, легко рассуждать! А знаете, сколько теперь, после войны, в ауле мужских дел будет? Кто будет приводить в приличие крыши домов этого рода? Вы, женщины, будете? Об этом ты думаешь, слепая старуха? — продолжал шуметь Алжиган-ата, на что бабушка, привыкшая к подобным наскокам старика, продолжала спокойно улыбаться.

— Слушай, Жинды-жан, ты что расшумелся, как ручей в половодье? Я же тебя просила говорить дельно, спокойно...

— Поговоришь с тобой спокойно... Ты мне всю жизнь шилом в пятку колешь...

Мать подала мне знак уходить и сама вышла вслед за мной. Два старика продолжали пререкаться. Мы знали, что они пошумят еще немного, потом успокоятся, вспомнят снова кое-что из былого, отдохнут и разойдутся по домам. Мать была довольна, теперь у Алжигана-ата не будет причины обижаться, что ему ничего не говорили, с ним не советовались. Теперь он будет от души молиться за благополучие всех шагов раба аллаха Мажита, сына Мукана, из рода Алдакаш. Мать этому придавала особое значение. Мать знала, что старик и так молится за всех людей своего рода, но одно дело просто молиться, другое молиться за того, кто был неизменно почителен и вни-

мателен к старику. Собственно, последнего, как мне казалось, тогда добивались бабушка и мать.

...Была уже вторая половина июля года Победы. Я собрался ехать учиться и обходил на прощание дома аула. Обходил, как положено человеку, собравшемуся в дальнюю дорогу: садился на минутку, откусывал или отпивал что-либо съестное и прощался. Зашел к Алжигану-ата. Он со своей старушкой и кучей внучатых племянников сидел за утренним чаем. К дастархану присел и я.

— Ну что, долговязый щенок, добился своего!.. Езжай, да не тяни за собой других. Умру я в твоё отсутствие — скажи за меня божье слово... Да будет в пути конь рысист под тобой, да поведут тебя аруахи предков за собой... Аминь!

Я поднялся и вышел. Я уже был за воротами, как слышу:

— Уай, щенок, вернись-ка! Во всех домах был? Никого не обходи, не положено.— Старик засеменил ко мне, что-то доставая из внутреннего кармана жилета. Подойдя вплотную и не глядя на меня, сунул руку в наружный карман моего пиджака и закричал:

— Иди, щенок! Что устался? — Его маленькая, сгорбленная фигурка быстро скрылась под навесом двора. Я посмотрел вслед, поширил в кармане и достал измятую, замусоленную сторублевку.

Вспоминаю, как видишь, дорогой друг, разных, дорогих моему сердцу хороших людей и с упоением болтаю о никчемных обыденных мелочах, связанных с отношением этих людей ко мне. Я знаю свою неизменную склонность к самоутешению и все же полагаю, что если жизнь и обстановка складывались таким благоприятным образом, что не было повода ни для испытания моего характера, ни для закалки моего упорства, то, во всяком случае, может быть, стоит рассказать о хороших людях, с которыми меня сводила судьба. Ведь как подсказывает опыт пожилого человека, само воспоминание о таких людях, пробуждая добрые чувства, облегчает жизнь и работу.

В то время встречались, конечно, и плохие люди. Я помню, например, учительницу, преподававшую нам в девятом классе. Малограмотность ее была настолько явной, что мы, комсомольцы, ходили жаловаться на нее в районо. Но эта сытая и самодовольная дама продолжала

мучить учеников до самого конца войны, потому что была супругой самого большого районного начальника. Помню председателя колхоза, который за пустяк выругал нецензурной бранью и побил моего брата, незлобивого и послушного паренька. Председатель этот живет в ауле и поныне, но, видимо, не забыл свое свинство и на приветствия мои отвечает, опустив глаза. Но я сейчас уверен, что эти соприкосновения с неприятными людьми играли весьма незначительную роль в моей жизни и не стоят того, чтобы о них вспоминать. Оказывается, желчь, кипевшая в свое время в оскорбленной душе, теряет со временем свою горечь, между тем как добрые воспоминания способны воскресать с новой силой, вызывая первозданно свежие радостные эмоции.

Письмо третье

Дорогой друг!

Я не знал, что может быть так дорого человеку прошлое. До сих пор мне казалось, что прошлое может быть дорого при безотрадном настоящем. Так воспитывали нас, по крайней мере, сказки и предания, выдумывавшиеся народом для самоутешения. Я, как ты знаешь, не могу пожаловаться на свое настоящее. Жизнь прекрасна и удивительна. И, тем не менее, затеяв благодаря твоей настойчивости ворошить прошлое, я все больше убеждаюсь, что прожитое встает перед глазами в таких волнующих подробностях, что начинаешь стыдиться безрасчетного желания рассказывать о них, отставив важные, безотлагательные сегодняшние дела.

Был у меня в студенческие годы друг, страстно любивший Маяковского. От общения с этим другом у меня в памяти сохранилось четверостишие, запомнившееся, по-видимому, не столько из-за смысла (я смыслу тогда не придавал значения), сколько из-за звучности:

Я же думал,
Песни делаются так:
Пришел поэт, легко разжал уста,
И сразу запел вдохновенный протак:
Пожалуйста!

Я вынужден сознаться, что примерно такое же представление было у меня о письмах, которые я тебе пишу. Теперь, после первых шагов в этом деле, я чувствую, как был наивен, взявшись за него, ведь я полагал, что стоит вспомнить что-то связанное с моим обучением и становлением как научного работника, с моими учеными изысканиями, как станет писаться легко и просто. Но одно дело, когда воспоминания приходят и уходят, вызвав

мимолетное умиление или горечь, на миг высветив на лице былую радость или чуть взбредив в душе далекую боль, и совсем другое дело, когда эти воспоминания надобно переносить на бумагу. Тут необходимо, как я теперь начал постигать, особое приноровление, особое искусство тормозить в голове прохождение картин прошлого, как это делается в замедленной съемке, мало того, необходимо останавливать тот или иной кадр, чтобы списать его, сделать, так сказать, натурную съемку с возможной рельефностью, резкостью в деталях. Вот видишь, я даже заговорил языком киношника. Легко сказать — затормозить, задержать кадр. Насколько я понял, это не дается даром: в душе поднимается что-то такое, что до сих пор было малознакомо для меня. Я знаю, как при резком торможении сильно нагреваются трущиеся части механизма. Аналогия, конечно, грубая, но нечто подобное имеет место теперь и во мне. Воображением уношусь в былое и невольно начинаю жить прошлым: воспоминания бередают далекую боль уже не чуть-чуть и не слегка, радость и умиление теперь не обозначаются лишь мимолетней улыбкой, а происходит что-то более глубокое и волнующее. Кажется, прожита самая обычная жизнь самым обычным человеком, жизнь, не украшенная ни взлетами, ни падениями, ни заметным влиянием на какие-либо сдвиги в окружающем обществе, и тем не менее перед мысленным взором громоздятся люди, события, смешивается их последовательность. Попробуй при этих условиях отобрать «кадры» таким образом, чтобы не сместить каждый из них с истинного его положения в цепи описываемого и, главное, сохранить действительное соотношение между ними по значимости. Пойми меня, пожалуйста, правильно: я далек от мальчишеской дерзости и претензии осмыслить и обработать факты прошедшего по-писательски; того непрехотливого беспорядка, о котором я писал, мне не избежать, но я не могу в то же время допустить, чтобы тот или иной жизненный факт в моих описаниях или несоразмерно выпирал, или излишне тушевался по сравнению с тем, какое он имел влияние на мою судьбу. И это, как теперь я убедился, дается очень нелегко. Без невольных смещений, по-видимому, не обойтись. И мне, признаться, немного не по себе от этого. Я ведь, что ни говори, научный работник, почти всю сознательную жизнь гоняющийся за тем, чтобы не допустить отклонений от истины.

И все это, мой дорогой писатель, пишу к тому, что я вот сейчас вспоминаю, как после окончания института остался в аспирантуре и, восстанавливая в памяти во всех возможных подробностях этот отрезок былого, я не могу точно определить, кто какую роль сыграл в этот решающий момент, определивший мое будущее. Позже, когда у меня обозначились кое-какие начальные успехи в научной работе, нашлось несколько товарищей, которые скромно напоминали, что именно они впервые заметили мои способности и чуть ли не по их настоянию я остался на научной работе. Я благодарил их, хотя знал, что ничего подобного на самом деле не было. Вся сложность заключается в том, что делающий по-настоящему хорошее чаще всего молчит об этом, точно как в мудром анекдоте, связанном с именем Бернарда Шоу. «Какого вы мнения о браке? — спросили великого драматурга. «Никакого, — отвечивал он, — ибо кто не вступил в брак, тот ничего не знает, а кто вступил — тот молчит навеки».

Вспоминаю, что при поступлении в аспирантуру моя роль была более чем пассивной. Я не очень хотел стать аспирантом, наоборот, у меня было желание ехать на производство, желание заработать, ибо мне надоела нужда и я жил мечтой помочь матери и братьям. И поэтому, когда вели со мной предварительные, как теперь говорят, переговоры в деканате, в партбюро и сказали, что хотят мою кандидатуру рекомендовать в аспирантуру, я все это напрямик высказал. Лишь сейчас могу оценить, как тогда были внимательны ко мне, просили не торопиться с решением, обдумать, обмозговать. Именно в это время приехал в командировку один мой приятель, преуспевающий в нашем областном городе, и повел меня в ресторан. И за столом, предвкушая обильно заказанное, я рассказал приятелю, что меня хотят оставить в аспирантуре, рассказал с некоторой гордостью, ибо мне было трудно скрыть, как приятно щекотало мое самолюбие, что мной занимаются, меня отличают от других. При этом я обстоятельно объяснил приятелю, не знавшему смысла слова «аспирант», что это означает, что я буду продолжать учиться и дальше. Приятель засмеялся.

— Наука совсем выбила житейский разум из твоей головы, Мажит! Сидишь, как Кашей Бессмертный, кожа да кости, да еще и дальше хочешь корпеть над книгами... Представляю твою трясущуюся, длинную, как жердь,

фигуру в очках, с тросточкой в одной руке, с толстым портфелем в другой; фигуру, умерщвленную книгами... Жить-то когда будешь?

Я посмотрел на сытую, лоснящуюся, самодовольную физиономию друга, на его модный в то время полувойенный костюм, завидно облегающий его полнеющее тело с уже обозначившимся животом, и мне стало не по себе от глупой гордыни, которая обуяла меня в связи с предложением остаться в аспирантуре. Разгоряченный водкой и сытной закуской, я сам начал смеяться вместе с приятелем над собой, так как мне показались странно неразумными вообще какие-либо думы о дальнейшем проживании на стипендию.

И все же я остался в аспирантуре. Можно было полагать, что на мое рвение повлияла Ваша женгей,¹ с которой мы только что сошлись. Она училась на курсе ниже, и мне, естественно, не хотелось расстаться с ней надолго. Но это не могло играть большой роли, потому что, во-первых, она сама очень жалела мою мать и очень хотела, чтобы я скорее получил нормальную зарплату, во-вторых, год был не такой уж большой срок, и почти половину этого времени она могла проводить на преддипломной практике со мной на том предприятии, где я буду работать, ибо мы учились по одной специальности. Мы даже так и договорились, обсуждая нашу дальнейшую жизнь. Но тут произошел случай, который, как мне казалось тогда, решил мое будущее.

Мы, выпускники, имели обыкновение после защиты проекта собираться группами в комнатах общежития, чтобы «обмыть» защитившегося. Особенно не дремали по этому поводу защитившиеся ранее других, ибо им не оставалось заниматься ничем, кроме «обмывания». Помню, в тот день защитился Толя Сучков, парень во всех отношениях «свойский» и простой. Когда мы после защиты зашли к нему в комнату, там уже сидел проживавший вместе с Анатолием Ромка Вансовский. Втроем мы «раздавили» положенную поллитровку, закусили чем бог послал и разговорились о том, что занимало тогда всех нас: кому куда предстоит ехать. Меня потянуло на откровенность, и я подробно рассказал о своих желаниях и сомнениях, о том, что так называемая аспирантура (пре-

¹ Т. е. в данном случае жена автора.

небрежительный тон по отношению к аспирантуре, которого я держался тогда, точно помню) мне не улыбается. Лобастый, белобрысый, толстогубый Сучков, сидевший против меня, обнажив в улыбке верхние рыхлые десны, выступавшие над короткими зубами (на эти десны я почему-то постоянно обращал внимание), вдруг засверкал на меня своими большими серыми глазами и сказал:

— Такого дурака, как ты, Мажит, я не видел. Тебя оставляют в аспирантуре, хотят обучить на большие дела... В Академии наук республики, в вузах не хватает научных кадров, особенно национальных, и ты, нахал, еще артачишься! Ты не понимаешь, какая это честь. Правда, ты не лучше многих других учился, но это еще можно понять, ты на голой стипендии перебивался. Ты это должен, если окончательно не зазнался, ценить. Слушай, ты не знаешь, что в естественных и технических науках вас, магометан, раз-два и обчелся.— Толя казахов называл магометанами, а русских — христианами.— Нас пятьдесят в выпуске, среди них вас, нехристей, только два. Это же позор. Значит, ты должен явиться примером. Это, если хочешь знать, даже твой долг, дружок!

Я, признаться, не ожидал от Толи Сучкова такой внушительной тирады. Я никак не полагал, что так умно и далеко смотрит на вещи наш простоватый рубаха-парень Толя. Говорил он искренне, от души.

Спокойный, интеллигентный, красивый Ромка поправил очки на своем тонком греческом носу и поддержал Сучкова:

— А что, Мажит, я думаю, Толя прав. Тебе особо чваниться не нужно, надо соглашаться. Потом захочешь к этому делу вернуться, будет поздно. Твои меркантильные интересы — это глупость. Учти, что теперь государство ни о ком так не заботится, как об ученых.

— Слушай, вы что, кафиры жестокие, нарочно затащили несчастного сына степей, чтобы трясти и учить уму-разуму? Вы что с двух сторон взялись за меня! — пробовал было я отшутиться, но Толя на это сказал:

— Разговор затеял ты сам. Но если ты дурак, то почему бы нам об этом тебе не сказать...

Этот разговор с друзьями я запомнил навсегда. Теперь Анатолий Федорович Сучков, кандидат наук, заместитель директора большого научно-исследовательского института, а Ромка уже не Рома, а Роман Иванович Вансовский,

один из ведущих руководителей крупного химико-металлургического предприятия.

Пишу, дорогой друг, это все и думаю, каким я был легкомысленным молодым человеком в свои немалые двадцать семь лет. Мне становится совестно за себя, хотя предвижу, что мне придется стыдиться еще не раз. На самом деле, что было бы, не будь у меня этого последнего разговора с Толей и Ромкой? Если бы остался на уровне ресторанного смеха над моим научным будущим с приятелем-земляком? Со мной провели бы хорошую беседу, меня бы, возможно, убедили, а может быть, махнули бы рукой, видя, как я чванюсь, чуть ли не набавляя себе цену, когда речь идет о серьезном и принципиальном. Могло быть и так... И тогда моя судьба сложилась бы наверняка не такой удачной, ибо я все же по характеру не мог бы быть строгим и последовательным в своих решениях производственным-организатором, который должен обладать, как мне представляется, едва ли не полководческой твердостью, решительностью и маневренностью в своих действиях. Однако, думаю, будет не очень справедливо, если все в решении моей судьбы отнести к этой случайной обработке неразумного парня разумными друзьями. Ситуация внешне сложилась таким образом, что я, действительно, выглядел легкомысленным. И все же хочу сказать кое-что в свое оправдание. Ведь соображения, аргументы и контраргументы лежали как бы на чашах чувствительных весов, стоило на одну из чаш бросить маленькую дополнительную гирьку новых соображений, как она перевешивала. В данном случае перевесило решение остаться в аспирантуре благодаря случайному разговору с приятелями. Между тем, как я уже писал выше, с самого поступления в институт я думал о том дне (мне постоянно тот день снился), когда я стану инженером, поеду работать, получу квартиру, заберу к себе мать и братьев, создам им условия для нормальной жизни. С этой мечтой я учился и жил все время. И, конечно, необходимы были какие-то посторонние усилия, чтобы что-то противопоставить этой мечте, чтобы заронить в мою душу семя контрмечты. И только после того, как оно основательно проросло в душе моей, я мог согласиться с моими друзьями, когда они с подкупающей прямолинейностью громили меня за неблагоразумие. И здесь я должен рассказать о человеке, который сыграл в моей

жизни такую роль, что я не берусь оценить. Он впервые дал мне понять, что кроме производственной, инженерной работы есть еще научная работа и что научным трудом могут заниматься и такие молодые люди, каковым в то время являлся я.

Увидел я его впервые на собрании, посвященном нашему зачислению в институт. Выступали директор (по-нынешнему — ректор) института и видные профессора других факультетов. Мы довольно долго ждали представителя нашего факультета. Когда, наконец, объявили, что представляется слово профессору, доктору, заведующему кафедрой Пенеру Владимиру Фридриховичу, от стола президиума отделился небольшой кургузенький человек. Это был светлый блондин с небольшими серыми глазами. Теперь он не казался таким маленьким, как до этого, и лицо его выглядело более крупным и массивным. Начиная говорить, он коснулся ладонью правой руки аккуратно зачесанного светлого пушка волос, сохранившегося еле заметным островком на широкой лысине и увеличивающего и без того большой лоб. Пальцы руки при этом изящно выгнулись наружу, на безымянном заблестело массивное золотое кольцо. Я, может быть, не обратил бы внимания на эти длинные, красивые пальцы, если бы не кольцо, которое я видел на пальце мужчины впервые. Профессор причмокнул нижней, чуть свисающей толстой губой и скучным, будничным, скрипучим голосом начал рассказывать о сути той специальности, которую мы избрали. Признаться, нам просто обидно было слушать в этот торжественный для нас час такой скучный рассказ, гасивший хотя и не ясные, но все же романтические представления о нашей учебе и будущей работе. Мы позавидовали студентам смежных факультетов, профессора которых увлекательно и живо говорили о заманчивых перспективах студенческой жизни и инженерного труда. Особо очаровал нас профессор Каретников, который со своим звонким голосом, с привлекательными модуляциями, эффектными жестами и патетическими восклицаниями показался мне только что перешедшим на скромную кафедру перед студентами-новобранцами с трибуны Парижского конвента или английского парламента, знакомых мне по Виктору Гюго. Помню, как этот профессор щедро сыпал на нас такие ошеломляюще красивые словосочетания, как «аксессуары студенческого бытия», «ко-

лумбы познания», «девятый вал творчества» и другие. Эти пышные осколки фраз, даже не будучи до конца понятыми, привели нас в такой восторг, что слушать после этого буднично скрипящего Пенера мы были не в силах.

Так был я разочарован, когда впервые увидел Владимира Фридриховича. Это был один из ярких примеров того, как может быть обманчиво первое впечатление. Два десятка лет я так или иначе соприкасался по работе с профессором Каретниковым и не мог слушать без грусти, переходящей порой даже в отвращение, его избитые эпитеты, приевшиеся обороты; сам же профессор, наверное, был уверен в своем красноречии. Владимир Фридрихович Пенер был человеком совершенно другого склада; он принадлежал к тому типу людей, которые завоевывают расположение постепенно, незаметно, но зато твердо и устойчиво. Но об этом я расскажу ниже.

Владимир Фридрихович руководил так называемой выпускающей кафедрой, в которую студент приходил уже на старших курсах и оформлялся там как специалист. Поэтому почти до окончания третьего курса профессора Пенера приходилось видеть только издали. Мне, как и каждому студенту, поглощенному заботой об очередных зачетах и экзаменах, беготней по общественным делам, иногда забывающему все из-за ворвавшегося в жизнь мимолетного увлечения, мало приходилось думать о предметах будущей специализации. Правда, мы уже знали, что на факультете имеются три выпускающие кафедры, на одной из которых мы должны получить воспитание как специалисты. И когда к окончанию курса мне сказали, что я буду специализироваться на кафедре профессора Пенера, на меня эта весть особого впечатления не произвела, хотя, встречаясь по комсомольским делам со студентами старших курсов, я был уже наслышан о том уважении, которое питают на факультете к профессору Пенеру, и у меня понемногу стиралось то невыгодное впечатление, которое я получил от его первого выступления перед нами.

Мне сказали, что вызывает к себе профессор Пенер. Оказалось, что вызывал он не меня одного, а нескольких студентов из тех, кто попал при распределении на его кафедру. Мы, естественно, волновались, потому что в какой-то степени решалась судьба каждого как специалиста. Когда я вошел в кабинет, профессор сидел, что-то просматривая.

— Здравствуйте, Мажит Муканович,— сказал профессор и поднялся навстречу из-за своего стола, занимавшего чуть ли не половину маленького кабинета. Он протянул руку, которую я сжал было, собираясь по привычке еще и тряхнуть, но, ощутив по-женски мягкую ладонь и тонкие пальцы в своей грубой лапе, растерялся, поняв, что усилия Собакевича, применяемые нами, здоровыми студентами, при взаимных приветствиях, ни к чему, и резко разжал свою руку. Я думаю, что в этот момент сильно покраснел. Но профессор сделал вид, что этого не заметил.— Садитесь, пожалуйста,— продолжал он, указывая мне стул напротив. Я посмотрел на него. Посмотрел потому, что было совершенно неожиданным впервые услышанное в стенах института обращение по имени и отчеству; неожиданным было и то, как профессор встал и подал руку. Думалось, что это какой-то розыгрыш, который может себе позволить пожилой человек, находясь на недостижимой для скромного студента ступени бытия. К тому же я был наслышан о чудачествах больших ученых и как-то даже заранее предполагал возможность чего-то неожиданного и необычного. Это была на самом деле для меня первая в жизни встреча с настоящим профессором. Читал нам лекции профессор-физик, вел занятия с нами профессор-химик, мы этим гордились, но они профессорами стали после того, как мы прошли через них, перед нами они выступали еще в качестве доцентов. А с профессором, доктором наук, с членом-корреспондентом Академии наук республики, с личностью, обремененной еще какими-то, прямо сказать, звездными званиями, я разговаривал впервые. Было отчего усомниться в подлинности той простоты, которая поднимала меня на уровень, позволяющий вот так, чуть ли не на равных разговаривать с человеком, на которого, как казалось мне тогда, я должен был смотреть только издалека, только снизу вверх. Но все, с чего началась эта встреча, призывало и располагало к волнующей простоте: я смотрел внимательно, и ни малейшей неестественности не обнаружил ни на лице, ни в его взгляде. Он спокойно, чуть сморщившись и зажмурив глаза, прикурил от пламени спички, затянулся и откинулся на спинку кресла. Серые глаза, обратившиеся ко мне из глубоких впадин, смотрели совсем нестрого, они, наверное, и не могли смотреть строго, потому что им в этом никак не помогли бы светлые брови, рассыпавшиеся настолько широко и редко, что никакая сердитость, ка-

залось, не в силах их сдвинуть в холодный, угрожающий сгусток. Правая рука его легла на стол, между изящно приподнятыми указательным и средним пальцами столь же изящно задымила длиннейшая папироса. При этом он не забыл осведомиться: «Не курите?» — по-видимому, намереваясь угостить меня из большой, красивой, непривычной для моего курящего окружения дорогой коробки «Казбек». Я, наконец, стал понимать, что это и есть та самая простота, которой отличаются, как я знал больше из литературы, чем из жизни, истинно-культурные, истинно образованные люди, и что мне, человеку, получающему высшее образование, нет особого резона удивляться. Между тем Владимир Фридрихович продолжал:

— Теперь вы пришли на кафедру, откуда, как говорят, выпорхнете специалистом. И нам надо сейчас поговорить, чем и как будем заниматься, вплоть до предварительного определения темы дипломного проекта. Впереди, правда, два года, но время летит, знаете, быстро.

И он стал расспрашивать меня, как я учился, какие у меня интересы и т. д. Говорил он чуть басовитым, грудным голосом, располагающим к откровенности. Стараясь уловить что-то подобное той скучной скрипучести в голосе, которой он разочаровал нас тогда, три года назад, я с удивлением находил, что это была глупая ошибка, что профессор подобным голосом не говорил и не мог говорить.

Мне показалось, что мне надо обязательно объяснить профессору, почему я так неровно учился, опускаясь иногда до безликой тройки. Я подумал, что у меня есть на то объективные причины, о которых следует рассказать профессору. При этом вовсе не приходило на ум показать себя как-то с лучшей стороны. Хотелось просто изложить все, как есть, ибо считал, что я на самом деле не совсем виновен в своей неровной учебе. Конечно, увлекался, много читал посторонних вещей, отдавался чувствам. Но все же кончил десятилетку экстерном, и пробелы в знаниях программы средней школы сказались при усвоении предметов первого курса. И самое главное — вовсе не предполагал поступить в технический вуз. Я подал свои документы на исторический факультет университета, быть историком — это была моя мечта еще с отрочества, мечта, навеянная Иваном Антоновичем. А то, что оказался в горнометаллургическом, было совершенной случайностью,

связанной с моей бесхарактерностью. Сдав документы и готовясь к вступительным экзаменам, решил на досуге посетить знакомого парня, который поступал в этот институт. Он-то и рассказал мне, что стипендия в институте выше чуть ли не в полтора раза, чем в университете, и что министерство, которому готовит кадры институт, помогает нуждающимся студентам дополнительным питанием. Я, не долго думая, забрал документы из университета и перенес в приемную комиссию института.

Дорогой друг, привожу здесь лишь краткое содержание того, что говорил тогда Владимиру Фридриховичу. Рассказывал, видимо, подробно и долго, судя по тому, что просидел более часа. Я и теперь не могу рассудить, почему так получилось, или в тот момент потерял чувство экономии времени, которое должно было бы, наоборот, обостриться при встрече со столь занятым человеком, или оно, это чувство, у меня по инерции, вынесенной из аульной жизни, было притуплено вообще, словом, совсем не думал, что растрачиваю время профессора своей ненужной болтовней. Между тем, он сидел и слушал, не проявляя ни тени нетерпения. Выслушав, задумчиво улыбнулся и сказал:

— Словом, продались за дополнительную ложку хлеба... Между прочим, в жизни было немало подобных примеров. Это не ново, молодой человек. В некие далекие времена что-то подобное случилось, например, и со мной. И когда я в этом признался своему учителю, знаменитому химику Павлу Павловичу Федотьеву, он мне сказал: «Призвания в жизни нет, но есть в ней цель и воля». Я долго думал, где же я читал или слышал эти стихи. Оказалось, что он просто перефразировал по-своему Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Этим он хотел внушить: надо поставить перед собой цель, напрячь волю, там и появится так называемое призвание. Я, Мажит Муканович, эти слова моего учителя привел к тому, что мне понравилась ваша самокритичность. Очень хорошо, когда человек чувствует свои недостатки, это залог того, что он будет их исправлять. К сожалению, мне часто приходится за этим столом разговаривать с молодыми людьми, которые на вопрос об успеваемости чуть ли не с гордостью отвечают: «нормально», а за этим «нормально» — зачетка, где тройки, и лишь кое-где проглядывают четверки.

Далее, продолжая говорить, он осведомился, пробовал ли я участвовать в научных кружках, думать в научном плане над какой-либо проблемой. Я напрямик ответил, что этого не было, потому что никто подобных заданий не давал. Это вызвало у него улыбку, которую я тогда не понял. Теперь же думаю, что он улыбался моему простодушному признанию, которое свидетельствовало о том, как растут люди, работающие только по заданию. В конце беседы он вынул из стола брошюрку и, назвав имя очень известного ученого, сказал, что книжка является частью докторской диссертации этого ученого и что в ней излагаются понятия, уже теперь входящие в учебники, и что он просит меня внимательно прочитать, не торопясь свести содержание в конспект, и что уже осенью, на четвертом курсе, состоится обсуждение, где выяснится возможность дальнейшей работы в плане того, какие мысли и соображения будут вызваны при чтении и конспектировании. Когда он поднялся, давая знать, что беседа окончена, я заметил, что профессор чуть горбат, а элегантная мешковатость его просторного костюма не столько скрывала этот недостаток, сколько превращала его в какую-то приятную особенность небольшой фигурки стареющего человека.

Когда я вышел от профессора Пенера, в маленьком коридорчике перед его кабинетом стояли мои товарищи, ожидавшие своей очереди. Я знал, что должен был войти Ваня Стальнов, но он так великодушно кивнул головой в сторону чернявой Оноприенко, что та, хотя и вскинула с удивлением свои густые брови, но все же прошла. Нина удивилась не случайно. Толстенный, пухленький Ваня Стальнов был страшно рассудительным парнем, он понимал, что для нас, студентов, эта первая встреча с нашим профессором много значит, и, обратив внимание на длительность нашей беседы и на мое сияющее лицо, он проявил необычное для него джентльменство, пропустив вместо себя Нину; остался, чтобы разузнать, как и о чем я беседовал с будущим шефом, ибо ему необходимо было все учесть для создания о себе благоприятного впечатления. Признаться, мне не хотелось говорить о волнующих подробностях беседы Ване Стальному, которому, как мы хорошо знали, были мало ведомы чисто человеческие, безрасчетные эмоции. Я торопился. Торопился донести эти волнующие подробности до кого-либо из хороших друзей,

до девушки, с которой завязывались у меня отношения, до людей, которые бы поняли мое душевное состояние. Я еле вырвался из цепких лап Стальнова, но все же не преминул показать ему книжку, назвав ее личным подарком профессора, хотя на самом деле Владимир Фридрихович просил беречь и вернуть ее. Маленькие заплывшие глазки Вани Стальнова засветились завистью, чего я и добивался. Уходя, добавил:

— Беседа была бы еще более продолжительной и теплой, если бы я курил. Он настолько деликатен, что обязательно предложит — не теряйся, не будь дураком, закури, во-первых такие дорогие папиросы ты не скоро будешь курить, во-вторых, курение расположит к тебе.

Дорогой друг, прости меня, что я вплеп этот эпизод, связанный с Ваней Стальновым, в свой рассказ. Он, в общем-то, мало что прибавляет к тому, что я хочу сказать, но я не мог его выкинуть, потому что мне теперь кажется, что не так запомнил бы детали этой встречи с профессором и не так оценил бы ее, если бы не пристал ко мне в этот момент со своими расчетливыми вопросами этот мой сокурсник.

На четвертом курсе кафедра профессора Пенера стала для нас уже своей. Мы здесь проводили довольно много времени, выполняя курсовые лабораторные работы. Большею частью эти работы проводились внизу, в просторном полуподвальном зале, откуда в коридорчик перед кабинетом профессора вела крутая деревянная лестница, по которой мы носились, потому что часто приходилось бегать вверх в другой лабораторный зал, справа от коридорчика, по различным лабораторным надобностям. Мы стали теперь часто встречаться с профессором, хотя обстоятельных бесед, как в первый раз, он с нами не проводил. Он посещал лабораторию, подходя к каждому из нас, расспрашивал о работе. Мы этих его визитов и ждали, и боялись, потому что надо было говорить что-то конкретное в ответ на его расспросы, а дела у многих из нас ладились не сразу. Тем не менее мы этими лабораторными работами гордились и занимались с увлечением, потому что они выполнялись не по шаблонной прописи, а по специальному плану, разработанному преподавателями кафедры для каждого в отдельности при нашем участии и утвержденному самим профессором. Казалось, что каждый из нас выполняет серьезное, чуть ли не самостоятельное исследование.

Я на четвертом курсе испытывал какой-то подъем, уверовал в себя. Вообще жить стало веселее. Приятно было, что наступает время достатка, что годы нужды уходят в воспоминание. Ты представляешь, друг, (у тебя тоже, наверное, такое было) мое состояние, если в то лето, побывав на практике, заработал столько этих рублей, что, приехав домой, вовсе не думал над тем, как и где раздобыть малую толику денег, чтобы выехать обратно. После работы на производстве успел накопить матери сена, навозить и нарубить дров. Этим я занимался и в предыдущие годы, но в этом году и хозяйствовать дома было легче, хотя бы потому, что мать уже не распределяла кусочки, выгадывая для своего студента-сына за счет других сыновей. Остались позади разговоры о семейной эпопее по ежегодному весеннему сбору колосков. Кроме того, четвертый курс — все же четвертый курс. Уже было почти рукою подать до заветного диплома инженера и работы с солидной зарплатой.

В один из тех дней, когда мы, вышучивая друг друга, принялись за работу в лаборатории, подошла моя очередь взбежать наверх в кабинет профессора. Дел там никаких не было, но зато среди нас был Нульман. Он имел привычку о каждом своем лабораторном опыте, о каждой ее ступени докладывать самому профессору. И был уверен, что профессору это интересно. Причем, как мы знали, он был далек от умыслов помянуть лишний раз перед глазами профессора, простодушно верил, что делает большое дело и ему необходимо быть страшно наблюдательным, дабы не упустить какое-либо важное новое явление. Открытия, как он знал, — плод исключительной наблюдательности. Он был шестым в нашей группе, и мы все пятеро довольно тонко поощряли эту наивную уверенность Нульмана, делая большие удивленные глаза, когда он начинал рассказывать что-то им замеченное. Получив нашу поддержку, он немедленно несясь прямо к профессору, а вслед за ним, в два-три прыжка одолев лестницу, оказывался кто-то из нас, ибо очень интересно было слушать, смотреть, как морщится деликатный Владимир Фридрихович, слушая наивные рассуждения Нульмана, и не решается сказать что-либо, способное разочаровать студента, уверовавшего в серьезность каждого своего шага в выполняемых им опытах.

Дверь была полуоткрыта, профессор стоял у стола один, что бывало очень редко, и обрадовавшийся Нульман

ворвался. Совершенно не обращая ни на что внимания, даже на дверь, которая как была, так и осталась полуоткрытой, наш друг стал рассказывать о «загадочных», «непонятных» явлениях, которые он «обнаружил» в ходе опыта. При этом большущий Нульман держал в своих огромных лапах лабораторную чашку и ковырял стеклянной палочкой, казавшейся соломинкой рядом с его толстыми пальцами, чуть не у самого носа профессора. Владимир Фридрихович выпрямился, опустил руки по швам и, морщась, стал оглядываться, пока не заметил меня. Это для него было спасением. Он сказал Нульману, что это очень интересное наблюдение и что это надо записать, и тут же обратился ко мне. Нульман хотел сказать еще что-то, но взор профессора был обращен в мою сторону, и настолько решительно, что наш друг не посмел продолжать свое и ушел. Владимир Фридрихович улыбнулся вслед Нульману, покачал головой и сказал:

— Мажит Муканович, вы не смогли бы зайти ко мне домой сегодня, например, часов в восемь?

Я молчал и мялся, не зная, что сказать. У нас в ауле, например, желание аксакалов воспринималось как приказание, и мне положено было бы только почтительным наклоном головы дать знать, что я понял это приказание. Это было равнозначно солдатскому «слушаюсь». Но эти формы выражения готовности выполнить указание старшего были бы, конечно, в данной ситуации смешны. В то же время я никак не мог сказать: «Хорошо, я приду», — как будто я мог и не прийти. Мое застенчивое молчание Владимир Фридрихович понял, по-видимому, иначе:

— Вы заняты? Тогда в другое время...

— Нет, нет... что вы... я приду.

Он назвал номер квартиры в известном доме профессоров и преподавателей нашего института, где мы бывали на занятиях, потому что в цоколе его размещалась одна из факультетских лабораторий.

Я ломал себе голову, почему профессор решил пригласить меня домой, когда он мог поговорить, сколько его душа желает, и на работе. Мне было приятно его приглашение, самолюбивое сердце нет-нет, да радостно подпрыгивало, но все же не покидала мысль, что профессор пригласил для какого-то серьезного разговора, к которому я должен быть готовым. Но как быть готовым, я не знал.

Одевшись во все лучшее, что мы, студенты, сообща бережем для подобных случаев, я постучался к профессору. Дверь открыл он сам и повел меня через коридор в комнату слева. Надо сказать, что я впервые был в такой большой квартире в большом многоэтажном доме. У меня были знакомые в городе, к которым я изредка ходил, но они жили в домах деревенского типа, которых тогда в городе было много. Стена слева была заставлена, вплоть до высоченного потолка, книгами. Такое большое количество личных книг в квартире я видел впервые. И пол был в этой комнате особенный, не виданный мной, — составленный из мелких четырехугольных досточек, наподобие малой грани кирпичика, и от света электролампы лоснился, как на солнце. Я лишь потом узнал, что такой пол называется паркетом и что он смазывается и натирается до блеска. Профессор был в каком-то старинном, разноцветном, очевидно, дорогом пиджаке с шалевыми отворотами и выглядел в нем, как фокусник. Я знал, что существуют домашние костюмы, но не полагал, что они могут быть такими нестрогими. Он пригласил меня сесть за стол, который показался мне таким большим, что по нему, как говорят у нас в народе, могла лошадь проскакать. Теперь бы я написал, что стол был накрыт на две персоны, но тогда я обратил внимание, что передо мной разложены какие-то тарелочки, чашечки и блюда, чуть ли не золоченые, вилки и нож лежали не просто так, а на специальной, видимо, серебряной подставочке, сияла своими многочисленными причудливыми гранями тяжелая рюмочка, словом, передо мной оказались вещи, совершенно для меня непривычные. Рюмка была, конечно же, хрустальная, но это мне ни о чем не говорило, потому что о хрустале я понятия не имел, хотя, может быть, слышал или читал о таком дорогом виде стекла, но я не обращал внимания на то, что такое стекло может иметь какое-то значение в обиходе, ибо до сих пор рос и жил в обстановке, когда приходилось думать лишь о содержимом любой столовой посуды. Подобный же набор имелся и перед хозяином. В квартире, по-видимому, было еще несколько комнат, но я чувствовал в этот момент, что в этом обширном владении никого, кроме нас двоих, нет. Я представления не имел о семейной жизни профессора, но думалось, что он пригласил меня специально в тот день, когда никого, кроме него, в доме не было.

— Ну что, Мажит Муканович, я не ужинал, и, может быть, нам стоит чуть закусить, чем бог послал. У меня есть что закусить, будет чай по-казахски. В Казахстане я живу порядком и знаю, что, коли пришли в дом, разговаривать за пустым столом не принято. У меня есть коньячок, пропустить по тридцать граммов для аппетита никогда не вредно,— говорил между тем хозяин, часто скрываясь за дверями справа, где, по-видимому, была расположена кухня. Я стал отказываться, ссылаясь на то, что только поужинал и очень сыт. Хозяин этого и слышать не хотел, продолжая курсировать между кухней и столом.

Вспоминаю я сейчас этот визит к Владимиру Фридриховичу и думаю, до чего неотесанным парнем я был тогда. Пожилой хозяин суетился, что-то нарезал, раскладывал, а я сидел за большим столом, как вкопанный, ни разу не проявив хотя бы видимость готовности помочь ему. Внимание мое при этом было обращено на объем приносимого. Нужно сказать, что этот объем мало соответствовал запросам моего даже уже сытого желудка, ибо я видел небольшие кусочки селедки в каком-то пряно пахнущем соусе, какие-то тоненькие, почти прозрачные кусочки колбасы, принесено было еще что-то такое, красиво разложенное, что я мог засунуть в рот враз и проглотить, не особенно пережевывая; профессору, судя по выражению его лица, казалось, по-видимому, что он собирает довольно богатый стол, и видно было, что он любит угощать. Наконец, он наполнил рюмочки и предложил выпить. Я не стал отказываться. Коньяк этот я пил впервые и не заметил его преимущества перед водкой. Да и трудно было заметить при такой наперсточной дозе. А привычку смаковать я еще, конечно, не приобрел. Потом закусили, причем я строго следил за тем, как проделывает это профессор, и точно повторял. Потом пили чай, в разливании которого, наконец, освоившись с обстановкой, я принял участие. И лишь после всего этого состоялся разговор, который для моей жизни имел значение, может быть, большее, чем я думаю.

Профессор встал из-за стола и подошел к стенке с книжными полками, я поднялся за ним. Он достал довольно толстую книгу и подал. Автором этой книги, изданной еще до войны в Ленинграде и посвященной химии и технологии распространенного ядовитого газа, был Владимир Фридрихович. Мне приходилось впервые

стоять рядом с автором такого капитального печатного труда. Потом он достал еще несколько книг объемом поменьше, автором которых был он же.

Я здесь, дорогой друг, должен оговориться о следующем. Я смотрел эти книги Владимира Фридриховича со спокойной гордостью за то, что профессор находит нужным показывать мне их и рассказывать о них. Между тем, он, наверное, уже почувствовал, что я об этих книгах и понятия не имею, хотя, как потом обнаружил, ссылки на его труды в учебниках, по которым мы занимались, имелись. Дело в том, что я к экзаменам готовился, как правило, по записям, которые я понаторел делать на лекциях, и к учебникам обращался лишь в тех случаях, когда что-то в записях было непонятно, обращался наспех, не заглядывая в сноски и ссылки. Оттого, конечно, и не знал о трудах своего профессора, хотя, будь я более прилежным студентом, обязан был знать. Стыдно мне стало после, когда убедился, что я пока еще не тот, за кого меня принимает мой милый профессор.

Владимир Фридрихович далее достал толстую папку, где лежала большая стопка бумаги, исписанная густым, твердым, отчетливым почерком хозяина. Это была, как он пояснил, рукопись новой книги, над которой он работает уже почти восемь лет. Я удивился тому, как буднично и просто профессор сказал об этих восьми годах, когда у нас, например, в аule ежегодно в летние каникулы журили меня земляки за то, что прохожу какое-то страшно длинное обучение, растянувшееся на пять громадных лет, расходуя чуть ли не половину самой интересной части жизни.

Рассказывая о своих трудах, Владимир Фридрихович незаметно перешел к своей научной биографии. Он кончил институт в Ленинграде в годы гражданской войны и как научный работник оформился в первое десятилетие после установления Советской власти. Он вырос в научном окружении, так как родился в семье, причастной к научной деятельности. Знал массу подробностей о становлении и развитии научных учреждений, вузов Ленинграда, и я почувствовал, что он мог бы очень много рассказать о крупных деятелях науки, со многими из которых, как можно было заметить, он был знаком лично. Он говорил о трудностях, пережитых в студенческие годы и на первых порах своей научной карьеры. Он приехал в Казахстан, имея за плечами солидный стаж работы, и сам органи-

зовал кафедру, которой заведует. Создание кафедры, ее лаборатории оказалось более сложным делом, чем он предполагал по своему ленинградскому опыту, потому что все собиралось на голом месте, когда какая-нибудь ничтожная мелочь вдруг становилась непреодолимым препятствием. И все же было очень интересно создавать самому, собственными руками, по своей инициативе, нежели прийти на готовое. Затем он перешел к характеристике людей нашего народа, играющих выдающуюся роль в развитии науки в республике. Обо всех он говорил с теплотой и уважением, особо отмечая глубину научного прозрения и организаторский талант академика-геолога, президента нашей Академии.

Сидел, слушал Владимира Фридриховича и удивлялся такому повороту обстоятельств, когда могу вот так спокойно внимать словам большого человека, который имеет моральное право характеризовать людей самой необычной судьбы, как самых обыкновенных смертных, несколько этим не снижая их исключительной роли в нашей жизни. Мне показалось, что через Владимира Фридриховича я, скромный студент, тоже вхожу в какое-то почти непосредственное общение с этими людьми.

— Мажит Муканович,— сказал профессор, потушив папиросу и немного помолчав,— я пригласил вас не для того, чтобы рассказывать о себе. Это, как говорится, присказка. Я говорил о больших людях науки из вашего народа. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что самый молодой из этих зачинателей национальной науки не старше меня. И их, этих людей, пока очень немного. Я их всех знаю, и мы можем с вами сосчитать их на пальцах. Между тем, существует Академия наук республики, открываются новые вузы, партия борется за то, чтобы в каждой республике бурно развивалась национальная наука. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы выращивать научные кадры из коренного населения. В этой области науки, которой занимаюсь я, пока еще немало трудностей. Первая трудность — не каждому предложишь заниматься научной работой, ибо человек, которого хочешь воспитать ученым, должен иметь что-то от природы, я имею в виду постоянное желание ломать голову над непонятными вещами. Вторая — большое трудолюбие, без него успехов в научной работе, да и в любой другой, не будет. Великие ученые были подвижниками науки, но и обычным ученым,

таким, как я, тоже надо очень много работать. Ничто не достается легко. Есть еще одна трудность. Допустим, что ему надо работать и зарабатывать, что он не хочет всю жизнь учиться и жить на полуголодном пайке. Это свидетельствует о том, что в широких слоях молодежи наука еще не в моде. Значения ее не понимают. Могу уверить вас, что отказывающиеся сегодня будут кусать локти завтра, потому что наука в нашей жизни становится теперь на решающие позиции. Я в прошлом году сумел одного товарища сагитировать и зачислить к себе в аспирантуру по Академии. Это — молодой человек исключительных способностей. Но беда в том, что у него нет с кровью впитанных навыков к спокойному, упорному, ежедневному труду. Работает рывками. Недавно, когда я потребовал от него методичных систематических занятий над темой, он мне ответил, что его кровь не может устоять перед зовом предков поболтаться в горах и степях... Он конечно, шутил, но в этой шутке есть доля правды. Сказывается отсутствие традиций. Дело для народа новое. Я вырос в семье потомственных научных работников, мне было легче — кровь звала к тому, чем я занимаюсь. Все это я понимаю, и все же нелегко, когда молодые люди, которым хочется помочь, хочется передать свои навыки и знания, не всегда воспринимают должным образом твое желание...

Профессор чуть грустно посмотрел на меня и, по-видимому, заканчивая свою речь, сказал:

— Все это я, Мажит Муканович, говорю к тому, что... вы уже, наверное, начали догадываться... что хочу вас, если вы согласитесь, рекомендовать к себе в аспирантуру. Как вы на это смотрите?

Как бы я мог на это смотреть? Я над этим вообще никогда не думал. Знал, что существуют так называемые аспиранты, люди, как шутили студенты, ищущие и помогающиеся. Видел двоих из них в университете. Это были довольно солидные люди, жили они в общежитии в комнате на двоих, получали какой-то повышенный, нестуденческий паек и держали себя особняком. Внизу, в нашем полуподвале, в комнате под кабинетом Владимира Фридриховича возился с тиглями, что-то плавил один лысеющий товарищ, года на два постарше меня. Говорили, что он — аспирант профессора Пенера. Особой зависти к этим людям не испытывал, потому что о славных достижениях того или иного аспиранта в науке мы не слышали, а жизнь

их была, как мне казалось, чуть улучшенным вариантом нашей, студенческой.

Увидев, что я призадумался, профессор ушел из комнаты. Не знаю, долго ли он отсутствовал, но я оценил эту его деликатность. Мне действительно надо было хоть немного подумать, настолько было неожиданным предложение остаться в аспирантуре. Это предложение разрушило все, что было заранее запланировано и обдумано. Я верил, конечно, тем радужным перспективам в научной работе, которые обрисовал мне Владимир Фридрихович. Но они, эти перспективы, на мой взгляд, не могли относиться ко мне. Я не мог полагать, что из меня получится ученый. Моя первая работа, связанная с содержанием той брошюры, которую дал мне тогда на первом свидании Владимир Фридрихович, оказалась такой, что принесла мне тяжелое разочарование. Дело в том, что я на основе своих знаний решил покритиковать некоторые положения этой книги. Я был уверен, что действительно обнаружил в ней существенные недостатки, и критиковал ехидно, с чувством превосходства. Доцент Гулах, давший краткую рецензию на мой первый «научный труд», написал, что студент Нурбаев показал себя умеющим изучать научную литературу, подходить критически к имеющемуся исследовательскому материалу. Однако студенту Нурбаеву впредь необходимо быть очень осторожным в критических оценках, более тщательно и всесторонне изучать объект критики, ибо в данном случае он не совсем правильно понял критикуемые положения, и его критика, по существу, относится к версии, вытекающей из заблуждения автора, а не к той подлинной версии, которая присутствует в обсуждаемой книге. Когда я прочитал эту деликатно написанную рецензию, то понял, что научная работа не для меня, потому что я, по-видимому, никогда не буду в силах придумывать что-то новое, когда даже не могу осилить и понять сделанное людьми по той науке, основы которой мы уже прошли в достаточно серьезном объеме. Но утешил себя тем, что не собираюсь быть научным работником. И вот теперь милый профессор Пенер предлагает мне остаться в аспирантуре. Причем он, по всей вероятности, уже уверен в том, что не откажусь от его предложения, ибо почему бы он стал делать слишком прозрачные намеки на то, чтобы я не вел себя, как тот его аспирант, которого кровь предков призывала бездельничать... Профессор имел, конечно, достаточно све-

дений обо мне, как о студенте, от руководства факультета, от преподавателей, у которых учился, иначе он не вел бы со мной такие серьезные переговоры. Блеснула в голове неприятная догадка: нас, казахов, на нашем курсе было всего двое. Раз кого-то надо было оставить в аспирантуре, вынуждены были остановиться на мне, потому что сокурсник мой Баекин был старше всех на курсе, имел уже большую семью и, обремененный заботами, не успевал достаточно хорошо заниматься. К этой мысли притянулась и другая — не менее неприятная. Эта, другая, мысль была связана с обывателем, сидевшим во мне тогда настолько крепко, что я, кажется, пропустил мимо ушей то, что говорил профессор о задачах в развитии науки и о благородной роли тех, кто участвует в научном созидании, и жертвах, которые стоит принести ради этого. Мой обывательский мозг настолько заполнили мечтания о зароботке, материальном обеспечении, о квартире, что я плохо представлял себе какое-то иное будущее. И, тем не менее, чувствовал, что после всего, что мне говорил профессор, не могу допустить бестактность, обращая его внимание на проблемы меркантильного характера, и, самое главное, при столь незаслуженно теплом отношении человека ко мне, после столь радужного приема воля моя была так расслаблена, что не мог найти в себе силы, чтобы сказать профессору правду, т. к. эта правда огорчила бы великодушного старшего товарища, чего я никак не мог допустить. И когда вернулся хозяин и сел на свое место рядом со мной, уже готов был сказать: «Владимир Фридрихович, вам виднее, я сделаю так, как вы скажете». Я так и сказал ему.

Ты замечаешь, дорогой друг, до чего решительно влияли на меня мимолетные обстоятельства. Я сказал Владимиру Фридриховичу эту фразу, а сам совсем не верил в то, что останусь в аспирантуре и буду заниматься научной работой. Ведь эта фраза была фальшивой, поскольку она совершенно не отражала того, что уложилось в мечтах и не могло измениться за два часа пребывания у Владимира Фридриховича. Губила меня эмоциональность и отсутствие характера, податливость к оболещению и самооболещению.

Выйдя от профессора, уже думал о том, как вывернуться из положения, когда по душевной слабости обнадеежил невыполнимым обещанием человека, к которому проникся глубоким уважением. Я понимал, что профессор

завтра же доведет до сведения руководства факультета и института мое согласие быть его аспирантом. При этих мыслях меня прошиб холодный пот. Но уже подходя к общезнанию, успокоился, ибо приятно полонила мозг утешающая и хвастливая мысль, что я все же единственный из нашего курса, кого удостоил профессор своим личным вниманием, что это вовсе не случайно, и, в конце концов, не боги горшки обжигают; и если напрячь волю, много работать, то можно достичь поставленной цели. Недаром об этом так мудро и так красиво говорил Владимир Фридрихович. Думая в этом направлении, я рассудил не мечтать о недостижимом, например, стать доктором наук, профессором; красная цена такой персоны, как я, это быть кандидатом наук, доцентом. Эта мысль меня сильно утешала, ибо знал, что ученые на этом уровне тоже являются достаточно авторитетными и ответственными людьми и, самое главное, получают солидную зарплату. Вот это последнее являлось уже неким пунктом в моих думах, и я не то, что не мог обойти его, а прямо начинал думать с него.

Быстро, очень быстро прошел этот четвертый год нашего обучения. В этом году нам читал свой курс профессор Пенер. Читал блестяще. Помню, как он спокойным, размеренным шагом, чуть нахохлившись, входил в аудиторию, поднимался на небольшое возвышение перед большой доской почти на всю стену и всходил на кафедру, где оставался столько, сколько необходимо, чтобы раскрыть папку, где находились его записки к лекциям. Затем сходил с кафедры и, заложив левую руку за спину, а правой рукой держа мел и скупно размахивая ею, начинал читать. При этом он медленно ходил вдоль доски, оставаясь лишь для написания на ней незнакомых нам терминов, имен, уравнений и схем. Читал он логично, стройно, изысканно, простыми и красивыми фразами, в которых не было ни одного лишнего слова. По его лекциям перед нами раскрывались тайны тех чудес, которые способны делать выпрямленный электрический ток в химии и химической технологии, являясь движущей силой многих химических процессов, используемых на практике; изящны были теоретические построения, на которых базировалось современное понимание этих процессов. Профессор лишь изредка прерывал ход изложения для того, чтобы кратко рассказать о каком-либо замечательном случае из истории науки или личной научной и производственной практики.

Для этого он почему-то обязательно всходил на кафедру и, не сводя зора с аудитории, поднимал вверх свой большой нос; при этом на вытянутой шее выдвигался обычно малозаметный кадык. Затем живо, в течение 2-3 минут, не более, рассказав вспомнившееся, он сразу же покидал кафедру и продолжал сосредоточенно излагать прерванное, лишь на короткое время, таким образом, разрядив умственное напряжение. Мы так привыкли к этой особенности в поведении нашего лектора, что, как только он всходил на кафедру, бросали немедленно на стол ручки и карандаши, разминая онемевшие пальцы. По-видимому, долгие годы читая лекции перед студентами, профессор настолько привык к строгой сосредоточенности у доски, что для того, чтобы рассредоточиться, ему необходимо было обязательно взойти на кафедру.

Еще два раза пришлось мне посидеть перед Владимиром Фридриховичем в его кабинете. Один раз — когда он определил тему дипломного проекта и место преддипломной практики. Второй раз — когда сдавал экзамены по прочитанному им курсу. Я волновался перед этим экзаменом и готовился к нему тщательно и с воодушевлением. И все же, отвечая на вопросы по билету, в одном месте соврал и, почувствовав, что логика вранья понесла меня в сторону, замолк, с трудом вспомнил правильный ответ и сбивчиво стал поправляться. Профессор молчал, дымя папиросой, он хотел, видимо, чтобы я сам, без его подсказок, вышел к правильному ответу, затем, выслушав меня до конца, улыбнулся, задал несколько дополнительных вопросов, на которые я ответил, посидел, подумал и поставил высшую оценку. Когда я вышел к ожидавшим своей очереди товарищам и без восторга в голосе пробормотал: «Пять с минусом», — острая на язык Нина Оноприенко накинулась на меня:

— Ну хвастун же ты, Мажит. Получил пятерку и вышел важный и угрюмый! Снять надо!

Она, конечно, не знала, как я злился на себя, оказавшись не в силах подготовить экзамен по курсу любимого профессора, чтобы можно было оценить мои ответы на высший балл без колебаний.

Окончив благополучно четвертый курс, получив представления и благословение своей кафедры, мы разъехались по местам преддипломной практики. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись в институт с последовавших за практикой летних каникул, мы узнали, что

Владимир Фридрихович покинул нас и теперь заведует такой же кафедрой, как наша, в одном из больших украинских вузов. Это было неожиданно и непонятно, в особенности для меня, потому что в моем представлении он был человеком, навсегда связавшим свою судьбу, свои думы и чаяния с нашим институтом, с академией и республикой. Нам разъяснили, что отъезд профессора связан с соображениями высшего порядка, направленными на улучшение воспитания нашего брата, будущего молодого специалиста. Мы привыкли верить руководству, но все же какой-то подспудный голос не переставал задавать вопрос: почему эти соображения имеют силу у нас и не имеют силы в том большом украинском институте, куда наш профессор переехал. Лишь потом выяснилось, что серьезных оснований для увольнения маститого ученого не было, к сожалению, то было такое время, когда различного рода субъективные импульсы играли большую роль в решении судеб людей.

Больше я Владимира Фридриховича не видел. Не видел, потому что я, оставшись в аспирантуре, оказался в сфере научных интересов, далеких от той области знаний, где властвовал профессор Пенер, и оснований для делового общения не оказалось. И хотя теплые воспоминания о моем первом профессоре и вставали часто передо мной живым укором за невыраженную благодарность, не мог я сделать этого просто потому, что боялся быть со своими сладенькими сантиментами приторно-навязчивым профессору, имевшему дело со многими из таких, как я.

Когда много позже, уже став директором академического научно-исследовательского института, я, письменно напомнив о себе, командировал к Владимиру Фридриховичу одного очень способного молодого человека, рекомендуя для прохождения под его руководством аспирантской подготовки, профессор радушно принял молодого специалиста, проявив большой интерес к нашему институту и его научной тематике. Однако эта попытка установить постоянную деловую связь с маститым ученым не увенчалась успехом. И вот почему. Молодой человек вернулся окрыленным, он захлеб рассказывал о том, что профессор не отнесся к нему, как к малокомпетентному начинающему специалисту, а счел нужным с присущей ему душевной щедростью обо всех делах кафедры рассказывать и все показывать лично. Но когда я увидел название

темы, рекомендованной будущему аспиранту, и просмотрел предварительный план работы, мне стало не по себе. Это был солидный, совершенно самостоятельный кусок одной из идей, владевших профессором давно, и научного доказательства которой он упорно добивался. Идея, конечно, была интересной и заманчивой, но ставить такую сложную научную задачу перед неопытным молодым инженером — это значило ничего не добиться в научных доказательствах самой идеи и одновременно совершенно сбить с толку, и вызвать, может быть, отвращение у молодого человека к научной работе. Сам молодой человек этого не понимал по неопытности, не понимал этого и многоуважаемый профессор, но уже по другой причине. Возникла сложная ситуация. С одной стороны, я не мог сказать молодому человеку, рвавшемуся немедленно приступить к выполнению задания большого ученого, что ему не следует браться, ибо это будет ему не по силам. Доказать это было легко. Но не хорошо было разочаровывать молодого человека, подвергая сомнению авторитет профессора, к которому сам послал его, будучи уверен, что Владимир Фридрихович окажется на высоте. Во-вторых, хотя я и был директором института, следовательно, человеком с солидными полномочиями, все же не мог позволить себе делать какие-либо замечания моему первому учителю, как-то оспаривая перед ним самим правильность его решения. Если бы мы работали и были близки, возможно было бы найти к этому какой-то удобный подход, но я, по существу, не знал психологии стареющего профессора и боялся огорчить его необдуманными демаршами. Пришлось сказать молодому человеку, чтобы он продолжал заниматься своими обычными делами до окончательного решения вопроса, а профессору Пенеру сообщить, что институт благодарен за внимание и что, к сожалению, в этом году из-за отсутствия возможностей не удастся определить молодого человека ему в ученики, и что в дальнейшем институт будет стараться воспользоваться готовностью профессора помочь в подготовке кадров. Я был очень удручен вынужденным, не очень добропорядочным маневром и стал интересоваться учениками и вообще научным окружением профессора. Среди коллег авторитет профессора Пенера был непрекаем, уважение к нему, и как к ученому, и как к человеку, было неоспоримым и большим. Он только что выпустил книгу, рукопись которой он мне показывал,

проработав над ней чуть не двадцать лет и собрав в ней все последние мировые достижения в той области науки, которой была посвящена книга, и насытив ее множеством новых и интересных идей. Естественно, что книга вызвала всеобщий интерес. Но несколько странным выглядело то, что, имея очень много людей, зараженных его идеями и в силу этого находящихся в сфере его научных интересов, он выпустил сравнительно мало учеников непосредственно через аспирантуру, мало того, многие аспиранты покидали его, так и не сделав ничего путного. Со временем, будучи умудрен некоторым опытом научно-организаторской работы, я, кажется, понял причины этого. Обладая колоссальной эрудицией и горя многими идеями, об осуществлении коих он мечтал, профессор Пенер в то же время не обладал чувством меры возможного для аспиранта в пределах его способностей, наличия необходимого оборудования в лаборатории и краткого срока пребывания в аспирантуре. Казалось бы, это простая истина, но в научном мире непонимание этой истины приводит ко многим нежелательным драматическим ситуациям. Примеров этому можно привести достаточно много, и в частности их было очень много в педагогической деятельности профессора Пенера по подготовке научных кадров через аспирантуру.

Когда я узнал эту особенность в научном облике моего профессора, я, признаться, подумал, что мне в моей научной карьере удивительно повезло. Я был, помнится, очень недоволен тем, что уехал мой любимый профессор, оставив меня, кончившего институт. Полагал, что только он один мог бы вывести меня в люди. Между тем в то время я был совершенно не подготовлен к тому, чтобы приступить к разработке большой идеи, осуществления которой желал и требовал от своих аспирантов профессор Пенер. Мне необходимо было начинать со школярски малого, но это было вовсе не в духе профессора Пенера. Судьба меня спасла от него. В противном случае моя научная биография была бы полна драматических коллизий и не была столь гладкой и удачной. И все же думы о науке впервые возбудил в моей душе он, профессор Пенер, ибо он впервые рассказал мне, что такое научный труд, впервые он уверил меня, что я при соответствующем напряжении воли смогу стать научным работником. Мне теперь приятно, конечно, сознавать, что хоть в какой-то степени оправдал его надежды. Хорошо и то, что, ввиду

сложившихся обстоятельств, моя память хранит о нем только доброе и светлое. Профессор Пенер умер недавно, и я, заканчивая писать все, что думал о нем, не могу здесь не привести характерные отрывки из нашей переписки. А после довольно успешной защиты докторской диссертации я был переполнен чувством благодарности ко всем, кто мне помогал подняться по научной стезе на столь большую высоту. Первым вспомнил профессора Пенера и вот что ему тогда написал.

«Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Фридрихович! Есть казахская пословица: «Молодой женщине близок тот, кто впервые приветил ее». В переводе на русский язык она, эта пословица, как видите, не очень звучит, но смысл ее примерно таков. Девушку выдают замуж. Ей 14-17 лет, она переходит из-под родительского крова и из родственного окружения (а раньше аулы были общешитием только родственников по мужской линии) в другой аул, в совершенно другой мир, где она должна привыкнуть к новому укладу жизни, весьма тяжелому, т.к. младшая сноха в ауле должна строго выдерживать многочисленные ритуалы, связанные с необходимостью выражать глубочайшее почтение ко всем и всему без исключения, ибо она должна быстро стать плотью во плоти этого аула. И в этот самый трудный для молодой женщины (часто подростка) период жизни находится в ауле добрая фея, которая наставляет, подбадривает, короче, как-то облегчает ее участь. И на всю жизнь остается она невестке самой близкой, самой родной, самой уважаемой.

Не знаю, помните Вы или нет, как вы меня уговаривали остаться в аспирантуре. Я в то время колебался, т.к. не чувствовал склонности к экспериментированию и за мной была семья: пятеро младших братьев и мать в ауле. Вы на это мне говорили, что аппетит приходит во время еды, что стоит получить первые, пусть маленькие результаты в научной работе, как решительно почувствуешь увлечение, и что с этого увлечения начинается так называемое творчество. Помню, как вы образно и хорошо говорили о том, что научный труд — это труд тяжелый, это труд подвижнический и что к этому надо готовиться. А иногда в этом деле бывает и так:

Пали с плеч подвижника вериги,
И подвижник мертвый пал.

Я далек от той нескромности, чтобы отнести себя к подвижникам науки, однако, когда после защиты и объявления результатов голосования (оно было единогласным) впервые узнал, где у меня сердце (страшные спазмы продолжались несколько минут), я искренне подумал: почему плохо быть чабаном? Ведь у чабана, хотя и бывают, как у научного работника, бессонные ночи, но он, чабан, не связан с постоянным напряжением, когда усталость не приносит желанного отдыха. Втянули вы меня, Владимир Фридрихович, в такое дело, из которого, говоря словами поэта, «нет мне выкупа». Все же я очень благодарен вам за напутствие, с коим вы меня направили в ту область жизненной деятельности, которая не была знакома для вырастившего меня окружения (отец и мать у меня были неграмотны)».

Владимир Фридрихович ответил мне пространным и обстоятельным письмом, в котором подвергал научному разбору мои работы, делал замечания и давал советы. Заканчивая, он писал: «Откровенно говоря, я не думал, что мои слова имели значение для вашего формирования как научного деятеля... Но если вы признаете это сами — спасибо вам за это... Все письмо проникнуто симпатией и доверием ко мне, что мне, конечно, очень приятно, но вместе с тем это накладывает на меня и задачи: быть в дальнейшем как-то полезным вам, если не в научном, то, по крайней мере, в научно-жизнейском плане... Более полагаюсь на последнее, ибо по научной стезе вы поднялись уже на такой уровень, что вряд ли потребуются услуги старика, постепенно отстающего от молодежи в накоплении и освоении новейшей научной информации. В научно-жизнейском же плане хотелось бы сказать следующее. Работайте и растите свою школу. Все ваши помыслы направляйте только к этому, ибо ваш Абай говорил: «Учитель без учеников — скопец». Я это подчеркиваю к тому, что сейчас вы, молодые деятели науки, в вашей республике пользуетесь особым, невиданным почетом вашего народа. Это можно понять: ваш народ гордится вами, как своими достижениями в той деятельности, которая неведома ему. Важно, чтобы этот почет не вскружил вам голову, чтобы у вас не появилось желание немедленно попасть в высший ареопаг, перешагнув необходимые стадии роста, ибо преждевременное попадание в этот ареопаг, где на вас, как на молодого, взвоят тысячу дел, не имеющих отношения к вашей

научной деятельности, и где вы, как член научной лиги, будете ограждены от всякой критики, резко затормозит ваше развитие с точки зрения содержания, и это со временем (если не притупится ваша склонность к искреннему самоанализу) ляжет омрачающим грузом на вашу душу. Побудьте, по возможности, в тени, много печатайтесь, становитесь не по титулам, которые вешаются, к сожалению, не всегда по заслугам, а по сути ваших научных достижений... Словом, походите пока, как сказал один поэт,

...По теневой, по непарадной,
По ненаградной стороне...

жизни

Не обижайтесь. Я считаю, что этим выполняю задачу, вами на меня возложенную, как на своего старшего друга».

Если я, дорогой друг, сумею продолжить рассказ о себе, ты узнаешь в дальнейшем, как мне нелегко было выполнять эти заветы старого умного профессора.

Письмо четвертое

Дорогой друг!

Есть, говорят, в науке люди, которые самостоятельно пробивают себе дорогу, не зная, что такое ученичество. Они никому не бывают обязаны и потому наслаждаются всю жизнь этакой гордой независимостью, как сладчайшим результатом опоры на собственные силы. Я, к сожалению, не совсем убежден, что такие люди в научном мире существуют. Пример чиновника патентной конторы, не общавшегося с ученым миром и тем не менее открывшего теорию относительности, думаю, совершенно нетипичен для современной науки не только потому, что этим чиновником являлся сам Эйнштейн, но и потому, что темпы научно-технической революции ныне не позволяют обходиться без тесной преемственности поколений в развитии научных изысканий. Я знаю нескольких моих коллег, кичащихся своей чуть ли не врожденной самостоятельностью, своей якобы лично выработанной творческой индивидуальностью, и подозреваю, что все это самовыставление основывается на самой что ни на есть черной неблагодарности. У любого человека в жизни, чаще в молодости, вероятно, бывает период, когда он склонен переоценивать свои достоинства и свои личные достижения; именно эта переоценка приводит к умалению роли тех, кто так или иначе способствовал твоему продвижению вперед. Хорошо, что такая склонность у подавляющего большинства людей проходит с возрастом, оставаясь жалким и обманчивым уделом лишь немногих. У меня тоже были такие периоды жизни, и мне приятно теперь оттого, что эта ребяческая гордыня за лично содеянное осталась позади, во всяком случае частью осталась позади. Сейчас точно знаю, что желание поговорить о делах, подчеркивая собственную роль, посещает меня все реже, хотя оснований для этого имеется ныне, кажется, больше, чем

ранее. И, когда теперь вспоминаю детали своей научной биографии, передо мной с годами все более отчетливо выступает фигура моего незабвенного учителя Дмитрия Викторовича Дьячкова, и я боюсь, что не смогу достаточно убедительно, достаточно ярко описать роль этого замечательного человека в моем научном становлении.

Я уже писал, как были мы расстроены уходом профессора Пенера. Однажды мы увидели, что за столом Владимира Фридриховича сидит, потирая руки и поглядывая в застенчивой улыбке по сторонам, профессор Дьячков. Этот был тот самый профессор-химик, который читал нам свой курс, будучи еще доцентом. Мы никак не предполагали, что именно он займет место профессора Пенера, ибо он, читавший теоретический курс, казался нам чудачком-ученым, лишенным земных интересов и далеким от инженерных проблем, которым в основном были посвящены заботы кафедры. Дмитрий Викторович читал нам свои лекции два-три раза в неделю в течение полутора лет, поэтому мы если не приблизились к нему, то, по крайней мере, пригляделись. Помню, как он входил, несмотря на свою относительную молодость (ему тогда еще и сорока не было), семенящей, чуть ли не старческой походкой и, став на кафедру, начинал читать очень тихим голосом. Он был высок и даже чуть дорожен, но эта семенящая походка и этот тихий, отдававший, казалось, робостью голос сбивали с него начисто ту солидность, которую подбало ему иметь по положению. Когда же он изредка снимал очки и протирал их, на нас по-рыбьи смотрели большие, выпуклые, невыразительные, будто отливающие оловом глаза, и нам хотелось, чтобы он быстрее водрузил очки обратно. Эти очки удобно и, казалось, навсегда оседлали большой нос, буроватой картошкой свисавший едва ли не до самых постоянно сжатых тонких губ. За этими губами, обрамлявшими небольшой рот, никогда не были видны зубы, возможно, потому, что профессор не имел обыкновения смеяться громко, всегда ограничиваясь тихой, застенчивой улыбкой. Маленький мягкий подбородок совершенно не соответствовал его большому лицу, крепкой, короткой шее. Он был уже сед, но его еще густые волосы не привлекали взор благородной белизной, а представляли собою беспорядочные серые клочья. Иногда Дмитрий Викторович приходил на лекцию в отутюженном костюме, накрахмаленной сорочке, в галстуке, завязанном безупречным узлом,

а порой — в измятом костюме, в сорочке, далекой от свежести, в наспех, небрежно завязанном галстуке. «Сегодня жена не успела приглядеть за ним», — заключали в этих случаях наши девушки. Видно было, что Дмитрий Викторович на свой внешний вид не обращал никакого внимания. Когда он делал какие-то записи на доске, мел прыгал, не дописывая буквы, недочерчивая или перечерчивая линии в схемах. Разочарованные этими особенностями лектора, мы особо придирчиво вслушивались в то, что он читает, сличали прочитанное им с тем, что имелось по этому поводу в учебниках, и с удивлением обнаруживали, что он владеет своим предметом в такой степени, что многое излагает не по-книжному, а более оригинально и доходчиво. На лекциях он был строго вдумчив и напряжен и не позволял никаких разрывов для разрядки, к которым мы привыкли у других лекторов. Когда ему хотелось как можно проще сказать о чем-то трудном для понимания, он сосредоточенно морщил лоб, от чего в межбровье вздувался бугорок, и говорил он в этом случае, растягивая слова и строя четкие предложения для записей. Мы привыкли к его лекциям, слушали и записывали их внимательно, ибо знали теперь, что многое из того, о чем он говорит, в учебниках отсутствует, хотя он сам об этом нам не напоминал ни разу.

Вскоре наряду с другими новый заведующий пригласил и меня. Когда я зашел, он посмотрел на меня, поднялся и подал руку. Потом сел, потер руки, потарабанил пальцами о стекло стола и, улыбнувшись, обратился ко мне так, как будто профессором являлся не он, а я:

— Я хотел, Мажит Муканович, побеседовать с вами, чтобы знать, что вы сделали по дипломному проекту.

Беседовали мы довольно долго. Он настолько хорошо знал детали разрабатываемой в практике технологии и проверял каждую цифру, успевал высчитывать в уме приблизительные их значения, что я сразу убедился в крайней ошибочности наших суждений о некомпетентности Дмитрия Викторовича в инженерных вопросах. Меня окрылило то, что он по ходу отметил и оценил некоторые новшества в схеме, которые я пробовал вводить. Когда выявлялась грубая ошибка (а их было немало в моих расчетах), то казалось, что более от них смущался профессор, чем я. Почти полтора часа работал со мной Дмитрий Викторович, и мне удалось за это время многое узнать и очень многое переменить в своих взглядах на

нового шефа. Видно было, что при таком дотошном руководителе плохой дипломный проект сделать невозможно. Когда разговор подошел к концу, он опять потер руки, опять как-то застенчиво улыбнулся. Это, как я понял, означало, что он ждет следующего дипломника. Во время нашего разговора он курил непрерывно, и маленькая пепельница уже наполнилась окурками.

Выйдя от профессора, я натолкнулся на одного из наших курсовых остряков.

— Слушай, этот профессор тоже обращается по имени и отчеству и тоже подает руку? Что это означает?

— Это означает, что профессор — это не доцент или просто преподаватель. Он уже на таком уровне, что неуязвим ни для какого панибратства и может себе позволить это... — отвечивал он. Я оценил его ответ и запомнил.

Итак, дорогой друг, все, что я писал до сих пор, была присказка. Сказка только начинается. Не стану рассказывать тебе, как сдавал вступительные экзамены и как меня зачислили-таки в аспирантуру. Сдача вступительных экзаменов заняла, естественно, определенное время, но детали не сохранились в памяти. Помню, как на вступительных экзаменах по специальному предмету дополнительные вопросы задавал председательствующий заместитель директора института по научной работе, а сам Дмитрий Викторович отнесся к этому делу как-то даже безучастно.

Итак, я — аспирант. Это означало, что ровно через три года должен стать кандидатом наук. Для этого в течение трех лет обязан сдать три экзамена кандидатского минимума, выполнить научное исследование, результаты которого могли бы отличаться научной новизной и практической значимостью. Вот это последнее необходимо было еще доказать, представив свою работу в виде цельного переплетенного в книжку труда, называемого диссертацией, и защитив ее по установленному ритуалу перед собранием ученых мужей. И когда это собрание, именуемое ученым советом, найдет, что содержание работы соответствует требованиям и что автор является серьезным научным работником, только в этом случае ему будет присвоена искомая степень кандидата наук. Вот сколько нужно было сделать за время пребывания в аспирантуре, и я понимал, что скучать мне в эти три года не придется.

К тому же надо будет подрабатывать, чтобы хотя бы немного помочь матери, семье. Надо было стараться все успеть. И старался.

Узнав в канцелярии, что приказ о моем зачислении в аспирантуру подписан, я ворвался на кафедру к Дмитрию Викторовичу и с некоторой торжественностью в голосе объявил ему об этом. Профессор улыбнулся, почему-то всплеснув руками, и сказал: «Это хорошо. Я уже знаю, Мажит Муканович». Видя, что профессор меня не задерживает,— ушел. Признаться, я был недоволен, потому что ожидал, что шеф скажет по поводу моего зачисления в аспирантуру что-то в высоком стиле, отметит начало нового ответственного этапа в моей жизни, скажет о том, что наука — это храм, куда несмелый не должен входить, и так далее. А этот совершенно непонятный всплеск руками просто обескуражил, не оставив ничего от той торжественности, с которой я явился к профессору. Я зашел к Гайнитдину, аспиранту годом старше меня, и все это высказал ему, не сдержавшись даже от выпада против шефа: «Это же сухарь. У счастливых аспирантов бог не забрал бы профессора Пенера». Гайнитдин засмеялся.

— Слушай, он всплеснул руками? Так вот завяжи себе: это и есть высшее выражение удовлетворенности... В этом всплеске руками все высокие слова о тебе... Можешь быть доволен. Привыкай. Правда, когда недоволен, тоже всплескивает руками. Но здесь надо смотреть на лицо: улыбнулся, всплеснул руками, значит, одобряет. Не говори плохо о нем. Это напрасно.

Теперь я ежедневно к девяти утра приходил на кафедру, ожидая, что руководитель даст задание своему аспиранту. Профессор тоже приходил к девяти и, ответив на мое приветствие, ничего не говоря, проходил к себе в кабинет. Я же, покрутившись возле трудившегося в поте лица Гайнитдина, не преминув высказать ему свое недовольство тем, что «этот сухарь забыл про меня», немного побалагурив с лаборантками, уходил с видом человека, исполнившего долг. Уходил, даже несколько радуясь тому, что профессору пока не нужен, ибо наклеивался приработок в одном издательстве.

Оказалось, что шеф не забыл про меня. На девятый или десятый день после моего зачисления в аспирантуру он прошел, как и прежде, в свой кабинет и предупредил меня через лаборантку, чтобы не уходил. Когда зашел

к нему, он, потирая руки, как будто виновато посмотрел на меня и сказал:

— Ну что, Мажит Муканович, пора побеседовать с вами. Как будто даже заждались. Поболтались, отдохнули чуть-чуть, а теперь будем работать.

Я заметил, что «беседа, беседовать» — это его любимые слова, и подумал, что так и должно быть, ибо работа профессора и заключается в этих непрерывных беседах. Дмитрий Викторович назвал мне тему, которой я буду заниматься, оговорив, что это пока приблизительное название, уточнение последует после знакомства с литературой и серии предварительных опытов. Начать же должен с освоения анализов на редкий элемент, технологией извлечения которого буду заниматься. Когда я спросил, будут ли на кафедре помогать мне в аналитическом определении, он мне ответил, чуть снизив голос, отчеканивая слова:

— Аспирант сам должен все делать, и делать лучше кого бы то ни было, и знать больше кого бы то ни было, если это касается его темы!

Мне показалось, что выпуклые глаза профессора недовольно сверкнули за очками. Я понял, что Дмитрий Викторович не такой уж невинный и робкий человек и что надо быть с ним более осторожным, чем полагал.

Первое задание профессора свелось к тому, что я должен выбрать по литературе наиболее подходящие методы анализа и освоить их так, чтобы никаких помех в дальнейшей моей работе из-за аналитического определения не было.

Я был на седьмом небе от счастья, когда получил это первое аспирантское задание. Между тем, как подумаю теперь над тем, что оно дано было профессором без обсуждения со мной, исполнителем, было дано, как школьнику, смеюсь над собой. Думаю, что Дмитрий Викторович тогда достаточно узнал меня и был обо мне не очень высокого мнения. Он просто из деликатности не возражал против того, чтобы я остался в аспирантуре, поскольку вопрос этот был подготовлен до него. Невысокое же мнение у него, по-видимому, утвердилось в ходе моей работы над дипломным проектом. Действительно, эрудицией я не блистал, потому что мало читал литературу по специальности, не проявлял и особую пытливість, желание сравнить, сопоставить и т. д. Словом, мой дипломный проект не мог быть отнесен к работе молодого человека,

претендующего на то, чтобы стать ученым, хотя и защитил его на высшую оценку. Теперь, когда передо мной сидит молодой человек, не проявляя никакого желания участвовать в обсуждении, и весь облик его свидетельствует о его готовности выполнить любое мое задание, меня охватывает раздражение. Я отсылаю молодого человека, чтобы он подумал и высказал свое мнение. Сам же, по-видимому, был настолько безнадёжен тогда, что Дмитрий Викторович не счел нужным даже отослать подумать.

Все серьезное в жизни, мой друг, начинается с чего-то несерьезного, малого. Я только что написал вам, как я обрадовался, получив от шефа первое задание. А ведь я обрадовался на самом деле не заданию, а тому, что профессор наконец вспомнил меня и что я теперь приступаю к работе. Само же задание показалось мне почти никчемным, потому что анализы по прописям я на практических занятиях выполнял неплохо, когда мы проходили практические занятия по кафедре аналитической химии. Казалось, все просто: выберу соответствующую методику, составлю рабочую схему, покажу шефу и буду анализировать. Когда я высказал эту мысль Гайнитдину, он с высоты своего маленького роста и годовичного аспирантского стажа ехидно засмеялся:

— То, что ты собираешься делать, — это самый лучший способ представить себя шефу бестолковым дураком... Ты не торопись, прочитай по этому поводу, если не все (все ты не сможешь, потому что наверняка написано столько, что не все найдешь в наших библиотеках), то, по крайней мере, основное. Разберись в химической сути каждой аналитической операции, учти наши аналитические возможности, справься у Варвары Кондратьевны (эта всезнающая старушка была старшим лаборантом кафедры), какие у нас есть реактивы и где их искать... В общем, когда полностью разберешься, тогда и иди к шефу. Главное, не торопись. Я уже на этом обжегся. Слушай старших! — Гайнитдин был на несколько лет моложе меня, и ему нравилось подчеркивать свое научное старшинство.

И вот, когда засел, следуя совету Гайнитдина, за чтение, то впервые обнаружил, до чего я бестолков, до чего же неуч. Все в голове путалось, на вопросы «почему» не находил ответа, потому что плохо знал химию; казалось, один литературный источник так противоречит дру-

гому, что выхода из этих противоречий самостоятельно не смогу найти. Между тем самолюбие разыгралось настолько, что не считал возможным обращаться за разъяснением к кому-либо. После нескольких дней мучительного чтения, когда пришлось заново разбираться в химических азах, стало наконец кое-что проясняться; да настолько, что начал отзываться обратно те сильные слова и выражения из лексикона Алжигана-ата, которые я применял по ходу чтения для самохарактеристики. Все беды заключались в том, что многое, будучи студентом, проходил наспех, чтобы только сдать. Между тем, за этим выбором методики для анализа, доставившим мне столько нервного напряжения, стал понимать, что я не безнадежный глупец. Я уже чувствовал, что теперь у меня совсем не тот подход, которым когда-то «блеснул», сочиняя свою студенческую научную работу, ибо я проштудировал всю доступную мне литературу и искал в ней не недостатки, а данные для познания. И вот ровно через две недели, уже боясь, что шеф думает обо мне, как о бездельнике, который на такое маленькое задание тратит столько времени, попросил профессора принять меня. Извиняясь, честно рассказал ему, что долго пришлось разбираться, ибо оказалось, что недостаточно подготовлен. Он посмотрел на мои записи, согласился с избранными мной двумя методиками: одна предназначалась для точного анализа и была довольно сложна, другая — для быстрого, так называемого экспресс-анализа, но была менее точна. Расспрашивая, убедился, что выбрал эти методики вполне грамотно и обоснованно. Беседовал не торопясь; я почувствовал, что шефу понравилось мое столь ответственное отношение к заданию, и взмыл:

— Сами анализы теперь — это же обычная лабораторная работа, не думаю, чтобы были какие-то затруднения, только реактивов не хватает, придется побегать.

— Мажит Муканович, то, что делает иной лаборант, закрыв глаза, мы с вами не сможем повторить. Все требует сноровки и навыков. Все надо делать, предполагая трудности, чтобы избежать драматических разочарований.. Желаю вам успехов!

В справедливости слов Дмитрия Викторовича я убедился вскоре же. Когда, изрядно побегав по лабораториям института и Академии, везде выступая с просьбой от имени профессора Дьячкова, собрал установку и реактивы для

анализа и, наконец, выполнил со всей возможной тщательностью первый анализ, затратив на него три или четыре дня, оказалось, что содержание главного элемента в два раза больше. Два попутных элемента, содержание которых определял, в параллельных пробах давали совершенно различные результаты.

Вот вам и лабораторная работа! Показываться профессору с такими результатами после того, как сам объявил ему, что эта работа чуть ли не пустяки, я, конечно, не мог. Оставалось, стиснув зубы, проверять самого себя и находить допущенную ошибку. Не буду рассказывать, дорогой друг, как злился на себя за неумение работать, за неумение выполнять обязанности рядового аналитика низшего разряда. Но когда через две недели нашел-таки ошибку, надо сказать, ошибку глупую, какую мог допустить простофиля, а не научный работник, я обрадовался, как будто добился высшей победы: двухнедельная работа по двенадцать-четырнадцать часов в день в полуподвале, который мне теперь становился вторым домом, увенчалась каким ни на есть, все же успехом.

Затратить более месяца напряженного труда, чтобы понять и освоить ординарные методы анализа человеку с высшим химическим образованием, разумеется, не великое достижение. Но, оказывается, когда чувствуешь, что ты при этом понял и в какой-то степени одолел собственную малограмотность, собственную неорганизованность и легкомыслие, это не бог весть какое достижение становится сладким и значительным. И теперь знаю, что с этой смешной победы над собой начался во мне научный работник, ибо именно с этого момента я приобрел боязнь относиться несерьезно к чему бы то ни было, если это касалось научной работы.

Когда доложил шефу, что, наконец, добился в анализах неплохих результатов и, по-видимому, могу в этом деле надеяться на себя, он сказал мне:

— Мажит Муканович, вы тогда, помню, говорили, что неплохо было бы что-то скомбинировать, чтобы методика была короче и удобней. Я уже забыл, не вспомните?

Как же мог не вспомнить, я помнил это, но Дмитрий Викторович мои суждения тогда пропустил, как мне показалось, мимо ушей, и мне подумалось, что я сморозил явную глупость и даже про себя смутился. Теперь же сам тон обращения у профессора был таков, как будто я за месяц с небольшим работы стал таким серьезным

научным работником, что можно было со мной теперь на высоком уровне обсуждать дела. Я прямо-таки воспрянул и, торопясь, доложил, что имел тогда в виду. Выслушав меня, профессор сказал:

— Это очень правильная мысль, но как вы думаете, Мажит Муканович, если мы изменим ваши соображения чуть в другом плане...

Профессор подсказывал несколько иной вариант того, что было предложено мною. Сам я до этого никогда бы не додумался, это было явно лучше. Я, конечно, согласился. Пишу «согласился» потому, что профессор смотрел на меня через очки вполне серьезно и вполне серьезно ждал моего согласия.

— Ну вот и хорошо. Вы теперь проверьте, пожалуйста, эту мысль. Это будет не основная ваша работа, но если в голову вашу пришла хорошая мысль, так почему ее нам надо оставлять без внимания... Надо доказать, не отдавать на добычу кому-то, кто будет думать об этом позднее нас.

В этот раз шеф заговорил со мной, впервые советуясь, и от этого я почувствовал себя в каком-то новом качестве. И, хотя поправка его к моим соображениям была существенной, он держался такого тона, как будто то, что он говорил, ничего не значило: важно было только то, что я говорил. В дальнейшем, чуть ли не двадцать лет проработав в контакте с Дмитрием Викторовичем, я узнал, что он обладает совершенно естественным, совершенно неотъемлемым от всего существа его великодушием, превращенным им в обыденную, никогда не подчеркиваемую и поэтому никого не обременявшую привычку.

Повозившись еще около месяца в лаборатории, несколько раз тщательно проверив правильность наших предположений и доказав возможность и даже необходимость соответствующих изменений в методике, я доложил обо всем профессору. Он внимательно выслушал, расспросил детали и сказал:

— Теперь стоит написать коротенькую статью, и мы ее опубликуем. И на этом закончим заниматься анализами, надо к самому делу приступить.

Ты как-то, мой друг, смотрел список моих трудов; в этом списке первой красуется маленькая статья с неприятзательным названием и столь же неприятзательным содержанием. Теперь, когда в этих делах мы ушли вперед, эта статья никакого интереса, конечно, не пред-

ставляет, и положения, высказываемые в ней, выглядят довольно примитивными. Один мой помощник недавно сделал даже намек на то, что я, человек с именем, засоряю список своих трудов этой простецкой вещью. И все же для меня эта первая работа дороже моих других трудов, дороже солидных книг, которые теперь выпускаю, ибо она, эта статья, впервые вдохнула в меня уверенность, засвидетельствовав, что у меня при обдумывании прочитанного, слышанного и виденного тоже могут появиться дельные мысли и соображения, правда, дельными они сделались после деликатных поправок Дмитрия Викторовича, но эту поправку все же инициировал я. А это уже что-то значило.

Вспоминаю, дорогой друг, дальнейшие события моей аспирантской жизни и чувствую, как память выталкивает вперед детали, о которых, казалось бы, и не стоило говорить. Взять хотя бы, например, место работы. Тот, кто посвятил себя экспериментальным наукам, хорошо знает, что значит иметь свой прочно закрепленный угол, чтобы в любой момент ты мог продолжать начатое, орудуя вещами, лежащими на привычных местах. Гайнитдину удалось отвоевать себе неприкосновенный угол в лабораторном зале первого этажа, и он успешно подшучивал надо мной, находившимся на птичьих правах, ибо в лабораторном зале внизу я вел себя, как гармошка, растягиваясь чуть ли не на весь лабораторный стол, пока отсутствовали студенты, и сжимаясь к самому кончику стола, когда они появлялись. Между тем, кафедра с вожделением зарилась на две узенькие комнатки, примыкающие к залу, где я работал, которые использовались для каких-то хозяйственных нужд. И вот однажды, когда я занимался в полуподвале, зашел незнакомый товарищ в сопровождении заместителя директора по учебной части и Дмитрия Викторовича. Профессор представил меня. Пришедший товарищ оказался новым директором института, недавно вступившим в должность. Я тут же про себя отметил, что этот высокий, еще сравнительно молодой человек много выигрывает своим открытым взглядом, спокойствием и представительностью перед бывшим нашим руководителем. Директор молча слушал Дмитрия Викторовича, видно было, что он не отличается разговорчивостью. Уходя, спросил меня, не желаю ли я что сказать. Я только этого и ждал: пустил слезу насчет того, что не имею постоянного угла для работы, что не хватает

приборов, а имеющиеся некуда ставить, а между тем две соседние комнаты, насколько известно, заняты хозяйственным хламом.

Директор вопросительно посмотрел на Дмитрия Викторовича. Профессор поморщился, как будто извиняясь за излишнюю развязность своего аспиранта, за докучливые просьбы, которыми тот беспокоит директора при первом же его появлении. Но все же своим тихим голосом поддержал меня:

— Да, Мажит Муканович прав, уж очень у нас тесно.

Минут через десять-пятнадцать ко мне вниз сбежалась вся кафедра поздравить с великой победой: одну из комнат директор разрешил передать нам.

— Ну и хорошо,— сказал я,— так и должно быть: мои предки, чтобы заполучить кобылу, просили верблюда.

И вот я хозяин целой комнаты шириной в два, длиной в шесть метров. Она была гордо названа аспирантской, ибо Дмитрий Викторович имел в виду, что со мной в этой комнате будет работать и Гайнитдин. Но Гайнитдин сумел доказать, что ему удобней остаться там, где он работал; уж очень ему не хотелось спускаться в плохо вентилируемый полуподвал. И комната досталась мне одному. Выход в коридор был забит, дверь в лабораторный зал открыта. Я и лаборантка Зина под руководством Варвары Кондратьевны убрали, побелили комнату, поставили лабораторный и письменный столы, шкаф для реактивов и химической посуды. Через неделю в комнате осталось свободного места столько, сколько необходимо было, чтобы я мог не стеснять свои движения в работе. Правда, плохо работала вентиляция, но в этом не было, казалось, большой беды, поскольку имелась форточка, которая при необходимости оставалась открытой. И вообще в этом отношении не приходилось особо привередничать, ибо, как изрекал Гайнитдин, наука требует жертв.

Зашел как-то вскоре Дмитрий Викторович и удивился тесноте в «аспирантской».

— Дмитрий Викторович,— попробовал пошутить я,— ваш аспирант должен хотя бы по этой части походить на нормального химика, ибо только недавно прочитал изречение одного большого ученого: тот не химик, которому вечером не будет тесно в комнате, которая была пуста утром.

Дмитрий Викторович обеими руками приподнял очки,

тыльными сторонами указательных пальцев потер глаза и, слегка улыбнувшись, сказал:

— Все будет хорошо, Мажит Муканович, трудитесь.

Дмитрий Викторович понимал, о чем говорю. Опыты, над которыми я корпел изо дня в день по диссертационной работе, не давали ожидаемых результатов, что меня очень тревожило. Когда об этом доложил Дмитрию Викторовичу, он успокоил меня:

— Было бы плохо, Мажит Муканович, если бы все получалось сразу. В науке надо пуще всего бояться того, что легко приходит. Вы уже показали на синтетических веществах, что главная химическая реакция, которую вы хотите использовать для перевода металла из сырья в раствор на чистых препаратах, протекает удовлетворительно. Если эта реакция пока не воспроизводится на вашем сырье, то это, вероятно, потому, что оно представляет природную смесь многочисленных веществ, и какое-либо из этих веществ мешает процессу. Давайте обсудим и попробуем предварительно разобраться, что же может мешать.

И Дмитрий Викторович очень пространно и подробно начал толковать мне о химических свойствах большинства веществ в сырье, с которым я работал, одновременно расписывал своим неровным почерком уравнения возможных химических взаимодействий в условиях моих опытов. Такую беседу Дмитрий Викторович называл «обсуждением», и слово «обсудить» было главным словом в лексиконе бесед, которые он проводил с сотрудниками, аспирантами и студентами, хотя на первых порах, например, мое участие, да и участие многих его учеников в подобных обсуждениях сводилось в основном к поддакиванию и к наклону головы в знак согласия. Пройдет некоторое время, когда и я буду довольно смело вставлять свои соображения, а иногда настаивать на них, но в данном случае, по мере «нашего обсуждения», я с ужасом стал убеждаться, что логика толкований профессора прямо вела к проведению большого количества опытов для выяснения причин многих неудач. Я понимал, что без этого не обойтись, и в то же время меня просто отпугивал выросший как будто из ничего такой громадный объем работ. И я брякнул с той непосредственностью, которая бывает присуща человеку при внезапно охватившем волнении:

— Дмитрий Викторович, это же новое исследование, как же я смогу...

Как только это сказал, с профессором произошло что-то совершенно для меня до сих пор неизвестное. Он резко положил ручку на стол, откинулся на спинку кресла и пальцами правой руки забарабанил по стеклу на столе; лицо его побагровело. Я не заметил, когда он успел откинуть очки на лоб, и только увидел его выпуклые глаза, которые, казалось, пронзали меня насквозь. Напрасно считали, что эти глаза невыразительны. Губы его задрожали, и он почти шепотом произнес:

— Можно, Мажит Муканович, вовсе не работать. Это легче всего...

Я сразу понял, чем вызвал гнев профессора. За моими бестактными словами он легко разгадал отсутствие во мне желания по-настоящему трудиться и ломать голову над непонятным. Я рассеянно молчал, опустив глаза. Молчал и профессор, только чиркнула спичка, и через некоторое время, которое было невероятно долгим, папираса его коснулась пепельницы и крупный кусок пепла скатился ко дну ее. Я ожидал грозной, уничтожающей филиппики, ожидал слов, от которых испытываешь боль почище, чем от плетки, и опускал голову все ниже. Но вместо этого услышал его примирительный и даже, казалось, извиняющийся тихий голос:

— Мажит Муканович, вы должны хорошо усвоить одну вещь. Вы, став аспирантом, избрали такой род деятельности, когда сами же себе придумываете массу все увеличивающихся хлопот. Эти хлопоты рождаются оттого, что вы постоянно ломаете себе голову над противоречивым и потому тоже непонятным в ваших суждениях по тому или иному научному вопросу. Ваша-то задача и состоит в том, чтобы понять это непонятное. Видите, нам невдомек, почему ваши опыты не дают ожидаемых результатов. Порассуждали мы с вами, и сразу выяснилось, что надо выполнить большое количество экспериментов. Вы обречены на это, и, пока заранее не поймете это, вас всегда будут постигать ненужные разочарования. В данном конкретном случае вы, по-видимому, ожидали, что вот профессор вам все разъяснит, вы будете заниматься намеренными до этого опытами, не отклоняясь. Неверно. Зачем бы мне заставлять вас работать над тем, что мне известно? Это — удел студентов, и то не всегда. Вы поймете, что на

научного руководителя тоже возложена нелегкая задача, ибо он:

«...должен пот тяжелый лить,
чтобы научить тому, что не понимает сам».

Видите, это еще Фаусту было известно. Правда, у нас с вами есть одно преимущество,— я не смотрел на профессора, но чувствовал, что он говорил уже чуть улыбаясь,— мы, по крайней мере, задачи эти ставим сами себе, редко когда получаем их со стороны; они, в общем-то, возникают неожиданно, как в данном нашем случае. Между прочим, в этом наше преимущество: мы не работаем по заранее заданному рецепту, и нас никто никогда не заменит автоматами. Уразумейте, молодой человек, эту вашу независимость, гордитесь ею и, пожалуйста, трудитесь. Результаты придут.

Когда наконец поднял голову и посмотрел на шефа, он, уставившись в пепельницу, мял окурок, и я почувствовал, что он невольно отводит взор от меня, считая себя виноватым за неожиданную вспышку.

Не знаю, что со мной произошло, я встал и как-то необычно взволнованно, с какой-то твердой, но вместе с тем сердечной решимостью сказал:

— Дмитрий Викторович, я все понял. Буду работать! Разрешите идти...

Дорогой друг, этот первый и серьезный урок того, как я должен относиться к научной работе, который преподавал мне Дмитрий Викторович, помню до деталей. Не знаю, так ли рассказал. Боюсь, что в моем рассказе он выглядит заурядным случаем, когда профессор поругал своего неразумного ученика, а потом, не долго думая, сменил гнев на милость. Очень не хотел бы, чтобы ты понял эту беседу с моим учителем так голо и схематично. Помню эту беседу в подробностях только потому, что этот, казалось бы, внешне незначительный случай раскрыл мне мое непонимание особенностей научной работы, откуда происходило невежественное и несерьезное отношение к ней. Я не просто понял свою глупость, а всем своим существом прочувствовал ее через удивительную внимательность и человечность моего профессора. Меня поразила его мгновенная реакция на мое согласие, которое я старался по-своему не выдавать, и то трогательное участие, которое он немедленно проявил. Я теперь только понял, почему все

на кафедре старались не расстраивать Дмитрия Викторовича каким-либо необдуманным поступком, понял, почему считалось неприличным не выполнить то или иное его поручение или выполнить не так, как он хотел. Помню, как один из аспирантов нашего института зашел по каким-то делам на нашу кафедру, похвалился холодной жестокостью и требовательностью своего руководителя. Гайнитдин засмеялся:

— А наш вообще ничего не требует, а мы стараемся, может быть, больше тебя.

При этом наш профессор вовсе не был всепрощающе сентиментальным человеком, он умел гневаться и быть жестким. Я эти выводы сделал после описанной беседы, и мне не раз приходилось в этом убеждаться в дальнейшем. В общем, тогда хорошо понял, что с этим человеком стоит работать, и нет большей чести, как делать ему приятное, добиваясь возможно лучших результатов в своей работе.

С этой решимостью я месяца три или четыре подряд, во многих случаях включая и воскресенье, приходил в семь утра и уходил в 10-12 часов ночи. Хорошо, что от общественных дел, отнимавших много времени в студенческие годы, был освобожден. Аспирантов в институте было немного, и партбюро очень берегло их время. Я не забыл, что я — крестьянский сын, который изменит себе, если не отстоит свое, когда «втемяшится в башку какая блажь». А блажь заключалась в том, чтобы прийти к Дмитрию Викторовичу только с результатами, которые доказывали бы осуществимость нашей идеи, ибо, вчитываясь, консультируясь с товарищами, все больше убеждался, что замысел правилен, и у меня все меньше места оставалось для сомнений, если не учитывать недостаточное умение работать. Между тем, выполняя намеченные эксперименты, получил довольно большое количество данных, которые, как я понимал, имели определенное научное значение, ибо подобные данные в доступной мне литературе не обнаружил. Я чувствовал, что набираются материалы на новую, более солидную, чем первая, статью. Но того результата, которого добивался, не получал, хотя каждый раз мне казалось, что вот-вот у цели.

У моего собрата Гайнитдина дела шли лучше, чем у меня. Он был уже давно на правильном пути, и теперь выполнял эксперименты с целью дальнейшего изучения всех сторон уже доказанного. Это было, конечно, легче,

чем заниматься доказательством еще недостаточно ясных предположений, то есть находиться на том этапе исследования, на котором я застрял. Гайнитдин не мог обойтись без юмора и как-то сказал мне:

— Слушай, ты читал, должно быть, об одном случае из истории науки... Но все же расскажу. Был у Резерфорда отчаянно трудолюбивый молодой сотрудник, постоянно торчавший за лабораторным столом. На ежедневный вопрос учителя: «Работаете?» — тот, не замечая нараставшего раздражения в голосе шефа, неизменно отвечал: «Да, сэр», — пока в один прекрасный день великий ученый не рывкнул: «Когда же вы, черт возьми, думаете?» Ты не полагаешь, что Дмитрий Викторович может подумать о тебе в подобном же плане?

Нет, я не полагал этого. Я считал, что успеваю и думать, и читать, так как отдельные эксперименты у меня длились по несколько часов и не всегда требовали постоянного наблюдения. Эти промежутки, как правило, использовал для чтения, консультации и обдумывания. Но все же, по-видимому, начинал уставать, и добрый друг Гайнитдин заметил это. Обратила на это внимание и твоя женей Майра Есеновна, потому что я стал грубить ей по поводу и без повода и к тому же стал спать не всегда глубоким сном, что присуще мне не было. А однажды тот металлический элемент, над извлечением которого я малоуспешно трудился, приснился мне в виде поросенка. Я увидел его в водоеме, наполненном раствором щелочи, применяемым мной в опытах. Когда же он вылез из него и отряхнулся, я прочитал в черных поперечных полосах на белом его теле латинское название моего металла. Я был рад тому, что металл наконец выделился, но мне было неприятно, что он был поросенком и что теперь, вопреки наставлениям матери, отца и всех предков — мусульман, должен держать это поганое животное в руках. От ласкового хрюканья поросенка мне стало не по себе, и я проснулся.

Снились мне лабораторные опыты по-разному, но сохранился в памяти только этот поросенок. Когда рассказал свой сон Гайнитдину, он изрядно посмеялся и всерьез добавил:

— Этот поросенок не случайно тебе приснился. Тебе не меньше, чем на два месяца, надо завалиться в тартарары и постараться забыть все, пока мысли не вернутся

в каком-то свежем виде. Видно, что ты, как говорят, дошел.

И в самом деле, на улице была весна, в нашей зеленоющей столице буйствовали акации, а я, подделываясь под подвижника науки, торчал в мрачном загазованном полуподвале над малоудачными опытами. Я вдруг почувствовал, что мне эта лаборатория осточертела. Меня охватило какое-то равнодушие ко всему, что делал, потянуло в родные края, к матери, братьям, в свой аул. Решил обратиться к профессору, чтобы он дал мне отпуск. Я и ранее думал об отпуске, но полагал, что обращусь к нему лишь после того, как получу давно ожидаемые результаты опытов. Ожидаемые данные не получались, и я медлил, боясь, что профессор обязательно спросит о ходе не очень удачно протекавших дел. Теперь, после внезапно овладевшего мной безразличия к работе, мне показалось, что это не имеет никакого значения, если спросит, расскажу о том, что сделал, а еще более о том, что собирался делать. Я уже чувствовал, если даже профессор не разрешит мне отпуск, все равно не приду в лабораторию в ближайшие дни. В конце концов, не все ли равно, думалось мне, живут же другие люди без этих почти круглосуточных непрерывных забот, без всяких одуряющих дум, когда желанная удача вдруг уходит, ускользает и маячит, дразня своим хвостом из отдаления. Может быть, все это не для заурядного сына крестьянина-пастуха, сохранившего в себе инстинкт жить «не мудрствуя лукаво...»

Я зашел к профессору и, не предваряя ни словом о работе, попросил, чтобы он разрешил мне отпуск на положенные два месяца. Дмитрий Викторович, потирая руки (это свидетельствовало о хорошем настроении), посмотрел на меня и сказал:

— Что ж, Мажит Муканович, отдых всегда необходим. Поезжайте и будьте до тех пор, пока не потянет снова в лабораторию. От отдыха тоже часто тянет к работе. Пожалуйста! — При этом он так улыбнулся, как будто я доложил ему по меньшей мере о результатах научного открытия.

Ушел, чувствуя, как мое уныние сменяется удивлением. И было от чего удивляться. Профессор одобряюще улыбнулся в то время, когда мой унылый вид явно свидетельствовал, что ничего хорошего ему не могу доложить.

Всезнающая и мудрая Варвара Кондратьевна дала этому обстоятельству свое объяснение:

— Напрасно ты думал, что он будет спрашивать о работе. Он не будет спрашивать. Он верит в тебя. Поэтому он будет ждать до тех пор, пока ты сам не найдешь нужным доложить. Нервировать и беспокоить тебя не будет.

Это был, пожалуй, новый, внешне незаметный, но решающий нюанс в отношении моего шефа ко мне. Ныне с ужасом себе представляю, что было бы, если профессор в тот момент стал бы меня прямо или косвенно упрекать в отсутствии результатов в проведенных исследованиях. Полагаю, что ушел бы и не вернулся. Таково было у меня тогда настроение.

И вот приехал в аул. Приехал не тощий студент, а порядком раздобревший аспирант, и этим произвел на своих сородичей большое впечатление. К тому же приехал не с пустым чемоданом, как было ранее, а с подарками семье, близким, ибо, освободившись от лабораторных бдений, успел посидеть дома и подзаработать, накатав статейку для радио и выполнив перевод для журнала. Только трудно было объяснить старшим в ауле, что такое аспирант. Пришлось сказать, что теперь учусь, чтобы учить таких студентов, каким был сам недавно. Это многим понравилось, ибо мугалим-учитель в народе был издавна уважаемым человеком.

В ауле жили веселее, чем раньше. Проблемы хлеба насущного были решены, и люди теперь были полны дум о многом таком, что возвысило бы их завтрашнее над сегодняшним. И у нас в семье наступало время достатка. Только не было в ауле бабушки и Алжигана-ата. Они покоились на родовом кладбище. На другой день утром дядя Актай и я пришли на кладбище и молча посидели на корточках перед могилами наших любимых стариков. В моей грусти не было печали. Хорошие люди, думалось мне, отжили свое, оставив в сердцах потомков и близких только добрые чувства; и хоть память об этих простых людях не будет вечной, они исполнили свой человеческий долг перед нами, ибо воспоминания о них, о их много-трудной, но честной жизни будут всегда предостерегать нас от всего неправдивого, фальшивого и неблаго-родного.

Отдавши дань ушедшим аксакалам, почтивши их ару-ахи, я пришел приветствовать живого аксакала Акменде,

ставшего теперь, после смерти Алжигана-ата, старшим в роду. Молчаливый и угрюмый старик сидел за починкой уздечки. После положенных приветствий он спросил меня:

— А где келин?

— Келин осталась дома.

— Ну, молодец, ты же джигит из нашего рода. Не люблю этих образованных, что вечно за собой жен таскают.

— Она через две недели приедет...

— Ну и пусть едет... Не вместе же с тобой... Не таскайся вместе, обабишься! Джигит должен быть свободен, как сокол.

Совет аксакала был серьезным, без иронии, мне не хотелось показаться ему джигитом не из нашего аула, я наклонил голову в знак того, что принимаю его благое наставление. Выйдя от аксакала, я и мой сверстник Куан, сопровождавший меня, разразились смехом; этот «мудрый» совет аульного старика долго служил темой шуток моих сверстников.

Проболтавшись в ауле с неделю, а то и более, я уже стал было скучать, когда приехал из райцентра мой дядя — конюх Жактай.

— Галчонок мой,— обратился он ко мне,— ты в этом году собираешься на сенокос, или уже аул наскучил и не терпится увидеть свои книги, каменные дома и каменные дороги?

Дядя был против всего городского, считал, что там все одето в камень и поэтому люди там черствеют.

— Нет, Жактай-ага,— сказал я,— поеду с тобой по-прежнему на сенокос. И впредь каждый год буду с тобой косить сено.

...Дорогой друг, знаешь ли ты степную реку, ту реку, которая, выжурчав ручейками где-то в плоскогорьях Сары-Арки, затейливо вьется затем по Караоткельским равнинам, прорезает все глубже и шире тучные черноземы с березовыми рощами, которые ныне превратились в целинные поля, и несет свои воды туда, на север, стремясь соединиться с могучим Иртышом? Нет, ты плохо знаешь ее, эту степную реку, потому что ты родился и жил в детстве вдали от нее, и не мог видеть в те времена, когда она каждой весной внезапно раздувалась, заполняя свою просторную пойму, раздвинувшуюся местами на добрый десяток и более километров в поперечнике. Ты не видел, да и не мог видеть, как у нашего аула, словно по

волшебству, образовывалась морская гладь, по которой стремительно неслись куда-то вдаль, в холодные края, льдины, бревна, вырванные с корнем громадные ветвистые деревья, плетни, бесчисленное множество каких-то обломков и всякой всячины, что и не разгадаешь, чем они были до того, как их взяла в свои студеные объятия разбушевавшаяся стихия. Удивительное это было зрелище: пробежишь от аула двести-триста метров, поднимаешься на гору, левее кладбища, и перед тобой открываются бескрайние водные просторы, и так как во время полноводья за туманом, парящим над водой, скрывался соседний, находящийся от нас в десяти-одиннадцати километрах заречный аул, то создавалась чаровавшая мальчишеское воображение иллюзия океанской безбрежности: замечтаешься чуть, и кажется, что ты стоишь на берегу всамделишного моря и что вот-вот покажутся мачты кораблей, а, может быть, дымящие трубы пароходов из сказочных заморских стран. Ненадолго хватало у нашей, в общем-то, смирной реки весеннего буйства. Побурлив разъяренным верблюдом день или два, она внезапно опадала и, как-будто извиняясь перед всеми за свои безумства, скромно возвращалась в свое узенькое русло, оставив наполненные до краев речные озера-старицы, бесчисленные лужи и лужицы, промыв и очистив густые тальники и выкошенные поляны от гниющей прошлогодней травы и листвы, от всего того, что нашло затхлый покой в тихих лощинах и зарослях пойменного низовья, от беспокойно дующих ветров. В эти дни так и хочется пробежать, посмотреть на то, что оставила моя река после безумной ярости своей, но потребуется время, пока подсохнет почва и ребятишки аула смогут веселой ватагой, вооруженные острыми крюками и сачками, отправиться на легкий, но занятный промысел: ловить рыбу, не успевшую уйти с большой водой, застрявшую в подсыхающих лужах и глупо метущуюся.

Нет, мой дорогой друг, не знаешь ты мою реку, ибо ты не видел и не мог видеть ни ее грозных, бушующих разливов, ни ее смиренного журчания, когда летом ужималась она настолько, что всадник переезжал в иных местах ее броды, не задевая даже стремянем бегущую волну, ни ее тучных пойменных лугов, где в самые жаркие дни начинали, перекрывая птичье многоголосье, звенеть литовки косарей, и вырастали стога, ни ее глубоких и тихих стариц, поверхность которых, оберегаемая от степ-

ных ветров-анызак свисающими с берегов густыми тальниками, не всколыхнется ни разу, ни купания в старичной воде, когда, бросившись в мягкую, бодрящую глубину, выплываешь и в блаженной радости смотришь на круги, плавно расходящиеся от тебя, мерно колыхая широкие лепестки кувшинок. Нет, ты не знаешь эту реку, ибо ты увидел ее совсем не моей, ты увидел ее в теперешнем виде, когда человек навсегда предупредил весеннее буйство капризной красавицы, создав на пути ее высокие каменные плотины-пороги со шлюзами, большие рукотворные озера и даже настоящее море, которое народ называл Целинным. И мальчишки нашего аула тоже не знают мою реку, для них существует не река, а море, которое привычно плещется ныне рядом с их домами, у тех мест, куда иногда доходила речная вода в дни ее короткого бесшабашного весеннего безумства.

Конечно, мой дорогой друг, никого теперь не убедишь в том, что река моей юности была лучше теперешней. Сказочна была, когда Целинное море ныне, сберегая в громадном объеме своем бесцельно уходившую когда-то воду весенних разливов, стало как бы сердцем, от которого, словно артерии, расходятся на десятки и сотни километров в далекие степи водоносные трубы, оживляя благодатной влагой бескрайние поля и луга, отчего люди, еле прокармливавшие сами себя, теперь живут в крае большого хлеба и думают о том, чтобы веселей была ежегодная доля, вносимая ими в закрома Родины. И все же как-то грустно оттого, что теперь нет реки, что никогда она отныне не повторится ни при живущих, ни при грядущих поколениях. Интересна эта грусть о безвозвратном: так, расслабленно укачиваясь в комфортабельной легковой машине, мчащейся по современному шоссе, мечтаешь прокатиться на рысисто-м коне, хотя прекрасно знаешь, что конь — безнадежно отсталый вид транспорта, что твое рыхлое тело, изнеженное мягкими, удобными сиденьями, растрясется за несколько минут от упругого топа лошади, вовсе неупруго отдающегося на жестком седле. Грусть эта совершенно противоречит логике наших стремлений, логике научноразумного устройства жизни, и, тем не менее, она существует, и не потому ли, дорогой друг, мне чем далее, тем подробнее вспоминается, как мы с Жактаем-ага в тот год в последний раз поехали косить сено на лугах реки моей юности

Мы с Жактаем-ага едем в телеге, доверху нагруженной жердями для шалаша, косами, лопатой, утварью, одеждой, постельными принадлежностями, словом, всем тем, что необходимо для нашей жизни на сенокосе. Жактай-ага был человеком быстрым на решения, но в то же время и обстоятельным; хотя место, где мы ежегодно косили, отстояло в каких-то пяти-шести километрах, дядя собирался туда так, будто выезжал чуть не за сто верст, ибо он считал, что на сенокосе не к чему мотаться в аул и отрывать от дела. Телега спокойно катит за большой серой кобылой, почти такой же, какая была у нас.

Три раза при спусках приходится нам слезать с телеги и закладывать между спицами задних колес палку для торможения, ибо дынина серушка имеет обыкновение при каждом спуске пускаться в галоп, что того и гляди растрясет или даже опрокинет телегу. Рядом с телегой возбужденно и радостно мотается рослый, пегий жеребенок, довольный тем, что не томится на привязи.

Въезжаем в луга. Пойменная трава стоит стеной, касаясь брюха кобылы, Серая невольно переходит на шаг. Телега, кобыла, жеребенок — все так безжалостно подминают траву, оставляя глубокие следы, что Жактаю-ага, знающему цену пойменного сена, становится не по себе, он подгоняет лошадь, торопясь доехать до места стоянки, как будто от этого трава будет поднята в меньшей степени. Наконец мы останавливаемся возле колбаской вытянувшейся поперек поймы Узун-карасу (длинной старицы), у берега, что со стороны реки. На этом уголке нашей любимой старицы есть песчаный бережок. Там любит прохлаждаться в жаркие дни Серая, спустившись по некрутому откосу и войдя чуть не всем телом в воду. В этот первый день и вообще на сенокосе у нас с Жактаем-ага обязанности строго распределены, и я делаю все, что мне полагается, не получая дополнительных распоряжений. Соскакиваю с телеги и хватаю за уздечку жеребенка, который уже тянется к сосцам, не зная, что молоко более, чем ему, необходимо нам, косарям, на кумыс. Привязываю жеребенка к заднему колесу, не за дробину, иначе сильный и беспокойный малыш может потащить телегу в сторону. Далее распрягаю чуть подпотевшую Серую и привязываю к телеге с противоположной стороны, чтобы жеребенок не мог дотянуться до вымени. Сложив сбрую аккуратно у телеги, беру косу, доставшуюся мне от отца. Старая отцовская коса! Она

сточилась настолько, что стала узенькой, изогнутой на конце в орлиный клюв полоской стали, но я продолжаю косить только ею, так как мне кажется, что никакая другая коса, будь она новой и красивой, не может быть удобней и ходче, чем эта старенькая, отцовская... Я не могу ее заменить новой, я привык к ней, привык к ее потемневшей от времени, но удобной для моих рук рукоятке, к ее звуку, становящемуся звонче, как мне кажется, по мере того, как стачивается сталь, к ее, как теперь бы выразились, элегантной легкости, ибо отец был мастером делать орудия домашнего труда прочными и красивыми. Словом, достаю отцовскую косу, острым концом длинной, соответствующей моему росту, рукоятки упираюсь об землю и привычным движением провожу по лезвию брусом. Прерывистый звон от соприкосновения бруска с косой приятно раздается в ушах и возбуждает меня. Чувствую прилив сил, передо мной встает образ знаменитого в нашем роду (и вовсе неизвестного за пределами его) косаря Нысанбая, о котором рассказывали, что он, выехав на сенокос, несколько дней подряд прохлаждался в шалаше, распивая кумыс, а потом косил сутками, не отдыхая, и выкашивал за десятерых. Тут же появляется Есенин:

Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был,
Размахнись косою, покажи свой пыл.

И начинаю размахивать косою. Беру чисто, хорошо, под корень, и длинностеблистая трава ложится красивым, плотным, бугристым, как грива у породистого коня, валком; под короткой щетиной стерни обнажается ровная, тщательно вымытая весенним половодьем, желтая поверхность почвы. Машу, кажется, недолго, но пот катится с висков, снимаю сорочку, майку и продолжаю косить, ибо надо соорудить шалаш, покрыв его толстым слоем свежей травы, так как только свежая, влажная трава слеживается достаточно плотно, чтобы не пропускать дождь. Кошу, размахивая косой картинно и со спокойным достоинством, как бывалый косарь, но это мне дается с трудом, сердце бьется часто и тяжело, дышу, как будто не хватает воздуха, чувствую, что надо сделать передышку, но стыдно дяди, потому что кошу-то всего минут десять-пятнадцать. Иду на хитрость: точу косу, хотя она еще не успела затупиться. Хитрость эту дядя легко улавливает, но делает вид, что не замечает моего состояния,

и занимается своим делом, связывая концы жердей для шалаша. Пока выкосил поляну, достаточную для того, чтобы не топталась свежая трава, с меня сошло три пота, мне уже было не до деда Нысанбая из нашего рода, аруах которого остался явно безучастным ко мне, и не до Есенина с его крестьянским пылом.

— Располнел ты, галчонок мой, в нашем роду таких никогда не было. Придется делать выстойку-танасу,— говорит дядя и с жалостью смотрит на меня.

Я знал, что такое выстойка-танасу. Лошадь, набравшая тело на выпасах, в первые дни разездов сильно потеет и быстро устает. Для того, чтобы такую лошадь ввести в форму, нужно несколько дней подряд, все увеличивая ежедневную нагрузку, выдерживать на приколе до утра, чтобы с нее сошел жир, освободился от лишнего желудок и подтянулся живот. Нечто подобное решил применить Жактай-ага и по отношению ко мне; хотя я не был лошадей, но раздобрел, как конь на воле. Солнце еще было высоко над горизонтом, голодать до завтрашнего дня не очень улыбалось, но я привык выполнять сказанное Жактаем-ага, беспрекословно.

Сооружением шалаша, как делом очень ответственным, продолжает заниматься дядя, я же беру топор и иду в тальники за дровами: там всегда найдется мешающее зеленой поросли старье.

— Береги ноги, осторожней руби,— напутствует вслед Жактай-ага, он неизменно и дословно повторяет это предупреждение лет пятнадцать или двадцать, с тех пор как я впервые при нем взял в руки топор.

Пока натаскал ветвистого сухостоя, перерубил, выкопал яму для очага, перекатил телегу в подветренную сторону будущего костра, наполнил ее до краев травой и, с удовольствием глядя, как мать и сын со сладким фырканьем воткнули морды в зеленую кучу, потрепал пегого чертенка за холку, дядя уже закончил сооружение шалаша; зеленым красивым конусом возвышался наш шалаш на поляне, и я знал, что даже при ливневом дожде, который в наших местах не редкость, ни одна капля воды не просочится внутрь — так умел наслаивать на раздвинутые в конус веером жерди сырую, тяжелую траву Жактай-ага. Я сбегал к старице за водой и, наполнив наш небольшой казан, разжег под ним костер, ибо я знал, что Жактай-ага после окончания всех хлопот сядет у очага и, обливаясь потом, будет долго пить чай. Он взял отмытое

от пыли деревянное ведро, и мы в последний раз в этот день подоили кобылу. Я подпустил жеребенка и, как только он начал смачно сосать, оттянул его от вымени; место пегого сосунка немедленно занял дядя, который, полуопустившись на правое колено, проворно заработал пальцами обеих рук. Молочные струйки глухо, непрерывно забили о дерево ведра: дядя никогда не доил в металлический сосуд, считая, что встревоженная громким звоном кобыла неохотно будет давать молоко. Здесь, на сенокосе, придется доить серую не менее шести-восьми раз в день: на сочной пойменной траве старая кобыла будет питать с избытком не только нас, но и косарей из соседнего аула, что будут забредать к нам для выражения почтения дяде и не без расчета на угощение; к тому же Жактай-ага будет накапливать тунемель¹, с нетерпением ожидая шумной ватаги отпрысков деда Нурбая во втором колене. Поэтому мы с Жактаем-ага по вечерам будем неистово толочь писпек-мешалкой в большом турсуке, чтобы выбить кислую горчинку с отбродившего молока и размягчить вкус кумыса.

Солнце склонилось к закату, земля начинает мягко выдыхать тепло, накопленное за день, и душные волны его поднимают с собой комарье, прятавшееся в траве от прямых солнечных лучей. Комары, нудно жужжа, беспокоят Серую и жеребенка, и я прибегаю на помощь, насылая на них спасительный дым. Самый лучший источник устойчивого, плотного, расползающегося дыма — это лошадиный помет, имеющий свойство медленно тлеть, не сгорая, но сегодня этого помета еще мало, приходится довольствоваться сырой травой, положенной на горящую головешку, хотя она, эта трава, легко сохнет и сгорает, недолго подымив.

Дядя ритуально долго пьет чай, я же, голодный, обреченный на выстойку, отвлекая себя тем, что подерживаю дым, отгоняя им комаров от Серой и жеребенка. Вскоре наступает ночная прохлада, комар, прожужжав живительный для него промежуток времени между днем и ночью, снова прячется в траву. Жактай-ага завершает свой вечерний намаз, я же, потушив костер, забираюсь в шалаш и, быстро раздевшись, падаю на нехитрую, но свежую и мягкую от подложенной травы постель. Чувствую неприятную пустоту в желудке и тем не менее легко

¹ *Тунемель* — кумыс, выдержанный несколько дней.

засыпаю, успев улыбнуться обрывку налетевшей мысли; это тебе, брат, не научная работа, когда, возбужденный какой-то (чаще всего нелепой) думой, беспокойно ворочаешься с боку на бок в удобной постели в уютной городской комнате.

Что такое хороший сон? Это когда утомленный человек добирается до желанной лежанки и, бездумно быстро и легко окунувшись в небытие, тут же, через мгновение раскрывает глаза, обнаруживая, как стало необыкновенно ясно в голове, как упругая бодрость овладела телом, как улетучились всякие сомнения в счастливом и целесообразном предназначении жизни. А потом выясняется, что в это мгновение уместилось не менее трети суток, что восемь-девять часов пролежал человек на одном боку, не шелохнувшись, что не только не было каких-либо разрывов в сне, но и не было никаких сновидений, и поэтому полностью отсутствовали внутренние ориентиры, чтобы судить о длительности пребывания в этом цельном состоянии. Такой сон может быть только в сельщине, в поле, на сенокосе. Проснувшись и рассуждая таким образом, я ловлю себя на том, как моя голова уже настолько приспособилась ко всякого рода мало необходимым умственным упражнениям и настолько стала некрестьянской, что даже и сейчас я лежу и толкую про себя на совершенно ненужную тему, вместо того, чтобы устыдиться своего долголежания, вскочить и бежать с литовкой в руке к Жактаю-ага. Он как всегда встал с зарей, чтобы не пропустить ту счастливую пору для косаря, когда трава, размягченная утренней росой, подсекается так легко и так беззвучно, что можно было бы подумать, что коса ходит вхолостую, если бы не плотные, мокрые валки, лежащиеся слева, удлиняясь и лоснясь под скользящими горизонтальными лучами только что оторвавшегося от края земли солнца, ту пору, когда бодрящий прохладой воздух, вдыхаемый во всю грудь, растекается по телу, наполняет его удалой упругостью в движениях и верой в нерастраченные силы. Я дотягиваюсь до мешковины, которой дядя занавесил входное отверстие, и густые лучи порядком поднявшегося солнца разливаются по шалашу, внося вместе с бьющим в глаза светом нежное тепло. Выхожу из шалаша, чувствуя легкую и приятную боль в плечах и поясице от вчерашних маханий косой. Полянка у шалаша уже вся выкошена и трава лежит в ровных валках, а дядина коса звенит за широким таль-

ником. Бодро иду к старице, быстро умываюсь и с жадностью порядком приголодавшегося человека опрокидываю в себя добрую чашу кумыса, что Жактай-ага не забыл отлить из турсука и приготовить для меня, беру косу и иду к дяде, который успел оголить порядочную площадь луга. Он останавливается, поворачивается ко мне потным лицом, на котором я чувствую удовлетворение тем, что «галчонок» его здоров и весел. Достая из-за пояса и надеваю на руки предусмотрительно сшитые матерью варежки из мешковины, ибо она точно знала, что ладони интеллигентного сына не выдержат соприкосновенья даже с гладкой поверхностью рукоятки косы и покроются волдырями за первые полчаса работы, как оно и было на самом деле. Поводив, как положено, брусом по лезвию косы, становлюсь за дядей, подчиняясь его ритму и радуясь тому, что коса моя берет так же широко и чисто. Я знаю, что Жактай-ага мне не даст долго косить, час до обеда и, может быть, час-полтора после обеда, ибо, пока я приобрету форму более или менее надежно выезженного коня, я должен подчиняться нормам работы и еды, которые он строго установил для меня со вчерашнего дня.

Дорогой друг, мне так и хочется продолжать смаковать подробности того, как я косил, копнил и скирдовал в то лето, живя в шалаше, питаюсь квашеным кобыльим молоком и купаюсь в старице. Эти подробности воскресают перед моими глазами во всех деталях, может быть, потому, что они никогда теперь не повторятся не только для меня, но и для других поколений. Поехал я недавно в аул, моих лугов нет, но есть безбрежные поля, густо заросшие сеянными травами, по которым ползает большая машина, похожая на громадного паука, она аккуратно стрижет поле и выбрасывает кирпичики спрессованного сена. Кто же теперь, после этого, будет ходить с дедовской косой за плечами?

Подходила к концу третья неделя моей жизни на сенокосе. Она была приятно разнообразна выездами в аул по воскресным дням, рыбалкой с наезжавшими ко мне товарищами, купаниями, беседами. А потом произошло следующее. Купался я однажды в старице, испытывая то особое наслаждение, которое, наверно, знакомо лишь человеку, всхрапнувшему часок-другой после напряженного трудового утра, спрятавшись от полуденной жары в прохладном шалаше, и затем тут же попавшему

в бодрящие объятия мягкой старичной воды. Помню, как плавно, осторожно вынырнув из воды, я, следуя «мудрому» совету Козьмы Пруtkова, с улыбкой стал считать круги, расходящиеся от меня. И вдруг именно в этот момент (сейчас почему-то мне кажется, что именно в этот момент) водяные круги «превратились» в химические уравнения и формулы, и с этого мгновенья они не покидали меня, возвращаясь все чаще и чаще. Меня поразила ясность, установившаяся в голове и позволяющая мне здесь, на лугах, без помощи книг, к которым прибегал там, дома и на работе, без помощи товарищей, с которыми обсуждал свои научные злоключения, легко анализировать все, что мною сделано, и с уверенностью находить те пункты, где допустил ошибку и сделал лишнее и ненужное вместо того, чтобы делать совершенно другое, нужное и необходимое. Стал даже мысленно подшучивать над собой: не хлестаковской ли природы эта необыкновенная ясность мыслей? Как это проверить? И вот с этого дня потерял всякий интерес к сену, которое мы с дядей уже скопнили, и нам оставалось теперь сложить его в круглые скирды-чучаки, и ко всей жизни на сенокосе, которой до сих пор с упоением наслаждался.

Жактай-ага с грустью заметил задумчивость на моем лице и стал смотреть на меня с прежней знакомой мне жалостью. Я знал истоки этой жалости. Он очень любил меня. И поскольку я был старшим во втором колене от деда Нурбая, он считал, что вся остальная поросль будет и должна равняться по мне, и он очень хотел, чтобы из меня вышел достойный сын нашего рода, вышел джигит, по всем статьям соответствующий тому образу мужчины-батыра, который сложился в его представлении. Такой джигит-батыр из меня не получался. Жактай-ага всю жизнь имел дело с лошадьми и знал их повадки. Он учил меня, что в обращении с ними надо проявлять спокойную властность, что лошадь — умное животное и оно не любит несмелых и нерешительных. Стоит своенравной и норовистой лошади почувствовать слабость человека, как она постарается лягнуть или укусить. Я не раз был свидетелем, как Жактай-ага хладнокровно успокаивал злых лошадей, обращаясь с ними без какой-либо опаски. У меня это не получалось, я боялся подходить к незнакомой лошади, особенно сзади, хотя дядя настойчиво учил меня, что это менее опасно, чем подходить спереди, ибо при быстром приближении животное не

успевают взять размах для лягания, тогда как укусить оно может всегда. Жактай-ага несколько раз пытался научить меня прыгать на коня и спрыгивать с него на скаку, у меня это не получалось, и, главное, он чувствовал, что у меня нет к этому желания. Он видел, как в детские и отроческие годы со мной легко справлялись мои сверстники, и сокрушался не тем, что племянник оказался слабым физически, а более всего тем, что в нем не было бойцовской злости и он легко мирился с положением побежденного. Ему было очень грустно оттого, что он во мне не видел ни одного из тех качеств, которые были у Алжигана-ата и его сподвижников, к которым Жактай-ага с гордостью относил и себя. А быть сподвижником и соратником Алжигана-ата было, по-видимому, нелегко. В этом я убеждался каждый раз, когда брил голову Жактаю-ага. Это была трудная работа, потому что кожа на голове аксакала была густо и затейливо перерезана рубцами, заселена шишками и углублениями, каждая из которых имела такую историю, что я на месте дяди не выдержал бы ни одной из них. Видно было, что по этой голове прохаживались столько раз и с такими усилиями, что я всегда диву давался, как сохранился дядин череп. Когда однажды, приступая к бритью, похвастался, что ни один искусный косарь не сможет пройти косой, не рискуя поломать ее, по этим оврагам и лощинам и что на это способен только я, Жактай-ага вздохнул: «Галчонок мой, как хорошо, что ты не увидишь того, что я видел в молодости. Не сдобровать бы моему черепу, если бы не пришла Советская власть. Во мне кровь кипела, когда я видел кичащихся силой и косяками. И не было бы ни одного из этих рубцов, если бы я дрался с теми, кто был слабее меня. Беда была в том, что били меня больше, чем я их. К тому же из-за таких, как я, страдали родные, близкие. Так что на душе рубцов было больше, чем на голове. И эти ничего не значили по сравнению с теми, что на душе». Брил я дядиным большим перочинным ножом. Нож этот дядя любил, носил в кармане в специальном кожаном чехле и в свободное от других дел время часами точил его, поплеывая на брусок и пробуя лезвие на своей бороде. Жактай-ага был убежден, что ни одна фабричная бритва не может быть острее его ножа. Я же был совершенно противоположного мнения, хотя, щадя дядино самолюбие, молчал об этом. Помню, как, размягчив жесткие волосы дяди теплой водой (мыло для этого он

не считал необходимым применять), я пальцами правой руки с силой оттягивал кожу и начинал основательно давить лезвием ножа под корень щетины; лезвие медленно двигалось вперед, не столько подсекая, сколько варварски сдирая волос с неровной поверхности головы. Такое бритье мог терпеть только Жактай-ага. Я знал, что Жактай-ага не признавал такие чувства, как боль и страх. Он страстно хотел, чтобы я вырос смелым и бесстрашным. Но я, по его понятиям, рос трусливым и боязливым. Ему было больно за меня, он был неуверен в моем будущем, ибо он полагал, что жизнь есть жизнь и под солнцем в ней всегда будут находиться люди смелые и решительные. Вот почему он смотрел на меня с жалостью.

К тому же Жактай-ага замечал в моем поведении что-то такое, что он относил к людям не от мира сего, к людям, заранее обреченным на неудачи и несчастья. Дело было в том, видимо, что я, заимев привычку размышлять над читаным и виденным, уходил в себя более часто, более длительно и совсем не вовремя, чем это должно было быть для здорового человека по нормам, подсказываемым дяде его жизненным опытом. А нормы эти складывались из того, что до меня в нашем роду не было ни одного человека, державшего книгу в руках, во всем ауле не вспоминался ни один родич, листавший печатные страницы, кроме страниц корана, и дяде не были знакомы люди, имевшие навыки длительного, упорного размышления. Жактаю-ага очень нравилось, что учусь я хорошо. Ему было по душе мое увлечение книгами, он не переставал хвастаться перед своими друзьями, показывая книги, которые я читал. Предметом особой гордости дяди был толстенный том Пушкина, изданный к столетию со дня рождения поэта, ибо ни Жактаю-ага, ни его сверстникам книгу такой толщины не приходилось видеть. Я с детства был не лишен тщеславия и приносил эту книгу из библиотеки ради дядиного хвастовства, хотя читал из нее только сказки и «Руслана и Людмилу», остальной же Пушкин был в то время выше моего понимания. А когда однажды меня в школе премировали ситцем на рубашку, месяца два висела эта цветная материя на видном месте, и дядя каждому пришедшему рассказывал, что вот его «галчонок» получил это за отличную учебу. Но уже после шестого или седьмого (точно не помню) класса моей учебы дядя вслух заявил, что теперь Мажиту не к чему продолжать учиться, что для человека из рода,



Бальтай Букетова.
Мать Евнея Арстановича.



На сенокосе в родных местах.



Евней Букетов с однокурсником Орынсеитом Нурекиным, 1949 год.



В минуты отдыха с лучшим другом Алексеем Ивановичем Перевертуном.



Во время Всесоюзного совещания химиков по халькогенам и халько-
перидам. Е. Букетов, В. И. Спицин, академик АН СССР, Герой Социа-
листического Труда, и Сонгина О. А., доктор химических наук, профессор,
член-корреспондент АН Казахской ССР, 1979 год.



С сыновьями и племянниками. 1981 год.



У юрты.



Евней Букетов и скульптор, народный художник Казахской ССР
Хакимжан Наурызбаевич Наурызбаев. 1981 год.



Мемориальная доска на химико-металлургическом институте
в г. Караганде.

не имевшего ни одного грамотного, этого достаточно, ибо длительная учеба, если к ней нет навыков в крови, может испортить человека. Это он заявил серьезно и недвусмысленно, с жалостью и с тоской наблюдая за задумчивостью, которая слишком часто и некстати, как казалось ему, появлялась на лице племянника. Правда, он промолчал, не настаивая на своем, когда бабушка, отец и другие близкие не поддержали его. Говорить же открыто о своих опасениях он просто не мог, у него на это не поворачивался язык.

В этот последний приезд он остался доволен мной, увидев меня раздобревшим, веселым и уверенным в себе. Ему показалось даже, что с моего лица исчезла тревожившая его задумчивость. Это было и на самом деле так. Мне, как я уже писал, осточертели думы о лабораторных опытах и обо всем, что связано было с моей научной работой. Я, очевидно, сильно устал, и защитная реакция организма была такова, что я некоторое время совершенно ни о чем не размышлял, окунувшись в радости милой и знакомой мне аульной жизни с ее нехитрыми хлопотами. Оказалось, что это было ненадолго. Дядя с жалостью смотрел на меня, но это уже была не прежняя жалость к обреченному родному дитяти; в ней не было прежних опасений за мое здоровье и за мое будущее. Жактай-ага понимал, что его племянник — человек нового времени, новой жизни, нового труда, и он сказал бы, если б знал, о судьбе своего любимого «галчонка» словами поэта: «Миражи иные тебя ожидают, иные заботы». Он теперь не только мирился с этим, но и сознавал необходимость этого. Но все же ему было жаль, что родные люди, которым, казалось, испокон веков суждено вместе жить одними помыслами, будут находиться теперь вдалеке друг от друга и иметь в душе совершенно разные, но роднящие интересы. Это в голове Жактая-ага никак не укладывалось, и от этого ему было очень грустно. Лет пятнадцать еще прожил Жактай-ага после нашего сенокоса. Он радовался невиданному достатку, в котором стали жить теперь люди аула. Он стал привыкать к тому, что отрывались, как ломти хлеба, самые близкие люди. Уехал не только я. Стали разъезжаться без надежд на возвращение сначала на учебу, а потом на работу по специальности его собственные дети. Он был не против этого. Он знал, что это нужно, что этого требует новая жизнь. Он видел мои успехи в «книжной» работе, приезжал,

радовался, хвастался среди сверстников в нашем и окрестных аулах достижениями своего «галчонка», но при всем этом не сходила с его лица грусть. Ему была совершенно непонятна прелесть такой жизни, когда занятия человека — это сидение за столом, когда человек в повседневной жизни не может радоваться своей сноровке, своей ловкости и смелости, используя для этого руки, ноги, мускулы, данные ему богом. Ему была непонятна жизнь, когда люди, родные по крови, должны отдаляться друг от друга, черствея сердцем, душой и теряя при этом родственные чувства. Приезжал Жактай-ага ко мне и, проговорив со мной ночь, рассказав с занятыми подробностями об аульных новостях, радуясь тому, что его «галчонок» не потерял интереса к жизни в отчих степях, интереса к его стариковской, как он говорил, болтовне, на другой день после утреннего чая неизменно обращался ко мне: «Галчонок мой! Покупай завтра билет. Приехал, увидел вас живыми и здоровыми. Этого мне достаточно». Никакие уговоры остаться на несколько дней не помогали, ибо он не мог жить в условиях, когда, встав утром, не находит под рукой привычные орудия труда наподобие лопаты, топора или вил. Не было для него ничего скучнее безделья, скучнее жизни без движений, без привычных физических усилий.

Дорогой друг, всплывают в памяти такие подробности из жизни Жактая-ага, о которых так и хочется поведать. Чувствую, как меня снова и с большей, чем прежде, полнотой захватывают те, может быть, недостаточно оцененные радости времени, когда я находился рядом с родным человеком с неповторимой цельной натурой, с человеком, жившим удивительно деятельной и очень нескучной жизнью. Жактай-ага немало пережил духовных и физических болей, но не превратил эти боли в страдания, ибо ему не были ведомы аналитические тонкости, расчленяющие самим же содеянное на составляющие, из которых выуживается что-то мнимое и наводящее без особых оснований тень на совершенно ясные вещи, как это часто бывает с нами. Мне очень легко теперь рассуждать, как эта нескучная жизнь моего дяди и ему подобных была приземлена, была ограничена самой примитивной борьбой за пропитание, за хлеб насущный, как она не имела высоких целей, связанных с великим предназначением человека. Жактай-ага не рассуждал таким образом, он не рассуждал на эту тему вообще, несмотря на то, что,

как и многие аульные аксакалы, любил говорить и умел говорить цветисто, образно, убедительно. Он хорошо знал, что, борясь за минимально необходимое и возможное для ощущения бытия, он ни разу не обманул никого, ни разу не поступился совестью, честью и достоинством, и это было для него достаточным критерием, чтобы быть довольным своей жизнью. Он жил просто и уверенно, не испытывая никаких сомнений насчет целей своего существования, ибо в жизни он не совершил ничего такого, отчего не мог бы смотреть людям в глаза прямо и бесхитростно.

Дорогой друг! У тебя, может быть, намного больше, чем у меня, запечатленных в душе событий, которые из отдаления смотрятся ярче и живее. У меня их, как видишь, тоже немало. Но я в это же время знаю, что каждому дорого свое, личное; что детали прошлого, от которых трепетно вздрагивает сердце, не всегда вызывают подобное же чувство даже у очень близкого человека. Я боюсь поэтому, что мое повествование превращается в милую лишь для меня самого болтовню. Правда, есть один слабый аргумент в мою пользу. Я как-то раз пошутил, обращаясь к матери: «Умсун, отец наш был очень красивым человеком: высокий, статный, с широким лбом и орлиным носом на белом лице. А вот мы не вышли в отца — лбы узкие, носы лепешкой. Испортила ты нам породу». Мать долго, с удовольствием, до слез посмеялась, утирая глаза платочком, и сказала: «Виновата... Да, виновата... Но посмотри, Мажит, на себя со стороны, повнимательней посмотри, и братьям вели сделать это же... Может быть, найдете в себе что-то хорошее и от меня? Не найдете сейчас, после моей смерти обязательно обнаружите». И вот мне теперь кажется, что не только родители (я не говорю о бесспорной роли генетических явлений), учителя и близкие, но и все люди, оставляющие в сердце человека не исчезающие с годами впечатления, всегда так или иначе участвуют в воспитании характера, душевного облика каждого из нас. Другое дело, что трудно определить, обозначить, а часто и обнаружить меру и долю участия тех или иных лиц в формировании личности. И это, наверное, сложная, даже научная проблема.

Из всего сказанного, дорогой друг, сказанного со всякого рода отступлениями и околичностями, ты можешь легко заключить, что заветный рубеж, когда окончательно определилась моя судьба как научного работника и больше уже не подвергалась никаким сомнениям с моей

стороны, был перейден именно в этот последний сенокос. И мой любимый дядя Жактай-ага как консервативная сила, сдерживавшая мои дерзания в сомнительных для него умственных упражнениях, был повержен окончательно и бесповоротно именно в это лето. Словом, дней через десять после памятного купания, когда меня внезапно обступила моя химия, я оказался в своем любимом полуподвале, где все, казалось, с нетерпением ожидало меня. Я удивился тому, как эта милая обстановка могла мне опостылеть, как я мог покинуть этот привычный располагающий к раздумьям полумрак, эти приборы и склянки, готовые к услугам, когда ты пожелаешь рожденное в уме испытать на деле. У меня был прекрасный теперь повод вдоволь посмеяться над тем отвращением к этой милой сердцу обстановке, которое месяца полтора назад заставило бежать отсюда, посмеяться, наконец, над собственной слабостью и изменчивостью. «А было ли так?» — задавал я себе вопрос.

В таком приподнятом настроении я продолжал свои дела, которые, как мне казалось, пошли лучше. Сейчас же думаю, что это впечатление скорее свидетельствовало о настроении, а не о достижениях в работе. Ибо одно дело, когда работаешь и тебя нет-нет, да посетит парализующая волю и стремление мысль: «Для чего, нужно ли это делать?»; другое дело, когда подобная мысль не может посетить, потому что тобой владеет одно: «Нужно», — потому что в этом твое будущее, потому что это — единственный путь, через который можешь ты утвердить полезность и необходимость своего бытия. И именно поэтому время протекало легко, без знакомых тягостных разочарований. Когда же убедился, что у меня действительно получилось то, над чем безуспешно бился более года, я подошел к своему другу, аспиранту Углеву, положил правую руку на его костлявое плечо, стал в позу Чацкого и прочитал:

— «Как волны, бьющиеся с разбегу, много раз плещется человеческая мысль около подготавливаемого открытия, пока придет «девятый вал». «Девятый вал» пришел, друг Сергей Викторович!»

Сергей уже привык к моим разглагольствованиям на тему о «величии» наших с ним «деяний», о возвышающих нас над обыденностью примерах из истории науки, доказывающих, что высшие достижения ума, потрясавшие человеческое общество, рождались именно в таких скром-

ных, душных полуподвалах. Он слушал мои импровизации в этом плане походя и с ухмылкой. Надо отдать ему должное, в этот раз друг мой понял, что у меня действительно большая радость. Он отнесся со всей серьезностью как к моей торжественно-напыщенной декламации, так и к грубым проявлениям моих эмоций. Цитировал же я академика Вернадского, биографию которого только что прочитал. Конечно, слово «открытие» для данного случая было явным преувеличением, но как неповторимы эти радости творческого труда. Надо пережить длительный, изнурительно длительный ряд тягостных раздумий, обманчивых видений, разочарований и сомнений, чтобы понять волнующие истоки этой радости. Малая, еле заметная, никчемная в общем потоке познания удача вызывает иногда большее умиление и восторги, приводит к более трепетному удовлетворению души, чем крупная, «заметная», особенно если эта удача посетила человека, еще не охлажденного жизнью и превратностями земного. Ни одному из моих дальнейших, несомненно, более значительных успехов в научной работе я не радовался так бурно, так непосредственно, как этому первому, малому ученическому успеху. Естественно, что мы с Сергеем (Гайнитдин был где-то в отъезде) добротнo, по-своему, молодецки отметили это событие.

Как видишь, дорогой друг, в данное повествование неожиданно ворвался мой самый близкий друг по аспирантской жизни Углев Сергей Викторович, и я должен познакомить тебя с ним. Он поистине достоин этого.

Я обживал аспирантскую в эгоистичном расчете лишь на себя одного и почему-то совершенно не допускал даже мысли, что в ней рядом со мной может оказаться человек с одинаковыми со мной правами на место под научным солнцем полуподвала. Спеша в лабораторию после отпуска, я с особым упоением предвкушал свое бдение за лабораторным столом, особо радуясь тому, что студенты появятся не скоро и можно будет поработать и в лабораторном зале. Но я предполагал, а мой шеф профессор Дьячков располагал, и поэтому, когда я пришел в лабораторию, передо мной стоял человек выше среднего роста, в синем, изрядно потертом полувоенном костюме, в галифе. Я понял, что Сергей Викторович Углев есть новый аспирант-кафедры, он потому и встретил меня здесь. Я не ожидал такого и подал было руку с тем, чтобы тут же отнять ее, успев лишь в изъятии ординарной

вежливости чуть соприкоснуть ладони в беглом пожатии. Но твердые, цепкие пальцы Сергея так впились в кисть моей руки, что невозможно было не понять, как ему приятно мое прибытие. Устыдившись своего равнодушия, запоздало, судорожно, неловко ответил ему всей мощью крестьянской пятерни, серьезно окрепшей за месяц работы на сенокосе. В общем-то, эта заминка с рукопожатием была не случайной. Сергей был выпускником этого года. Это означало, что он учился ниже меня всего лишь на один курс. И я, естественно, знал его, хотя ни разу близко не сталкивался и не разговаривал с ним. Знал также, что он учится только на «отлично», но, когда однажды случайно услышал, как он сказал «лаболатория» вместо «лаборатория», уважение мое к нему как к отличнику пропало, вместо него явилось нечто вроде той брезгливости, какую, по свидетельству очевидца, испытал молодой граф Толстой, увидев одно светское лицо без перчаток. На миг завладела воображением неприятная мысль: я переставал теперь быть единоправным хозяином «аспирантской», отчего придется стесняться себя, оглядываться, извиняться, считаться с желаниями товарища. Конечно же, я имел все основания встретиться с Углевым с меньшей радостью, чем он со мной. И все же заминка оказалась мимолетной и не оставила никаких следов на наших дальнейших взаимоотношениях. Дело в том, что я, оправившись от неожиданности, искренне обрадовался присутствию товарища. Обрадовался, несмотря ни на что, ибо мне, по правде сказать, осточертело это одиночество. Гайнитдин там, наверху, балагурил с лаборантками, был своим человеком в обществе преподавателей нашей и соседней кафедр, а ко мне в отсутствие студентов редко кто заходил. И когда я говорил о вышеприведенных преимуществах своего лабораторного одиночества, просто хорохорился для вида, поскольку одному лишь мне было известно, сколько потерял глубоких, проникновенных мыслей, блестящих остроумий, разящих реплик, неповторимых импровизаций, обращаясь к стенам, шкафам, столам, склянкам и приборам. Словом, я не мог не радоваться появлению Сергея в лаборатории. К тому же внимательный, добрый, заранее признающий за мной старшинство и потому, как мне показалось, чуть даже подобострастный взгляд небольших глубокосидящих серых глаз Углева вполне импонировал моему еще почти ничем не утоленному тщеславию. Когда после взаимных приветствий сел

за свой аспирантский стол, а Сергей скромно примостился рядом, я посмотрел на него и заметил, как сильно поредели его волосы, отчего лоб его, прорезанный двумя поперечными складками, показался выше. Тут же вспомнилось мне шутовское четверостишие классика:

Случай вывозит слепой
Фигуру эту медвежью.
Лоб у него небольшой,
Но дополняется плешью.

Я внутренне улыбнулся, воображая себе тот повод, который поможет мне съехидничать при случае на эту тему, хотя на самом деле лоб Сергея не был небольшим, он выглядел бы достаточно солидным и без плешу; но, как говорят у нас в народе, почему б иногда ради смеха чуть не покривить душой! Его почтительная простота, подчеркивавшая его уважение ко мне, его расспросы, своей дотошностью и конкретностью обличавшие в нем человека, достаточно пожившего, чтобы не предаваться ненужным иллюзиям, понравились мне. Сразу понял, что этот человек пришел в этот полуподвал морально более подготовленным, чем я при поступлении в аспирантуру, что он ни при каких трудностях не будет испытывать тех недостойных колебаний, которым был подвержен я весь прошлый год. Слушая Сергея, отметил, что он с трудом и, вероятно, лишь недавно преодолел те сильные отклонения от русского литературного языка, которые характерны для разговора жителей юго-восточного Приуралья. Когда я, не удержавшись, сказал об этом, у моего собеседника улыбочиво заискрились из глубин подборья серые глаза:

— Мажит, мои сокурсники так зубоскалили надо мной, что мне пришлось долго и придирчиво следить за собой, но я считал, что преодолел себя в этом отношении. Оказывается, не совсем. А ты действительно угадал мое происхождение по говору или, узнав со стороны, разыгрываешь?

Я рассказал Углеву, что мы с ним почти земляки, что в детстве учился и рос примерно в тех местах, где и он. Честно рассказал ему о злополучной «лаборатории», которая настроила меня против него.

— Я извиняюсь перед тобой, — добавил я, — мало того,

начинаю стыдиться. Но учти, что Толстой тоже стыдился некоторых своих поступков.

Мою шутку Сергей понял; он засмеялся и сказал:

— Не торопись, Мажит. Может быть, ты еще утвердишься в том настроении. Не думай, что я так уж весь раскрылся... Я не такой уж простофиля...

Я не внял этому шутивому предупреждению, ибо немедленно и твердо уверовал, что Сергей есть тот человек, к кому сразу проникаешься уважением, внезапным желанием сблизиться. И вскоре мы легко перешли на предельную откровенность и неприхотливую простоту в обращении друг с другом.

Жизнь не баловала Сергея. Он на целых восемь лет был старше меня, рано лишился родителей и слишком рано познал цену куска хлеба. Еще мальчиком стал рабочим машиностроительного завода и продолжал трудиться там и в войну, так как люди его квалификации на предприятии, перешедшем на выпуск военного оборудования, были нужней, чем на фронте. Когда же после демобилизации его старший брат устроился на работу в нашей столице и выразил желание, чтобы младший брат тоже перебрался поближе к нему, Сергей поступил в наш институт, единственный тогда технический вуз республики. В институте ему пришлось проявить большое упорство, чтобы восполнить пробелы среднего образования, которое он получил, совмещая тяжелую работу с учебой. К тому же сказывался и длительный разрыв в учебе: среднюю школу он окончил до войны, а потом жил, работал в среде, мало способствовавшей укреплению и без того нетвердых знаний.

Сидел он передо мной, покуривая тоненький, дешевенький студенческий «Север». Я смотрел на его огрубевшие от длительного соприкосновения с металлическим инструментом пальцы, на то, как они изящно держали папиросу и неуловимым щелчком выбрасывали пепел с нее в лабораторную фарфоровую чашку, на его сухую, жилистую, подтянутую фигуру, на его умное лицо, на его кадык, который выдавался, казалось, только из-за того, что ему некуда было спрятаться на худой шее, на его серые глаза, взиравшие на людей без суетливой, без тревожно-расслабляющей зависти, а спокойно, внимательно и трезво, и думал: этот человек настолько знает жизнь и настолько привык к сосредоточенному напряжению воли, что всегда сумеет трудиться над достижением цели ме-

тодично и последовательно, не разбрасываясь и не рассыпаясь, и будет выдавать на свет божий результаты своего труда точно так, как он незаметно для себя сработал аккуратно и точно эту горку табачного пепла в чашечке.

Дорогой друг, пишу вот об Углеве и думаю о том удивительном случае в моей жизни, когда по первому знакомству проникся к человеку уважением и в дальнейшем не находил повода, чтобы поколебать это первое впечатление. Наверное, оттого так было, что Сергей принадлежал к натурам, которые никогда не пытаются выглядеть лучше, чем они есть, и проявляют большую искренность к людям.

Мне теперь приятно сознаться, что я ни в чем не обманулся. Профессор, доктор наук, заслуженный деятель науки, кавалер орденов Сергей Викторович Углев ныне является заместителем директора большого научно-исследовательского института, имеет не один десяток учеников и с завидным упорством, с не менее завидной плодотворностью продолжает трудиться над проблемами... Я написал, дорогой друг, «над проблемами» и далее хотел назвать эти проблемы, но подумал: к чему? Они сугубо научны и сложны. Важнее будет сказать о том, что эти проблемы возникли, выросли, приняли те очертания, на базе которых ныне профессор Углев приобрел известность как основатель нового направления в химии и химической технологии, на моих глазах, в том нашем полуподвале, возникли из тех аспирантских опытов, которые выполнял Сергей, чуть не ежечасно делясь со мной всем тем, что у него получалось или не получалось, без конца рассказывая о мимолетных или немимолетных соображениях, посещавших его беспокойную голову. Мне теперь доставляет особое удовольствие сказать, что авторское свидетельство на способ Дьячкова — Углева, упоминаемый ныне во всех учебниках по химической технологии, получено было моим приятелем в годы обучения в аспирантуре, когда Сергей, быстро вжившись в одно из затаенных соображений нашего учителя, сумел успешно доказать его осуществимость. Я с большим увлечением рассказывал Сергею о своих делах, советуясь вплоть до деталей, но в то же время с доброй товарищеской завистью сознавал, как мой приятель более смело и более успешно вошел в курс дела и за короткий срок достиг более заметных результатов, чем я. Это было

поводом для шуток. Я, например, находил, что недаром русская наука началась с архангельского мужика, пришедшего в школу чуть ли не в двадцать лет и всех потом обогнавшего; что теперь некие товарищи являются непосредственными свидетелями быстрого восхождения другого запоздавшего светила. Сергей на это отвечал, что, очевидно, это совершенно верная догадка, но в этом случае «некий рядом находящийся товарищ» напрасно занимается не имеющими значения собственными опытами, когда у него есть единственная возможность войти в историю через это «запоздавшее светило» и что ему, «некоему товарищу», следовало бы бросить все свое, суетное и мелкое, и перейти в прямое услужение «светилу», записывая при этом каждое его движение, каждый шаг. Если же он этим не займется, история ему не простит.

С появлением Сергея в лаборатории я перестал обращаться к кому-либо за исправлением тех или иных неполадок в приборах — Сергей знал их и был мастер на все руки. Мое неумение по этой части Сергей квалифицировал как аристократическое небрежение к черновой работе, что, по его мнению, свидетельствовало о моем плохо скрываемом архиблагородном происхождении. Я в ответ удачно зубоскалил над грамматическими ошибками в его письме. Мое зубоскальство кончилось тем, что менее чем через год Сергей почти наизусть знал русскую грамматику по Бархударову и не только писал без ошибок, но и мог пояснить, почему написанное пишется так, а не иначе. Я же при всем желании не сумел преодолеть свой «аристократизм» и продолжал обращаться с лабораторным оборудованием с прежней неуклюжестью, немало навлекая на себя удачных острот со стороны Сергея.

Наш учитель, профессор Дьячков, был человеком малоразговорчивым. Но бывали моменты, когда он разряжался западавшими в душу тирадами. Помню, как защитился Гайнитдин, и мы собрались за праздничным столом. Кто-то похвалил стилистические достоинства диссертации Гайнитдина, шеф подхватил эту мысль и наизидательно сказал:

— В науке мало постигнуть какую-то истину, надо уметь об этой истине кратко и доходчиво сказать, чтобы она не оставалась вещью в себе; второе, пожалуй, даже важнее, чем первое. В этом отношении я доволен Гайнитдином.

Когда шеф произнес эту фразу, Сергей покраснел и опустил голову. Этот уже немолодой человек даже намеки на свои недостатки принимал с юношеской непосредственностью и эмоциональностью. Дело в том, что Сергей считал, что он не умеет писать, и был, пожалуй, прав, в особенности на фоне Гайнитдина, который обладал прямо-таки даром выражать свои мысли просто и ясно. Шеф по этой части был дотошен и придирчив, и от него доставалось даже Гайнитдину. Естественно, что я был первым редактором научной продукции Сергея и безжалостно ехидничал над его ошибками и промахами до тех пор, пока через год-полтора не почувствовал, что придираюсь не по существу, что Сергей уже не так беспомощен, как было вначале. И все же писание давалось ему с трудом. Помню, как однажды рано утром пришел ко мне домой, жалуясь, что не может найти мостиковую фразу для перехода от одной мысли к другой (в то время он писал диссертацию), что промучился всю ночь над этой фразой и не смог придумать что-либо путное. Я засмеялся:

— Это тебе, друг Сергей, не химия, не лабораторные опыты, не приборы. Это — слово. Недаром писатели и поэты — самые популярные, самые почитаемые люди в народе. Но и им бывает трудно со словом. «Нет на свете муки сильнее муки слова», «Слово истинно податливо только гению». Это не мои слова. Это говорили самые выдающиеся поэты и знатоки слова. Скажу, друг Сергей, в утешение: если ты начал испытывать муки слова, значит, начал понимать толк в нем. Поздравляю тебя!

Вдоволь насмеявшись, мы стали думать над фразой и, наконец, нашли ее. Радости друга не было предела...

Два года проработали мы с Сергеем бок о бок в нашем полуподвале, и эти два года ныне вспоминаются, как годы наиболее интенсивного обогащения знаниями, как годы небольших радостей от результатов научного труда. Отношения наши сложились таким образом, что мои знания невольно передавались Сергею, а его — мне, и, возможно, этот интенсивный взаимный обмен заложил многое из того, что мы имеем сейчас. По крайней мере, при редких встречах ныне профессор Углев и я находим, что наше тогдашнее содружество было удивительно удачным и плодотворным.

Между тем, к концу третьего года обучения в аспирантуре мой шеф, суммируя полученные мною научные данные, нашел, что пора поставить точку и оформлять

диссертационную работу. Это было приятно. Но если признаться честно, я был не очень доволен результатами своего труда. Я знал, что мною изучены основы совершенно нового принципа извлечения металла из сырья, но этот принцип по всем данным еще не был таков, чтобы говорить о его неоспоримой конкуренции с существующим. Его значение во многом зависело от конъюнктуры, ход которой на ближайшее будущее трудно было предугадать. Шеф меня успокаивал тем, что новое есть новое и что сам факт обсуждения, познания этого нового уже много значит для науки. Что касается применимости и значения этого нового, то наука имела очень много случаев, когда то, что считалось неактуальным, несущественным сегодня, неожиданно оказывалось самым нужным, самым необходимым завтра; и, к сожалению, слишком много случаев, когда ошибочность чьего-либо авторитетного небрежения к новому признавалась с недопустимым запозданием, окупалась слишком большой ценой.

— Поэтому нам приходится быть очень осторожными в своих оценках и выводах, Мажит Муканович, — именно так заключил беседу о моей диссертационной работе Дмитрий Викторович.

Через некоторое время профессор объявил мне, чтобы я собирался в командировку в Москву на кафедру профессора Гликмана, по учебникам которого мы учились и чей авторитет в научных делах нашего профиля был недостижимо высок. На обратном пути должен был заехать на большой химический комбинат и доложить свою работу там. Я не ожидал такого оборота дела. Дважды (сначала в институте, затем в Академии) докладывался по теме работы на научных конференциях, не раз обсуждались полученные мною данные на факультете, а также на кафедре, и считал, что прошел все стадии по предварительному апробированию своей научной продукции на готовность. Мне казалось, что осталась теперь последняя решающая инстанция — защита. Но Дмитрий Викторович определил по-своему. По-видимому, ему надоел мой скептицизм, и он решил испытать и меня, и мою работу, представив на дополнительный сторонний суд. Трудно теперь передать, как разволновался я после такого известия. Несколько дней подряд мы с Сергеем обсуждали будущую поездку и предполагаемые ее перипетии. При этом обнаруживали, как многое в работе недостаточно изучено, как много вопросов, на которые еще надо искать

ответы. Сергей успокаивал меня, говоря о том, что всякая научная работа имеет вполне осознанные пределы изучения.

И вот я на кафедре профессора Гликмана в том большом московском институте, в стенах которого шагу не ступишь, чтобы не встретить какую-либо ученую знаменитость, и из стен которого вышли многие люди, деяния которых почтительно отмечены историей. Следую, волнуясь, за ассистентом Белецкой, которой я представился, явившись на кафедру за два дня до этого. Красивая, внимательная Елена Васильевна чувствует мое волнение и своим московским говорком с непривычными для нас аканьем и растяжкой в конце слова успокаивает меня:

— Не волнуйтесь, он у нас простой человек.

И действительно, навстречу нам поднялся сухощавый, среднего роста, лысый человек и приветливо подал руку. Большие карие глаза на горбоносом, моложавом лице смотрели с располагающей улыбочкой. Когда Елена Васильевна представила меня и рассказала о целях моего приезда, он сразу же назвал конкретно лицо, кому следует ознакомиться с моей диссертацией, назначить день моего доклада на кафедре, предварительно осведомившись у меня, устраивает ли этот день (меня, естественно, устраивал любой день, но я запомнил это поучительное во всех отношениях внимание профессора), и на этом разговор закончился. Меня удивила краткость долгожданной аудиенции, о чем не преминул сказать Елене Васильевне.

— А что, вы еще какой-то вопрос хотели решить?

Елена Васильевна меня не поняла. Она не поняла, как коробит мою степную душу то, что профессор ни словом не осведомился о моем шефе, которого он хорошо знал, о наших делах, о нашей жизни и т. д. Из предварительных разговоров с Еленой Васильевной я знал, как до минуты расписано время профессора Гликмана, но даже при этом не предполагал, что не будет расспросов, без которых мы, у нас, не можем обойтись. Я даже приготовился к ним, подобрав покрасивее и поинтеллигентнее фразы, чтобы показать себя на желательном уровне... У себя мы такое отношение приняли бы за нарочитую сухость и почти оскорбительное небрежение, здесь же, как я понял, не считали необходимым терять время на подобные условности и сантименты. По-видимому, это было очень разумно.

Более двух недель находился я на кафедре Гликмана, знакомился с аспирантами, молодыми сотрудниками и их

работами. Мне было приятно, что не нахожу в их исследованиях ничего такого, что было бы мне непонятно или показалось недостижимым. Видел, что у них больше традиционного порядка, установившихся методик работ, разнообразнее и богаче лабораторное оборудование. На последнее смотрел с завистью: сколько мне приходилось бегать в институты нашей Академии, чтобы поработать на их приборах, и сколько терял времени в ожидании, пока представится такая возможность. А здесь все было под руками. Между тем, мне показалось, что молодые коллеги с этой кафедры не выглядят такими же целеустремленными и самостоятельными в приобретении знаний, в постановке и решении научных задач, как мои коллеги Гайнитдин и Сергей. Отгонял от себя эту горделиво-нескромную мысль, считая, что недостаточно долго знаю своих новых знакомых, чтобы судить так строго; что я необъективен и пристрастен, ввиду особой душевной близости к своим друзьям. Но все же мелькнула неясная догадка, что, возможно, так и должно быть: при наличии достаточного количества прецизионных приборов, готовых к использованию при первой необходимости, при ученойшем окружении, когда любую научную справку, любое разъяснение по возникающим в ходе работы вопросам можно получить тут же, не маясь и не тратя времени, как это бывает у нас.

А вообще мне приятно было, что не выгляжу столь «периферийным», чтобы давать повод смотреть на меня свысока, хотя вполне понимал и оценивал великодушное внимание моих хозяев и пользовался этим, чтобы узнать и увидеть возможно больше, как наставлял меня друг Сергей.

Мой доклад состоялся точно в установленное время. Готовился к нему тщательно. Этому способствовало и то, что доцент кафедры Ольга Ефимовна Штейн настолько дотошно и въедливо обсуждала со мной мою диссертацию, что мне пришлось серьезно подумать над многими вещами, на которые не обращал до сих пор особого внимания. Много замечаний сделала Елена Васильевна. В их пристрастной придирчивости я видел искреннее желание помочь и поддержать меня, и поэтому воспринимал их советы и критические суждения весело и легко, с каким-то особым удовольствием чувствуя их полезность.

На самом докладе я, умеющий говорить достаточно бойко и связно, почему-то начал речь сбивчиво и путано,

хотя на лицах председательствовавшего профессора Гликмана и всех слушавших (их было человек пятнадцать) я не видел ничего, кроме доброжелательного внимания. Когда вошел с опозданием невысокий, опрятно одетый человек с густой гривой седых волос, сел в дальнем углу и уставился на меня сквозь толстые очки, язык мой во рту и вовсе превратился в соленую воблу и двигался настолько неуклюже, что я выдавливал слова, делая невероятные паузы. Дело в том, что на лацкане пиджака этого пожилого человека блестели два лауреатских значка (такие высокие знаки отличия я видел вблизи впервые), и я сообразил, что он и есть тот таинственный профессор Теплов Григорий Иванович, который руководит в каком-то секретном ведомстве настолько большими делами, что успевает бывать на кафедре только два раза в неделю, и не более двух часов каждый раз. О нем на кафедре говорили едва ли не предупредительным полупшепотом. Профессор Гликман заметил мое смущение и в одном месте подсказал мне слово, которое у меня, казалось, только что соскользнуло из гортани, не дойдя до кончика языка, чтобы быть произнесенным, и я тщетно силился его вернуть. После этого подсказа стал обретать нормальный дар речи и закончил доклад не совсем уж плохо, хотя, в общем-то, остался недоволен собой. Вопросов было задано много, причем меня удивило, что сам Наум Соломонович задал только один вопрос, а профессор Теплов, слушавший, как я заметил по лицу и толстым очкам, обращавшимся то ко мне, то к задающему вопрос, довольно внимательно, так и не прервал свое молчание. Ответив на все вопросы, я сел. Затем, спросив разрешения у председательствовавшего, поднялась доцент Штейн и рассказала, что подробно ознакомилась с работой и осталась довольна как новизной темы, так и научно-грамотным проведением экспериментов, что в беседе с автором убедилась в компетентности его в избранной области исследования, о чем свидетельствуют также его доклад и аргументированные ответы на вопросы, и что у нее нет сомнений в том, что данная работа может быть представлена автором на соискание ученой степени кандидата наук. Больше никто не выразил желания выступить, и профессор Гликман уже собрался было делать заключение, как вдруг профессор Теплов по-ученически поднял руку и, встав, сказал с места:

— Наум Соломонович, у меня по существу работы

нечего добавить к тому, что сказала Ольга Ефимовна, но все же хотел бы сказать два слова.

Он говорил тихо, медленно, будничным, чуть приглушенным голосом, но произносил слова четко и ясно. Обратившись ко мне, он продолжал:

— Я был у вас в республике лет десять тому назад, к концу войны. Тогда о подобных исследованиях по нашей специальности и речи не было. Если вы сейчас выполняете такие оригинальные по замыслу и научно четкие по исполнению работы, то мне теперь трудно даже представить, как вы выросли... Это меня очень радует. Я знаком с вашим руководителем профессором Дьячковым, он тогда был очень скромным и очень, на мой взгляд, стеснительным доцентом...

И, далее, еще раз выразил свою радость по поводу наших достижений, которые он видит через только что заслушанную скромную, небольшую по объему работу аспиранта, и, назвав нескольких наших ученых, к которым он относится с уважением, профессор Теплов сделал одно неожиданное и существенное замечание. Оно касалось чересчур смелой трактовки одной химической реакции, трактовки, на его взгляд, не имевшей достаточной экспериментальной основы. Он назвал, какими должны быть дополнительные опыты, чтобы подтвердить выдвинутое предположение. Правда, он тут же сделал смягчающую оговорку, что для таких экспериментов у автора, видимо, не было возможности. Затем он сел, не сделав никакой концовки для своей речи, как будто оборвав себя на полуслове. Между тем, меня поразило это замечание. Это было тонкое и глубокое замечание. Когда же он сделал смягчающее мою вину добавление, я прямо-таки внутренне покраснел (не могу сказать, как выглядел внешне), потому что на самом деле эксперименты, названные профессором Тепловым, у нас могли быть выполнены, а не выполнены они были лишь из-за того, что сомнения, высказанные Григорием Ивановичем, мне просто не приходили на ум. Профессор Гликман, по-видимому, не был любителем говорить, если этого не требовала необходимость. Он был предельно краток.

— Я вполне согласен с Ольгой Ефимовной и Григорием Ивановичем. Остается пожелать Мажиту Мукановичу успешной защиты. Надеюсь, вы обратите внимание на замечания, в особенности на замечания Григория

Ивановича,— обратился он ко мне. Я закивал головой в знак согласия.— Елена Васильевна, за вами протокол.

Я было поднялся поблагодарить Григория Ивановича за ласковые слова и, может быть, проконсультироваться по деталям его замечания, но он уже исчез; спешил куда-то и Наум Соломонович. Здесь умели дорожить временем.

...Уж сколько времени, дорогой друг, прошло с тех пор, как впервые побывал на кафедре Гликмана. Наум Соломонович здравствует и поныне, он стал для меня человеком, который подает свою доброжелательную руку именно в тот момент, когда я в этом нуждаюсь, Елена Васильевна ныне профессор кафедры и остается все такой же изящной и все такой же готовой к помощи и содействию тем, кто в этом нуждается. Ольга Ефимовна Штейн недавно ушла на пенсию с той же должности доцента. Из тех молодых, с кем я тогда знакомился, двое уже профессора, один из них работает на кафедре. В общем, научные дела наши вольно или невольно продолжают сталкивать нас, совершенно не влияя на неизменность наших добрых отношений.

Я, по-видимому, в то время был настолько полон впечатлений от кафедры Гликмана, что сейчас точно и не помню деталей моего пребывания на комбинате. Сохранилось в памяти, что и там меня встретили радушно, интересовались моей работой, но этот интерес в основном замыкался на проблемах чисто практического характера, на которые, я, естественно, не всегда мог дать конкретные ответы, исходя из своих лабораторных данных. Это привело к тому, что при обсуждении моего доклада на техническом совете один молодой технолог выразил большое сомнение в практическом значении моей работы для комбината. Другой товарищ коснулся экономической стороны предлагаемой технологии и тоже не скрыл своего скептического отношения. Мне, признаться, нелегко было все это выслушивать, потому что многое на самом деле было неясно из-за новизны самого принципа, на котором базировалась моя работа. Было досадно, что никто здесь не обращал внимания на то, что получило особое признание и высокую оценку на кафедре Гликмана. Здесь был совершенно другой подход, другой критерий оценки работы. Я уже волновался, чувствуя, как тону в болоте непонимания, сознавая в то же время, что не могу

произнести в свою пользу ни слова, ибо оно было бы так же вредно, как вредно барахтанье человеку, засасываемому болотной жижей. Выручил председательствовавший главный инженер. Этот молодой человек с рыжим ежиком волос с проседью и красивым лицом во время моего доклада и при обсуждении всматривался, прищурив свои маленькие серые глаза, в уравнения реакций, которые у меня расписаны на плакатах, и в некоторые кривые, выражавшие отдельные закономерности изученных процессов, и задал несколько вопросов, из которых я заметил его живой интерес именно к тому, на что я хотел обратить внимание аудитории. Закljučая обсуждение, он сказал приблизительно следующее:

— Инженеры комбината обязаны хорошо знать действующую технологию комбината, всячески совершенствовать ее, но это вовсе не значит, что они должны быть глухи и немы ко всему тому, что предлагает наука, мысля о перспективах развития химической технологии. Конечно, заслушанная работа имеет много неясного с нашей точки зрения, это высказывали наши товарищи, но имеем ли мы основания, исходя из этого, относиться отрицательно к данной работе? Наверное, не имеем. Многие недостатки технологии, действующей на нашем предприятии, отсутствуют в работе, хотя взамен возможны другие трудности, некоторые из них можно даже заранее предвидеть. Тем не менее, подкупает совершенно новый подход, попытка решить вопрос принципиально иным путем. Поэтому работу нам следует одобрить...

Таким образом, моя работа получила поддержку и на комбинате, хотя я понимал, что это, скорее, формальная поддержка, не проистекающая от живого интереса к моему исследованию. Этого, видимо, и следовало ожидать, ибо на комбинате по-настоящему ценились лишь те работы, которые непосредственно вели к улучшению существующей технологии, к устранению ее недостатков. Комбинат, между тем, являлся громадным предприятием со сложнейшей схемой производства, и каждый узел в этой длиннейшей схеме с переплетающимися цепями требовал, как я заметил, пристального творческого внимания. В частности, знакомясь с технологией комбината и обсуждая параметры и особенности того или иного действующего процесса с управляющими ими инженерами (многие из которых были выпускниками нашего института, что позволяло коротко устанавливать отношения), приходил

к выводу, как можно было поработать над совершенствованием большей части из этих процессов. В то же время обнаруживал, как достаточно грамотные люди привлекают к тому, что есть, и очень мало думают над тем, что могло бы быть. Может быть, дорогой друг, последнее обстоятельство и явилось толчком к тому, что лет через десять при моем непосредственном участии на этом предприятии будет внедрена работа, резко улучшившая все показатели технологии.

Дорогой друг! Теперь осталось описать, как я защитил диссертацию, стал кандидатом наук и необратимо вписался, таким образом, в число остепененных научных работников страны. Признаться, мне не хочется подробно описывать вот эту завершающую стадию своих «домогательств» по соисканию для себя ученой степени. Ты не раз бывал на этих процедурах и, наверное, заметил, что они большей частью носят отпечаток формальности, ибо вся суть научной работы аспиранта бывает обсуждена, обтолкована со всех сторон до этого. И пусть тебя не коробит слово «домогательство» (я его для смягчения, как ты видишь, взял в кавычки), ибо оно в наше время у нас, аспирантов, было в большом ходу. Мы тогда шутили и зачастую не задумывались над значением своих шуток. Теперь же я иногда думаю, что, возможно, эта ирония над самим собой была одной из бессознательных защитных реакций против «научного делячества», с которым мы, к счастью, на нашей кафедре не были знакомы, хотя уже тогда знали людей, которые смотрели на научную степень, как на личную дойную корову, которая в отличие от настоящей коровы после приобретения будет давать молоко постоянно, не требуя взамен даже ухода. О дойной корове в науке, дорогой читатель, говорил еще Шиллер, и вы это читали уже, наверное, до меня.

Защита моя состоялась на ученом совете Академии и прошла достаточно чинно и гладко. Первым оппонентом был один из старейших профессоров нашего института, он особо серьезных замечаний мне не сделал, хотя все же сумел выискать не совсем правильно интерпретированную одну из найденных мной зависимостей. Некоторое замешательство вызвал старый академик нашей Академии, задав ехидный вопрос: «Кто составил вам доклад?» Я тебе уже писал, дорогой друг, как растерялся, докладывая на кафедре Гликлмана. Паршивое впечатление от этого неудачного выступления у меня было настолько свежо, что

решил доклад свой написать и, во избежание того, что было со мной тогда, прочитать его. Читал, лишь изредка отрываясь от текста при необходимости показать то или иное место на развешенных демонстрационных чертежах. Старому академику, это, очевидно, очень не понравилось. Я честно признался, что доклад написал сам и, имея малый опыт научных выступлений, прочитал его, не надеясь на себя. Помню также, как мой брат Гайнитдин, молодой кандидат наук, защитившийся за год до этого, выступая, так перехвалил меня, что вызвал не очень желательную улыбку у многих членов совета. Против было подписано четыре голоса из двадцати одного. Гайнитдин немедленно сообщил об этом Майре Есеновне, добавив от себя, как потом узнал, что это — достаточно победоносный счет, чтобы банкет, над которым та хлопотала, провести на высоком уровне.

Словом, я стал кандидатом наук. Не скрою, мой дорогой друг, после этой защиты наступил некоторый период, когда я был весьма доволен собой. К счастью, это состояние длилось не очень долго; длись оно дольше, не привело бы ни к чему хорошему. Но об этом в следующем письме.

Письмо пятое

Дорогой друг!

Было время (мы с тобой это время сами помним), когда человек становился полезным работником в семь-восемь лет. В степной семье с нетерпением ожидали, когда, наконец, подрастет помощник отцу, чтобы присмотреть за отарой, пригнать телят и коз, собрать кизяк для костра — мало ли бывает работы в кочевом быту. Мой отец говаривал, что он, слава аллаху, с тех пор, как себя помнит, не сидел без дела, в тринадцать лет уже прилично косил, и в назидание нам повторял известный стишок:

Бездельник в бабки играет,
Бездельник мячи гоняет.
Этот пасет и баранину ест,
Его-то успех ожидает.

Между тем, нас, сыновей, он не особенно заставлял заниматься непосильной работой, редко укорял за детские шалости и вообще, как теперь думаю, оберегал от излишних недетских забот. Из этого заключаю, что подробности своего раннего возраста отец помнил именно потому, что у него не было настоящего детства, и его мальчишеское сердце не раз надрывалось при виде тех «бездельников», которые имели возможность играть в бабки и гонять мячи. Казалось, и рассказывал-то он о своем безотрадном детстве не столько в назидание нам, сколько в утешение себе, как будто, заимев столь раннюю привычку к тяжелому труду, которая с годами не ослабевала, он этим искупил миновавшие его детские радости. Все это для тебя совсем не ново, на язык просится Некрасов: «Как восемь лет исполнилось сыночку моему, в подпаски свекор сдал его», «отец, слышишь, рубит, а я отвожу» — или вспоминается мальчик Сабит Муканов

у зимнего костра конепасов. Но все же об этом говорю (не знаю, к месту или не к месту), ибо хочу сказать, как за короткий срок резко, словно по волшебству, изменились запросы жизни: моему отцу достаточно было стать на ноги (не фигурально, а буквально), как он перестал быть иждивенцем, без особой предварительной подготовки и обучения включившись в тот вид труда, которому он посвятил всю жизнь, а сын его лишь в тридцать лет (мне было тридцать лет, когда я защитил кандидатскую диссертацию) получил аттестат, свидетельствующий о том, что он имеет право самостоятельно заниматься научными изысканиями. Это означает, что он до этой поры находился (если пренебречь небольшими перерывами) вначале на иждивении семьи, а потом на иждивении государства; причем государство тратило на него неизмеримо больше, чем семья, ибо с годами его ученичество обходилось все дороже и дороже. Отсюда логично было бы чувствовать себя большим должником перед обществом. Признаться, не помню, чтобы я был особо отягощен подобным чувством. Наоборот, иногда даже казалось, что персоны, обучающиеся в аспирантуре, заслуживают большего внимания, большего вознаграждения, ибо считал, раз учат нас, раз возятся с нами, значит, мы нужны, и ввиду этого нас должны отличать, относиться к нам в соответствии с важностью нашего предназначения.

Я знаю, как эгоистичны по своей природе эти мысли. Но я вынужден об этом говорить, дорогой друг, ибо пишу только о себе и это меня ограждает от искушения интерпретировать задним числом тогдашнее поведение в чрезвычайно благородном плане, от искушения представить себя молодым человеком, исполненным чувства благодарности, выдать за начинающего ученого, совершенно отрешенного от помыслов о земных выгодах и благах. Хотя знаю, что это мне было бы легко сделать на фоне того, что я всегда трудился на совесть, и в этом отношении мне ни разу в жизни не пришлось выслушивать упреки.

Переход в положение хорошо зарабатывающего научного работника, преподавателя высшего учебного заведения (каковым стал сразу же после защиты диссертации) очень импонировал моему самолюбию, и был, как уже писал тебе, определенный период, когда я был очень доволен собой. И как можно было быть недовольным собой, если мои друзья из аула начали наперебой вы-

ражать восторги и восхищения, устно и письменно указывая на то, что в нашем ауле, да и в окрестных родственных аулах еще не вырос ни один человек с высшим образованием, а их чуть ли не гениальный сверстник уже постиг глубину знаний настолько, что теперь носит невиданное в наших степях звание — кандидат наук. К моим дядьям приезжали аксакалы поздравить с великой радостью. Рассуждая между собой, аксакалы не находили в нашем роду признаков появления человека, умственно бойкого и расположенного к знаниям и книгам. Но оказалось, что двоюродный брат прадеда моей матери был известным акыном и степным мудрецом. Аксакалы решили, что не иначе, как в меня вселился этот далекий предок по материнской боковой линии. Соображения эти никто не решился высказать во всеуслышание, ибо знали характер Жактая-ага, который был уверен, что наш род всем своим существованием был давно подготовлен к появлению из него больших людей; к тому же он имел свою теорию наследственности, и эта теория полностью исключала влияние на человека материнской утробы — этого, как он говорил, кратковременного хранилища мужского семени. И это он заявил громогласно, будто громогласие являлось самой надежной формой аргументации.

Самодовольство, поощряемое моими близкими при моем явном попустительстве, может быть, и продолжалось бы, если бы я уже не имел некоторых навыков к самоанализу, если бы не был достаточно начитан, чтобы посмотреть на свою персону со стороны. Так вот, при таком взгляде со стороны находил, что особо похвалиться нечем. Я мог перечислить десятки и сотни людей из истории всех времен, в том числе немало современников, которые прославились своими идеями до тридцати лет. Я же натужно выдавил из себя самое обычное исследование, написал ординарную, обязательную для каждого учившегося в аспирантуре диссертацию, обреченную теперь, быть может, на вечный покой в научных архивах. И при всем при этом я был доволен собой. Наверное, это и есть самодовольство ограниченного человека. И полагал, что, если этот, мало чего стоящий, ограниченный человек (пошадим его самолюбие и не будем называть тупицей), ввиду благоприятных обстоятельств, сложившихся в пользу его, достиг каких-то ступеней на жизненной лестнице, то ему, этому человеку, необходимо отрешиться от бах-

вальства, перестать переоценивать себя, не лезть в область недостижимого и понять, наконец, что лучшим уделом для него является жизнь ни на что не претендующего кроткого служаки, который преспокойно, по-чиновничьи приходит на работу, аккуратно исполняет ее и уходит, ни секунды не медля, с чувством исполненного долга в семейное лоно. К этому очень располагало и то, друг мой, что дама, которой ты, на мой взгляд, чересчур назойливо клянешься в своем расположении, уже тогда была мастерицей создавать уют и тепло в четырех стенах. Мне льстила судьба беззаботного человека, смотрящего ясными, лишенными суетных интересов и помыслов глазами на всех окружающих. Я понимал, что именно таких людей называют обывателями, и все же считал, что судьба такого обывателя лучше и, может быть, даже благородней, чем судьба того, кто, без особых оснований уверовав в свои силы необъятные, рвется вперед, берется не за свои дела и, потерпев фиаско в неразумных и непосильных начинаниях, перетревожив никчемной своей активностью многих людей, корчит потом из себя неудачника, ставшего жертвой зависти и непонимания, обреченного на ореол мученика. Так часто бывает с людьми, переоценивающими свои способности и возможности. Но сколь ни была заманчива роль благоразумного тихони, довольного тем, что есть, из меня он, прямо скажу, не получался. В меня вселился бес (возможно даже, что сидел он во мне от рождения) честолюбия и неутомимо тревожил меня. Я стыдил себя, находя позором овладевшее мной мещанское благоразумие. Нет, меня не устраивала такая жизнь. Я жаждал деятельности, я верил в свои силы, мечтал о популярности и высоком положении в обществе, меня обуревало желание быть на виду. Нельзя сказать, что в моменты страстных мечтаний я чувствовал себя Васькой Буслаевым или Камбаром-Батыром, таким всесильным молодцем, который может научные горы своротить мощью своего интеллекта, ибо мне было уже далеко не восемнадцать лет, и все же мне казалось, что у меня имеются какие-то данные, способные поднять меня выше ординарности, выше муравьиного подвижничества ради живота своего, выше того, чтобы все мои радости и горести, все мои высшие эмоции смыкались в семейном очаге. Я тогда не задавал себе пушкинский вопрос «Желаю ли славы я?», но задаю его теперь и отвечаю: «Да, все эти

мечтания, наверное, и называются желанием славы». Это было, конечно, очень нескромное желание. Но почему-то ныне не стыжусь. Не стыжусь, вероятно, потому, что ни тогда, ни после у меня и в помыслах не было, чтобы добиваться успехов и известности какими-то окольными путями, о существовании которых, к счастью, тогда мало ведал. Я надеялся только на целеустремленный труд, на постоянное беспокойство и мечтал о днях, когда мое упорство будет вознаграждено. Мечтания эти принимали, как теперь вспоминаю, чрезвычайно нескромные размеры. Доходило до того, что дерзал себя мысленно ставить рядом с людьми, имена которых суждено мне произносить с почтительнейшего отдаления, и не иначе, как с благоговейным трепетом. Теперь знаю, что время проделало свое, и я, как и все смертные, смирился и утешился тем, чего достиг. И когда, сравнивая свои тогдашние желания с тем, что ныне есть у меня за плечами, вижу несоизмеримую малость достигнутого, мне становится весело и смешно. И все же думаю: не будь этих нескромных, честолюбивых мечтаний молодости, которые почему-то принято скрывать, у меня не было бы и того малого, чем, несмотря ни на что, горжусь настолько, дорогой друг, что, как видишь, могу бодро повествовать о своей жизни.

Я, по-моему, довольно длинно рассуждаю о тех чувствительных пружинах моей души, которые определили мои жизненные помыслы в то время, но думаю, что не напрасно говорю об этом, так как уверен, что это было на самом деле так. Иначе почему же память из многочисленных подробностей бытия в эти начальные годы моей работы услужливо выдвигает именно тот момент, когда мне показалось, что вот, наконец, осуществляется то, к чему стремился. Я имею в виду мое назначение на пост заместителя директора (по нынешнему, проректора) института по учебной работе, которое случилось через четыре года после окончания аспирантуры. До этого работал на этой должности маститый доцент Левашов Николай Александрович, который, казалось, и родился для этой должности, ибо занимал ее с каких-то незапамятных времен, чуть ли не с организации института. И потому, когда мы видели в коридорах, во дворе этого коренастого, лысого человека небольшого роста, смотревшего на окружающих большими ласковыми карими глазами, лукаво пряча добродушную улыбку в мясистых щеках, казалось, что мимо нас проходит само средоточие всего лучшего и достойного,

чем характерно наше учебное заведение. Ни повышение голоса, ни менторское красноречие, ни указующие жесты не были для него свойственны: он покорял всех спокойной, деловой доброжелательностью, каким-то равномерно искрящимся юмором. Возраст, вероятно, брал свое. Николай Александрович часто болел и, по-видимому, нельзя было не уважить его просьбу перейти на более спокойную и менее ответственную работу на кафедре. Мои мечтания кружили в области научных подвигов, и я, естественно, совершенно не предполагал, что когда-либо сяду в административное кресло Николая Александровича, которое казалось чуть ли не природной его принадлежностью. И все же представь себе, дорогой друг, когда мне сделали это предложение, я для видимости, для порядка и из показной скромности говорил что-то вроде того, что смогу ли выполнять предлагаемые обязанности на таком уровне и с таким умением, как это мог делать умный, высококультурный, опытный, всем известный и всеми уважаемый Николай Александрович. Про себя же чувствовал лишь внутреннее ликование, будучи уверен, что не боги горшки обжигают.

Я много думал над своим поведением в момент назначения на место Николая Александровича и теперь полагаю, что, если бы этот пост был предложен несколько позднее, вероятно, не ощутил бы такую радость. Дело в том, что, когда убедился, что моя аспирантская работа, решавшая конкретную, узкую научную задачу, не может явиться основанием для дальнейших достаточно плодотворных исканий, я начал почти лихорадочно читать, размышлять, строить гипотезы, делать опыты для их подтверждения и все же в научном поле, где я искал и ковырялся, не нащупал то место, где можно было бы уверенно, самозабвенно, глубоко и надолго врыться. Я еще, к сожалению, не был уверен, что такое место скоро будет найдено, и у меня даже не было внутреннего повода считать, что, будучи рядовым преподавателем кафедры, сделаю что-то в большей степени удовлетворяющее мое трепетное самолюбие. Все это говорю к тому, дорогой друг, что хочу обратить твое внимание на то, как я даже через четыре года после окончания аспирантуры еще не был твердо прикован к тем научным проблемам, которые в дальнейшем составили, как теперь понимаю, содержание моей жизни; крупное, серьезное, значительное дело —

предмет моих еще не охлажденных временем пылких мечтаний — пока маячило где-то в совершенно зыбком отдалении, я чувствовал в себе нечто вроде распутия, и естественно, неожиданное предложение, импонировавшее моему неутоленному тщеславию, пришлось очень кстати. Я снова был очень и очень доволен собой, как в первое время после получения диплома кандидата наук. Я еще не выработал в себе внутреннего презрения к людям, отношение которых к тебе находится в прямой зависимости от занимаемого тобой положения. Я еще мало ценил тех, кто этим свойством не обладает, и потому с удовольствием принимал преувеличенно-почтительное внимание сослуживцев, которые только вчера гордо проходили мимо, еле достаивая кивком головы; мне было приятно, что именно те, кто до этого проявил особую забывчивость по отношению к моим имени и отчеству, теперь при встречах произносили с подкупающей чеканностью. Я был доволен собой, своим положением и это выражал разными способами среди друзей. Помню, как через неделю после моего вступления на должность директора срочно вызвали в Москву, и я остался править делами за него. Созвал какое-то совещание (было начало учебного года), и, поскольку в маленьком кабинете заместителя директора все приглашенные не вмещались, оно было проведено в кабинете директора. В конце совещания, встав и посмотрев зачем-то в окно, увидел проходившего мимо закадычного друга, преподавателя кафедры иностранных языков, которого мы еще в былые студенческие годы за нескладную, длинную фигуру прозвали Туйемойын (верблюжьей шеей). Теперь этот мой друг раздобыл, приобрел величавую статью, но, злоупотребляя его веселым нравом, добродушной простотой, мы продолжали обращаться к нему по прозвищу. Увидев Туйемойына, решил немедленно использовать удачный случай, чтоб вдоволь посмеяться, и попросил секретаря пригласить его. Когда в дверях показалась ослабленная физиономия моего друга, сказал: «Туйеке, будь добр, подожди... Я приму ожидающих, а то неудобно...» И вот принимаю товарищей, нарочито растягиваю время, а сам посматриваю в окно, чтобы Туйемойын, рассердившись, не ушел. Прошло часа полтора, друг мой терпеливо ждал, и, наконец, когда никого, кроме него, в приемной не осталось, открыл дверь. Я посмотрел на него и не увидел на лице прежнюю улыбку.

Не меняя начальственную позу, пригласил его сесть. Туйемойн, рядовой преподаватель, редко бывавший в просторном кабинете директора, сел, сохраняя строгую почтительность на лице и в движениях. Видимо, долгое ожидание настроило его на официальный лад. Я молчал, молчал и он. Наконец друг не выдержал и спросил:

— Ну что молчишь, скажи, зачем пригласил?

Я суровым голосом, каким только было возможно при еле сдерживаемом смехе, ответил:

— Начальство само скажет, зачем оно пригласило. Пора привыкнуть к субординации и при служебных обращениях перестать тыкать. Захотел пригласить и пригласил. Мог бы и не приглашать. Пригласил, чтобы ты теперь зарубил на носу, что я твой начальник, и чтобы радовался тому, что устаиваю тебя аудиенции, чтобы в радостях твоих по этому поводу не было ропота за то, что ожидал каких-то полтора часа! И впредь не заходи ко мне с постным лицом!

Туйемойн вскочил, произнес крепкое русское слово и ринулся ко мне вокруг стола. Я, испытав на левых ребрах тяжелый кулак друга и еле увернувшись от второго, крепко обнял его. Мы долго, до слез смеялись, сотрясая кабинет директора, и поскольку был конец рабочего дня, я с удовольствием откликнулся на предложение друга обмыть день, когда он почувствовал (знал он об этом, конечно, раньше, ибо я уже успел похвастать), что его приятель действительно стал начальником над ним. Можно было быть довольным собой сколько угодно, но ведь надо было и работать, а о самой работе у меня были весьма туманные представления. Я очень надеялся на директора, полагал, что он точно и ясно растолкует мои обязанности, и мне стало сравнительно легко и просто выполнять положенное по должности. Это были, конечно, наивные представления, в чем очень скоро убедился. Директором у нас оставался тот самый Кемельхан Айтпаевич, который, вступая в должность, посетил нашу кафедру и, вняв моим аспирантским «слезам», передал нам комнату. Он слыл у нас за человека упорного, методичного, умеющего, когда необходимо, настоять на своем: при нем началось строительство современных зданий института, он был инициатором многих хороших начинаний, и коллектив относился к нему с уважением. Для нас, молодых преподавателей института, авторитет

его был непререкаем. Мне очень льстило, что именно меня он отличил от многих других товарищей, которые имели не меньше оснований претендовать на пост заместителя директора, и был преисполнен к нему благодарности. Помню, как он пригласил меня к себе для первого разговора по работе. Откинувшись в кресле и положив левую руку с зажатыми в кулак очками на стол, он задумчиво смотрел в потолок и молчал. Я не находил это невежливым, питая к нему очень глубокое уважение, не был склонен видеть какие-либо недостатки в его поведении. Предполагаю, что он продолжает размышлять о чем-то, пришедшем ему на ум до моего прихода. Пользуюсь молчанием для того, чтобы получше рассмотреть своего директора. Да, не даром достались эти восемь лет работы на посту руководителя института: иссиня-черные волосы, молодо лоснившиеся, когда он пришел к нам на кафедру, казалось, выцвели и теперь стали серыми, появились мешки под глазами, чуть обвисли щеки, глубже прорезались поперечные морщины на высоком лбу, только большие черные глаза смотрели по-прежнему молодо и уверенно. Не сразу его поняли. Наши профессора типа Каретникова хотели видеть в кресле директора рафинированного интеллигента, начиненного великосветскими манерами и салонной вежливостью. Кемельхан Айтпаевич никак не подходил под эту мерку, он вырос на производстве, в рабочей среде, где не имеют привычки цепляться за слова, чтобы переиначить мысль, где воспринимают правду как правду и не прибегают к диалектическим тонкостям, чтобы затушевать неприятные стороны правды, как бы горьки они ни были. Не сразу понял Кемельхан Айтпаевич, что он находился в совершенно новой среде и что в этой среде не всегда можно надеяться на то, что сказанное от сердца будет сердцем и воспринято, что всегда надо продумать, прежде чем говорить. Он не сразу разобрался, что в этой среде имеются люди, умеющие по-своему истолковывать искренне выраженную мысль в любом приятном направлении. Потребовалось время, пока Кемельхан Айтпаевич преодолел свою грубую рабочую прямооту и овладел искусством витиеватых маневров, облегчающих подход к неприятной правде. Мы, молодые преподаватели, не были близки к нему, но товарищи постарше с удовольствием отмечали, что Кемельхан Айтпаевич ныне приобрел все, что необходимо для

руководителя высшего учебного заведения, и что в этом сильно помогли не только способности и желание быть понятым коллегами, но и бурная оппозиция, организованная неутомимым на подобные дела профессором Каретниковым.

Посидев молча довольно долго, Кемельхан Айтпаевич встрепенулся и, придвинувшись к столу, пожаловался, как будто извиняясь передо мной, на какую-то неурядицу в институте, о которой приходится думать, потом усмехнулся и сказал:

— Ты, Мажит Муканович, пожалуйста, не пугайся. Такова судьба, иногда над какой-то обыденной мелочью приходится думать, как над жизненной проблемой, потому что чувствуешь, что за этой мелочью может потянуться другая, третья... А потом насядут мелочи — пойди, попробуй, разберись... — и, помолчав, добавил: — Мажит Муканович, не смотри на меня вопрошающе, особых инструкций и указаний тебе не дам. Обязанности твои расписаны на соответствующих страницах толстой книги, называемой «Высшая школа». Кроме того, есть приказ по институту о распределении обязанностей. Твое дело, чтобы студенты учились хорошо, вышли достойными специалистами, а для этого, естественно, должны хорошо работать преподаватели. Вот и добивайся. Кроме того, учти, — глаза его заиграли лукавой усмешкой, — первый руководитель может работать, может не работать, а указывать и требовать он будет всегда, иначе он не сможет чувствовать свое положение и свое значение. Заместитель же должен работать всегда. Если хочешь, чтобы я поменьше вмешивался в твои дела и поменьше указывал, старайся предупреждать это нежелательное для тебя внимание с моей стороны, т. е. выполняй свои обязанности аккуратно, вдумчиво, инициативно... Работы — непочатый край, и чем больше будешь работать, тем больше будешь обнаруживать недостатки, которые немедленно надо искоренять... Заранее все не скажешь, будем советоваться по ходу дел. Кроме того, учти, — в глаза опять вернулась лукавинка, — что я в полной зависимости от тебя и других заместителей, в основном от тебя — ты будешь работать хорошо, значит, и я хорошо, ты плохо, и я плохо. Но главное в нашей работе — это умение расположить людей... Для этого надо изучать, надо знать их, надо относиться к товарищам всегда с уважением.

Кемельхан Айтпаевич снова откинулся назад в кресле, снова положил левую руку с зажатými в кулак очками на стол (это, видимо, была его привычная поза, когда он задумывался) и устался на этот раз в окно. Я понял, что он больше мне ничего не скажет, посидел чуть и, чтобы не прерывать его думы, молча удалился. Удалился, чтобы разобраться в своих новых обязанностях и поразмыслить над тем, с чего начать и как лучше исполнять пока еще неясные служебные дела. Я понимал, что тут не обойтись без консультации и советов опытных товарищей. В институте имелись такие товарищи, и первым из них был, естественно, Николай Александрович: они мне могли оказать помощь, если, конечно, найду необходимым снизойти до этого и попросить, ибо, поскольку теперь являлся вторым лицом в институте, должен был по положению лучше всех понимать дело. К счастью, я не чувствовал себя таковым, и добрейший Николай Александрович буквально курировал меня в течение почти месяца, а может быть, дольше, потому что я долго продолжал злоупотреблять его расположением ко мне, обращаясь к нему по поводу и без повода.

По-видимому, любое дело, дорогой друг, должно быть вначале и сложным и трудным, если подходить к нему серьезно. Нелегкими оказались обязанности заместителя директора института по учебной работе. Что значит руководить учебным процессом? В средней школе заведующий учебной частью следит за тем, чтобы учитель знал и придерживался соответствующих научно обоснованных методов преподавания соответствующей дисциплины, не исключая, конечно, элементов творческого подхода. Это облегчается тем, что до сих пор грамотная часть человечества уделяла внимание только педагогике средней школы. Многочисленные Академии и институты посвятили свою деятельность довузовскому образованию. Между тем, о вузовской педагогике, об общих, надежно обоснованных принципах и методах учебного процесса в высшей школе, о создании педагогике высшего образования стали размышлять только в последнее время. Лишь недавно, кажется, открыт в нашей стране первый научно-исследовательский институт, занимающийся этими вопросами. А тогда, когда мне пришлось по должности размышлять над задачами по руководству учебным процессом, в нашем вузе и этого не было. Например, приступая к работе в

качестве преподавателя у нас на кафедре, я не думал, что существуют какие-то методы, руководящие указания, кроме устных советов профессора, для чтения, скажем, лекций по дисциплине, которую я вел. С тем же, естественно, сталкивались и другие молодые преподаватели. Между тем, было известно, что чтение лекций в русских университетах и институтах считалось самой почетной обязанностью профессора. Сохранилось немало воспоминаний о том, как ответственно относились к этой обязанности такие выдающиеся деятели русской науки, как Менделеев, Сеченов, Тимирязев, Ключевский, Тарле и многие другие. И я возмечтал о возможно резком поднятии уровня чтения лекций в нашем институте. Я считал, что хорошее чтение лекций не только способствует легкому восприятию и дальнейшему усвоению трудного материала студентами, но и полезно для самого преподавателя, ибо дисциплинирует его мысли, чеканит словесное выражение понятного и уложившегося в голове. Об этом знал по своему небольшому опыту. Помню, как мне пришлось туго, когда профессор Дьячков поручил мне чтение курса по одному из специальных разделов химии. Буквально вызубривал каждую лекцию, чтобы хоть как-то приблизиться к тому уровню, на каком читал сам профессор. Это означало, что я не мог читать по записанному, но в это же время не мог надеяться на логику своего мышления, на свое умение импровизировать достаточно удачные, достаточно грамотные фразы. Поэтому я заранее отшлифовывал, заготавливал фразы, определяющие основное, стержневое в лекции, ибо мой шеф учил меня, что эти фразы должны быть афористично-краткими, экономными на слова и в то же время совершенно полно и точно выражающими данное понятие, данную мысль. И следовательно, когда говорю о вызубривании, я вовсе не имею в виду школярское, студенческое заучивание наизусть того, что написано в том или ином известном учебнике. Готовя лекции, я следовал направлению моего профессора: лекция должна была собирать и синтезировать главное, что написано у других авторов с возможными дополнениями от себя, и излагаться с точки зрения понимания самого лектора. При таком подходе к подготовке и чтению лекций приходилось трудиться довольно основательно. Я старался на своих лекциях быть академически строгим, считывал каждую минуту, подражая в этом Дмитрию

Викторовичу. И все же не всегда бывал доволен собой, в особенности в первый год чтения. Например, в самом тщательно подготовленном материале, очень для меня ясном по содержанию и сути, вдруг обнаруживал пункты, где мои толкования оказывались не очень правильными или даже совершенно неправильными: причем это бывали чаще те пункты, в понимании которых до этого у меня не возникали сомнения. Покрывшись холодным потом, со стыдом должен был признаться студентам об ошибочности преподнесенных мной представлений. Но именно эти тяжелые признания теперь вспоминаю с благодарностью, ибо они внесли в мою самоуверенную натуру необходимую дозу научного скепсиса — никогда не считать лишним еще раз обсудить самые ясные вещи.

Подробно разбирая и оценивая состояние учебных дел в институте, я находил массу таких недостатков, которые хотелось немедленно устранить: эти недостатки имелись не только в чтении лекции, но и в других формах обучения студентов. Я желал поднять дело обучения в институте под те высокие требования, которые у меня сложились за короткий срок моей работы на кафедре и которые воспитывал во мне профессор Дьячков. Строил прекрасные планы и советовался по их поводу с моим коллегой, заместителем директора по научной работе, доцентом Кальницким Львом Моисеевичем. Это был человек с богатым жизненным опытом: работал и главным инженером крупного химического завода, и директором большого вуза. Он выслушал меня и выразил восторженное удивление тем, как быстро я смог разобраться в столь сложной сфере деятельности института, подчеркнул интеллектуальную высоту, на которой нахожусь, не менее восторженно хвалил мои планы, совершенно не сомневался в их осуществимости, признался в том, что он всегда был высокого мнения о моих организаторских способностях, тут же посоветовал мне немедленно приступить к делу. Как все же слаб человек: мне приятно было слушать, я поверил во все, что он говорил. На другой день, прохладным сентябрьским утром, идя на работу, вспомнил похвалы Льва Моисеевича и начал в них сомневаться. На самом деле, он меня знал еще с аспирантских лет, кафедры наши находились рядом, работая по одной специальности, мы вместе бывали на семинарах, он состоял на партийном учете у нас на факультете, и, когда я некоторое время был

парторгом факультета, часто приходил к нему по факультетским делам и что-то ни разу не замечал его благосклонного отношения ко мне. Наоборот, от него всегда веяло каким-то оскорбительным холодом: он разговаривал со мной нельзя сказать, чтобы свысока, а как-то исчерпывающе кратко, внушительно и указующе. Я принимал это, как должное, ибо он был старше даже моего профессора и этого было достаточно для меня, чтобы при любых условиях сохранять почтительность. Я знал, что он находил возможным явно вредить мне: мои статьи, представленные в сборник института, лежали в его сейфе без особых оснований из года в год, и из-за малочисленности публикаций затянулось присвоение мне ученого звания доцента. Я и при этом не считал возможным сойти со стези почтительности. Лев Моисеевич, по-видимому, был страшно самолюбивым человеком. Однажды, после моего доклада на факультетском семинаре, он подошел ко мне и сказал, что он сейчас исследует один процесс, в котором можно использовать изученную мною реакцию. Я знал, что Лев Моисеевич много работает в лаборатории, и мне было приятно его признание. Но когда он показал мне свои записи по этому поводу, я заметил в них одну нелепость и робко растолковал, почему это нелепо. Лев Моисеевич посмотрел на меня, закрыл свою толстую рабочую тетрадь и сразу же перевел разговор на другую тему. На этом наши научные контакты закончились. Шел в то сентябрьское утро, думал и приходил к выводу, что в похвалах моего коллеги нет ни грамма искренности и что у него вообще не было никакого желания по-деловому обсудить мои планы. Я понял, что, зардев от его похвалы, показал свою слабость, свою податливость на лесть.

Лев Моисеевич не был искренним советчиком и не к нему мне надо было обращаться. Я мог обратиться к профессору Дьячкову, но этого не делал, поскольку чувствовал, что мой переход на административную должность он воспринял без всякого энтузиазма; и я не хотел раздражать его. Мог обратиться к Кемельхану Айтпаевичу, но не хотелось этого делать, считал, что к нему следует идти с докладом о победных результатах работы. Оставался неизменный Николай Александрович. К нему и обратился. Он внимательно выслушал меня и сказал:

— Это хорошо, Мажит Муканович, что ты стараешься во всем разобраться, выработать свою оценку состояния

дел. Недостатки, о которых ты мне говоришь, были мне известны, о них знают в общих чертах многие преподаватели. Но вот ты находишь нужным вникнуть в детали, смотреть в корень. Ты хочешь работать лучше меня, это, думаю, в порядке вещей, потому что я был старой клячей, кружившейся в пределах привычного. Не смотри на меня, я это говорю не без обиды. Говорю честно, от сердца — ты — хороший парень, и я не могу иначе. Но учти следующее: то дело, которым ты занимаешься, это — работа в основном с людьми, и ни один из этих людей не считает, что он глупей тебя и глупей кого-либо вообще. Поучениями и наставлениями здесь не возьмешь. Необходимо быть изобретательным в обращении с людьми, чтобы не наломать дров. Ты вырос на лучшей кафедре у одного из самых добросовестных профессоров и у тебя обо всем невинные представления. Отсюда и твое желание все переделать быстро и немедленно. Бойся, мой друг, в этом деле чересчур решительных действий. Не думай, что я тебе советую продвигаться к цели «медленным шагом, робким зигзагом», но все же обдумай каждый свой шаг, памятуя, что одна ошибка зачеркнет все твои победы и достижения. Работа у тебя, честно скажу, не очень благодарная. «Спасибо» заслужить не всегда удастся. И все равно надо работать, много работать, надо делать лучше, чем вчера, время этого требует...

Так говорил Николай Александрович, и я чувствовал, как он мудр и искренен, как легко от его слов, от высказанной им правды. Я теперь даю точно такие же советы моим молодым коллегам, когда они обращаются ко мне, и не нахожу в своих советах ничего сверхмудрого. Но также хорошо знаю, что не всем суждено вовремя усвоить чужой жизненный опыт. И, вспоминая Николая Александровича с особой теплотой в душе отмечаю, что, не будь его советов, я бы и сам, наверное, пришел к тем же соображениям, но ценою ненужных недоразумений и ошибок, и, может быть, даже слишком поздно. В молодости не всегда мы бываем склонны по-настоящему оценить предупредительную внимательность старших, умудренных жизненным опытом товарищей и оттого, наверное, бываем не в полной мере благодарны. Я любил и уважал Николая Александровича, но мне кажется, что всю глубину и мудрость его наставлений я по достоинству оценил лишь недавно, когда получил известие, что этот

душевно щедрый, умный человек скончался. Как все-таки плохо, друг мой, что мы склонны умиляться добрым делам добрых людей после их смерти, не особенно думая над этим при их жизни.

А ко Льву Моисеевичу я все же продолжал обращаться за «советами», но это делал большей частью тогда, когда у меня было хорошее настроение и для душевного веселья хотелось услышать дифирамбы коллеги. Мало того, и сам теперь довольно успешно хвалил дела и действия Льва Моисеевича ему же в глаза. Но когда официально обсуждались вопросы нашей работы, каждый из нас по поводу дел другого или молчал, как рыба, или говорил что-то совершенно неопределенное, несмотря на то, что мы чувствовали, как это раздражало Кемельхана Айтпаевича. В то же время Лев Моисеевич в те промежутки, когда мне приходилось оставаться за директора, делал вид, что готов к исполнению любых моих указаний, принимая какую-то неестественную, подчеркнуто подобострастную позу, постоянно обращая внимание на мое служебное старшинство. Во всем этом чувствовалась нарочитость, и эта нарочитость меня корбила. Словом, та человеческая простота во взаимоотношениях, в которую легко укладываются и служебная субординация, и взаимное товарищеское внимание в сочетании с чувством достоинства и сердечностью, у нас не получалась. Удивительно, что, подражая ему самому же, я сумел сохранить со Львом Моисеевичем внешне хорошие, даже «идиллически» хорошие отношения. И, хотя я старался находить смешное в этой постоянной игре во взаимное уважение, она была мне страшно неприятна и, честно скажу, обходилась дорого.

Лев Моисеевич умер недавно, лишь за год или два до кончины получив долгожданную степень доктора наук. К этой цели он стремился давно, работая над диссертацией не менее двадцати пяти лет, срок, за который многие первичные данные в наше время безнадежно устаревают. У него не было учеников, несмотря на то, что немалое число молодых людей работало на его кафедре, выполняя по его заданию эксперименты. Правда, молодые люди часто менялись, во всяком случае не помню ни одного человека, удержавшегося в его окружении и выросшего под его руководством. Преподаватели его кафедры не были его учениками. Нам это несколько странно было

видеть: на нашей кафедре все мы были учениками Дмитрия Викторовича и продолжали находиться в сфере его научных интересов. Я теперь знаю, почему Лев Моисеевич не имел учеников и почему он так долго делал докторскую диссертацию: он очень боялся посвятить в свои научные замыслы кого-либо, и сотрудникам он до деталей расписывал, как делать тот или иной заданный опыт, не объясняя научную суть задачи. При таких условиях ни о каком творческом отношении к научному эксперименту не могло быть и речи, оставалось слепое исполнение на лаборантском уровне, и это, естественно, не вызывало ни у одного сотрудника энтузиазма: наоборот, приходило желание скорее покинуть Льва Моисеевича. А отсутствие своевременного широкого обсуждения научных результатов работы при недостаточно грамотном исполнении в силу частой сменяемости сотрудников приводило, вероятно, к тому, что многое делалось неправильно и вхолостую. Работая рядом, я чувствовал, что Лев Моисеевич снедаем желанием стать доктором наук, и тем не менее он не понял, что путь, избранный им для достижения этой цели, является самым длинным, самым неплодотворным. Ведь он как огня боялся иметь рядом человека, который мог бы на должном уровне обсуждать научные дела. Так и продолжал он работать, не вырастив ни одного ученика и в силу этого не сумев довести разрабатываемую проблему до достойного завершения. Между тем, знакомясь с его публикациями, я убедился, что проблема, которой он занимался, была актуальна, и в этом Лев Моисеевич не ошибался. Приближаясь к семидесяти, мой бывший коллега достиг желанного — стал доктором наук, профессором, но, как и следовало ожидать, проблему, которой он занимался, никто теперь не продолжает, по крайней мере, в том аспекте, в каком разрабатывал ее Лев Моисеевич. Но надо отдать должное ему: при методе работы, о котором я рассказывал, это, может быть, единственный случай в наше время в экспериментальных науках, когда удалось довести ее результаты до уровня докторской диссертации, что произошло лишь благодаря настойчивости, энергии и целеустремленной напористости Льва Моисеевича. И все же научная деятельность профессора Кальницкого остается в моей памяти примером того, как малоплодотворен индивидуализм в научной работе.

Дорогой друг, не хотелось бы загружать твое внимание

профессиональными подробностями своей работы. Я теперь считаю, что практическими тайнами специальности при наличии соответствующих теоретических знаний можно всегда овладеть. Гораздо труднее бывает, когда приобретенный опыт по специальности приходится использовать не только для усиления личного вклада в дело, но и на то, чтобы направить и улучшить работу других. В научных коллективах это, пожалуй, самая трудная задача. Исполнение обязанностей заместителя директора по учебной работе преподавало мне в этом отношении поучительные и запоминающиеся уроки. Я начал познавать людей, я стал убеждаться, как много подводных камней в каждом человеке и как легко об эти камни споткнуться. Душою чувствовал мудрую предупредительность Николая Александровича, советовавшего быть вдумчивым и осторожным.

Одной из кафедр по теоретическим основам геологических дисциплин заведовал маститый профессор Яницкий Георгий Леонович. Мы прониклись к нему уважением еще со студенческих лет; красивый, выхоленный, с темно-каштановой писаревской бородой, с густой гривой не тронутых сединой волос, с благородным греческим носом на бледноватом лобастом лице, с глубоко сидящими, большими карими спокойными глазами. Он всегда вызывал особое восхищение у наших девушек. Мне казалось даже, что некоторые из них тайно были влюблены в него. Лекции Георгий Леонович читал с какой-то изящной легкостью. Я уже писал, что в системе вузовского обучения лекции, на мой взгляд, казались главным звеном, на которое следует обращать внимание. Стараясь улучшить качество лекции путем взаимоконтроля, обмена опытом и другими методами, я стал посещать лекции преподавателей, хотя понимал, что в общем большом плане работы мои личные посещения не могут играть особо заметную роль. И все же это было необходимо для примера другим. Я попросил Георгия Леоновича посоветовать мне, чью лекцию по его кафедре мог бы посетить. Не задумываясь, он сказал, что желательно нам с ним пойти на лекцию доцента Орманова. Я знал Орманова. Этот плотный, маленький человек с торопливыми манерами вечно носился по институту с полураскрытым ртом и всем и каждому рассказывал о каких-то своих неотложных нуждах, о бумагах, которые должно подписать начальство, о приборах, которые надо

достать, о своей научной работе, которая кем-то и чем то тормозится; рассказывал такой напористой скороговоркой, как будто у всех, кому он говорил о своих делах, нет ничего другого, как вникать в нужды доцента Орманова. При этом он не забывал упомянуть и месту и не к месту имена больших людей, вниманием которых он, доцент Орманов, пользуется. Мне не приходилось быть знакомым с преподавательской деятельностью этого доцента, и я согласился с предложением Георгия Леоновича, даже не задав вопрос, почему мы должны пойти на лекцию Орманова, а не кого-либо другого.

И вот мы с Георгием Леоновичем сидим на лекции доцента Орманова. Материал, который он читает, мне знаком по первому курсу, но я его забыл настолько, что вспоминаются какие-то осколки и мне трудно проследить за ходом суждений лектора и что-то логически связное записать. Но смотрю на тетрадь рядом сидящего студента и вижу, что он тоже не может записать что-либо путное. Дело в том, что доцент Орманов мечется у доски, торопливо выводя на ней какие-то цифры и формулы, и тут же, не успев толком объяснить, стирает их. Говорит быстро, брызжа слюной, то возвышая голос до патетических высот, то снижая до шепота. Сажу, слушаю, и мне начинает казаться, что лектор сам плохо усвоил читаемый материал и вся эта патетика и все эти метания у доски есть лишь нарочитость, лишь прикрытие незнания. Изнутри волнами поднимается возмущение: чему научатся студенты у этого доцента и почему это допускает профессор Яницкий. И все же не подаю вида: надо вытерпеть двухчасовую пытку, называемую лекцией Орманова.

После лекции захожу в маленький кабинет Георгия Леоновича. Сажусь на диван и смотрю на примостившегося рядом Орманова; он, несмотря на усталость, смотрит на нас своими большими навывкате глазами возбужденно и победоносно, как будто только что показал нам пример самой лучшей в мире лекции. Обращаюсь к Георгию Леоновичу, чтобы он высказал свои замечания. Георгий Леонович теребит бороду, смотря куда-то в сторону, и своим спокойным бархатным голосом говорит:

— Рахат Ахметович прочитал, мне кажется, неплохо. Может быть, немного торопился. Особо серьезных замечаний нет.

Смотрю на Георгия Леоновича и хочу встретиться

с ним глазами, но он избегает этого. Орманов же смотрит на меня еще победоноснее и веселее. Некоторое время продолжается тяжелое для меня и для Георгия Леоновича (чувствую это потому, как у профессора беспокойно бегают в бороде пальцы) молчание, и я наконец говорю:

— Ну что ж, давайте на этом тогда разговор закончим. Георгий Леонович, вы сможете заглянуть ко мне после обеда?

— Пожалуйста,— говорит он, облегченно вздохнув, и мы расходимся.

Георгий Леонович был, по-видимому, занят и пришел ко мне лишь к концу работы. Это, пожалуй, даже было хорошо, чтобы, охладив возмущение, более спокойно обдумать ход разговора. Я решил начать с прямого вопроса:

— Георгий Леонович, скажите честно, это правда, что доцент Орманов прочитал сегодня лекцию неплохо?

— Нет, Мажит Муканович, прочитал он свою лекцию плохо, я хотел, чтобы вы увидели, как плохо читает...

— Но поправить его должны вы. Вы же отвечаете за качество и обучение студентов по дисциплинам вашей кафедры. А доцент Орманов, если он читает всегда так, а думаю, что всегда так, он портит и студентов, и себя...

— Все это правильно. Но ведь стоит сделать ему замечание, хлопот не оберешься; он, во-первых, будет считать, что я говорю из зависти, во-вторых, начнет везде шуметь, что его хотят выжить, и т. д., и т. п. Житья не будет... Вот я и думал, может быть, вы поможете.

— Как поможете?

— Но вы же убедились?

— То есть как убедился? Я убедился, но я не специалист, а администратор для вас... а вы заведующий кафедрой и в делах своей кафедры и законодатель, и судья... самый авторитетный судья, ибо вы профессор, большой, очень большой ученый... Я могу поддержать или не поддержать ваше мнение. А вы при нем мне сказали: «Неплохая лекция». Скажите, какое из ваших мнений поддержать: или то, которое вы высказали утром, или то, что вы говорите сейчас? Нет, так не пойдет, Георгий Леонович, так работать нельзя...

Как только я произнес последние слова, Георгий Леонович, спокойно слушавший меня, сидя за приставным столиком в профиль ко мне, резко поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Мажит Муканович, не вам меня учить, как работать. Я был профессором тогда, когда вы были студентом,— с голоса Георгия Леоновича сошла обычная, располагающая бархатность, и он стал каким-то визгливо-сиплым, лицо побледнело, борода угрожающе поднялась на меня. Это было неожиданно, но я успел опомниться и пошел во встречную атаку:

— Я не учу вас, но я вынужден говорить о недостатках в вашей работе, потому что это моя обязанность, а ваша обязанность не цепляться за слова, а по-деловому обсуждать недостатки в работе и не прикрывать их званиями и регалиями...— Эти последние слова подлили, по-видимому, масла в огонь; обычную степенность и медлительность с Георгия Леоновича как ветром сдуло, он вскочил, вызываясь уставился на меня и, заикаясь, произнес:

— Нет, я не позволю вам, молодой человек, разговаривать со мной в таком оскорбительном тоне!

— Я не позволю, глубокоуважаемый профессор, третировать меня при исполнении моих служебных обязанностей! — вскочил и я, упершись своими глазами в округлившиеся и уменьшившиеся от злости большие глаза Георгия Леоновича.

— Нет, я не могу продолжать такой разговор. Ни один руководитель института за два с лишним десятка лет работы в таком тоне со мной не разговаривал,— он резко повернулся и зашагал к двери. Я успел лишь заметить, как угрожающе ссутулилась его спина, и этого не мог скрыть даже его просторный, элегантный серый пиджак.

Георгий Леонович ушел, я почему-то продолжал стоять, перебирая и перекладывая бумаги и книги, лежавшие на столе, и лишь через некоторое время заметил, как дрожат у меня руки, как перекладываю и перебираю бесцельно и напрасно, ибо все лежало удобно и на своем месте. Начал приходить в себя и понял, что совершил что-то неприличное и недопустимое, что у меня просто не хватило выдержки переждать неожиданный гнев пожилого, заслуженного человека, у которого нервы в несравненно худшем состоянии, чем у меня. Первой мыслью было бежать, найти Георгия Леоновича и извиниться. Но какой-то здравый, трезвый голос настойчиво шептал: повремени, успокойся, рабочий день кончился, вслед за сегодняшним вечером наступит утро, которое будет мудренее...

Вечером я позвонил своему другу Вербе Ивану Александровичу, работавшему на кафедре Георгия Леоновича. Мы с ним сошлись, как земляки, ибо его родители когда-то крестьянствовали приблизительно в тех же местах, где и мои. Этот добродушный, свойский, словоохотливый толстяк мне imponировал открытостью своего характера, какой-то легкой, не обязывающей простотой во взаимоотношениях и бескорыстной готовностью быть возле в необходимые моменты. Вспомнив друга Вербу, я с сожалением подумал: как это могло случиться, что ни разу подробно не расспросил о Георгии Леоновиче, несмотря на то, что мы встречались частенько и по поводу, несмотря на то, что сам в такие моменты изливал Ивану душу и не раз выслушивал его излияния, когда тот в застолье, прислонившись к моему плечу, начинал почти поэтически рассказывать самое затаенное, самое сердечное, а потом дня два не смотрел на меня, как будто совершил что-то неприличное и постыдное. И вот, после неприятной сцены с профессором Яницким, решил испытать мудрость своего друга, ибо, по всей вероятности, он на самом деле был мне истинным другом, если я решил обратиться к нему, когда мне было тяжело.

— Дорогой друг-украинец! К тебе звонят от заместителя директора доцента Нурбаева...

— Как это хорошо, когда Нурбаев звонит от Нурбаева! Слушаю тебя!

— Давай поболтаемся по улицам города.

— Немедленно иду. Не смею отказать; самое опасное в жизни — месть начальства.

И вот мы, два толстяка, гуляем по улицам города, обращая на себя внимание прохожих своей слоновьей эlegantностью. Мне тогда казалось, что полнота присуща только Вербе, недавно же при разговоре он мне пояснил, что этим тогда отличался именно я. Проходим мимо известного погребка, заглянуть в который мы находили обязательным; на этот раз приятель не приглашает меня туда, ибо мы уже приобретаем степенность и отвыкаем от взаимоугощений на ходу, к тому же чуткий друг замечает мою нерасположенность к веселью. Рассказываю Ивану Алексеевичу, как присутствовали на лекции Орманова и как поссорился с его шефом. Внимательно выслушав меня, толстый человек хохочет, колыхаясь всем телом.

— Могу поздравить тебя с удачей, создалась обстановка, когда тебе враз удалось познать Георгия Леоновича. Если бы я рассказал тебе о нем, при твоей склонности все анализировать по-своему ты бы, пожалуй, не поверил. Наш профессор остался бы неплохим и при другом варианте: пошел на лекцию другого преподавателя, который сносно читает, таких у нас большинство, разошлись бы с Георгием Леоновичем, приятно пожав друг другу руки. Повезло, истинно повезло. А на самом деле все обстоит и просто, и сложно. Просто потому, что Орманов действительно к лекциям не готовится и читает их плохо. Это знают на кафедре все и лучше всех Георгий Леонович. Сложно потому, что Георгия Леоновича не заставишь сказать об этом официально и вслух. А Орманов этим пользуется. Он увлечен своими экспериментами, и ему не до лекций, хотя лекции — его основная работа. Он терроризирует Георгия Леоновича своими нескончаемыми просьбами, жалобами на нехватки и пугает своей неумемной инициативой... А Георгий Леонович привык ничем не заниматься, кроме самых обычных кафедральных вещей, которые не требуют ни обдумывания, ни хлопот... Он не хочет заниматься и потому решил ни в коем случае не трогать этого ершистого и суетливого Рахата, достаточно ему того беспокойства, которое вызывает этот человек своим присутствием на кафедре.

— А как же качество преподавания?

— Боже мой, что за чиновничий вопрос, ведь есть другие, более добросовестные преподаватели на кафедре, и это качество в среднем выглядит неплохо. Георгий Леонович утешен: в семье не без урода, то бишь не без недостатков.

— Этого я не понимаю. Во всяком случае, если бы я читал так, Дмитрий Викторович не пустил бы меня в аудиторию к студентам.

— То Дмитрий Викторович... Георгий Леонович — совсем другой человек. Я его знаю. Это — очень способный человек, он очень рано стал доктором наук, профессором. И сразу же поставил себе задачу: прожить спокойно и долго, поскольку высокого уровня жизнеобеспечения он себе добился. И в связи с этой конкретной задачей жизни он все делает так, чтобы все, с чем и с кем он соприкасается, вызывало в нем минимум беспокойства. Нельзя сказать, что он в науке не работает, но он работает так,

чтобы ни себя, ни другого особенно не тревожить; поэтому-то он избрал для своих научных занятий исключительно теоретические раздумья, на основе которых он публикует в два-три года одну статью, оформляя ее таким образом, чтобы, не дай бог, не задеть кого-либо и не нажить себе хлопот. С аспирантами он не работает, если и работает, то так, чтобы ими была сделана работа, требующая не слишком большого внимания от руководителя. Из-за этой годами выработанной защитной реакции против настоящего дела, из-за этого, прямо скажем, равнодушия я защитил свою диссертацию лишь через четыре года после окончания срока, томясь и ожидая, когда соизволит посмотреть и сказать что-то мой глубокоуважаемый шеф. И представьте себе, по-видимому, не очень много таких глупцов, как я, немногие идут к нему в ученики, и количеством последних Георгий Леонович не может похвастаться. Он ни за что не тронет Орманова. Душевное спокойствие в том понимании, какое у него сложилось, ему дороже всего.

— А почему он со мной поссорился, почему в данном случае не сработала его защитная реакция?

— О, тут другой коленкор... Он привык к уважению, привык к тому, что ему даже на недостатки указывают с помощью деликатных намеков. И вот после всего этого какой-то мальчишка, бывший его студент, брякает: «Так работать нельзя». К этому он не был подготовлен. Спесь заиграла, не выдержал... Зато теперь он кается и утром придет извиняться. Нажить в тебе врага он не сможет, это же источник постоянных беспокойств, постоянного неравновесия. Этого допустить он не сможет...

— Слушай, я ведь хотел бежать извиняться...

— Ни в коем случае этого нельзя делать, тем более, ты прав во всем... Он прибежит завтра, как миленький... Считай меня пророком и ставь коньяк.

— Ставлю. Но все это очень странно. Как часто люди оказываются не теми, кем их представляешь... Ну а что с Ормановым, он так и будет продолжать или что-то с ним можно сделать?

— Наверное, можно сделать. Но это сделаешь ты, а не Георгий Леонович... Профессора не заставишь. А с Ормановым надо просто пожестче поговорить, и он будет неплохо готовиться к лекциям. Правда, мысли его бегут вперед, опережая слова и действия, он не только не умеет тормозить свои мысли, наоборот, гонится за ними, как

ошалелый, спотыкаясь, прыгая и даже кувыркаясь... Боюсь, что он никогда не сможет излагать мысли вразумительно, в расчете на усвоение слушателей. Зато через несколько лет он станет доктором наук. Георгий Леонович ни помогать ему в этом, ни мешать не станет. Это уже твоя забота... Но студенты будут страдать. Завтра придет Георгий Леонович, не знаю, до чего ты с ним договоришься, но знаю: суетными делами заниматься ты его не заставишь.

Профессор Яницкий не позволил усомниться в справедливости характеристики, данной моим умным другом: он утром позвонил мне.

— Мажит Муканович! Я, по-моему, напрасно вспылал вчера, нервы, знаете... Я хочу прийти к вам... — Голос его звучал извинительно и по-прежнему бархатно, хотя, к сожалению, не так приятно и располагающе, как прежде.

— Пожалуйста, приходите, мало ли что бывает в работе... У нас в народе говорят: «Размолвка между мужчинами — к крепкой дружбе».

Пришел Георгий Леонович, спокойный, виноватый, но твердый в своем намерении отстоять спокойную жизнь. Я это видел по глазам. Говорил ему вещи покрепче вчерашнего, но он был твердокаменно спокоен. И когда речь зашла о лекции Орманова, он стал просить меня же поговорить с ним, а за этим я слышал: было бы хорошо, если бы Орманов вообще ушел с кафедры. И разговаривал он со мной с такой наивной простотой, смотрел на меня такими ясными глазами, словно речь шла не о серьезных делах, а о каких-то пустяках, которые не стоили смешных и никчемных размолвок, подобных вчерашней.

Я впервые почувствовал, как бессилен в своем административном рвении: говорить о смещении Георгия Леоновича не мог, потому что он был доктор наук, профессор, таких у нас было не очень много, и постановку вопроса в этом плане сочли бы «мальчишеством». Но и заставить работать Георгия Леоновича тоже не представлялось возможным, ибо непробиваем был на нем годами выработанный панцирь равнодушия и беззаботности, и сам Георгий Леонович — он это принял, как должное: настолько привык к тому, чтобы работали за него другие. Орманов действительно, как и предсказывал мой приятель, не стал хорошим лектором, однако после беседы со мной начал лучше готовиться и читал довольно сносно.

Зато, познакомившись со мной, он приобрел дополнительную возможность для изыскания нужных приборов, для обращения к нужным людям от имени института и периодически мобилизовывал меня на эти дела. Словом, Орманов умел даже свои недостатки использовать в интересах своего дела.

Прошло более двух десятков лет, и теперь, встречаясь иногда с профессором Яницким, убеждаюсь, что время действует на Георгия Леоновича намного медленнее, чем на других; он продолжает руководить той же кафедрой и остается таким же величавым и выхоленным, как и тогда; правда, в последний раз, взглянув на его лицо, заметил над широким лбом тонкий бесцветно-белый слой, на котором, казалось, как на воздушной подушке, держалась шапка по-прежнему густых, темных волос. Орманов ныне доктор наук, профессор, уже выдвигался в состав Академии наук. Он по-прежнему тороплив, в его большом научном окружении жизнь беспокойна, ученики уважают его и лишь изредка жалуются на все усиливающуюся суетливость шефа.

Дорогой друг, ты, наверное, уже заметил, как все люди для меня были хорошими, пока я был иждивенцем государства или был на такой работе, где, по-существу, ни за что не отвечал. Стоило мне перейти на уровень повыше, когда потребовалось думать о вещах в широком плане и решать дела, связанные со своей деятельностью, когда стало необходимым влиять и направлять дела других, как начали явственно, более четко выявляться достоинства и недостатки людей и как эти достоинства и недостатки с большей эмоциональной нагрузкой стали отражаться в моей душе. Это ведь удивительно, что у меня не было никакого интереса к делам кафедры Яницкого, хотя я всегда поддерживал самую тесную дружбу с членом этой кафедры и теперь уже знакомым тебе другом Вербой. Точно так же у нас на кафедре мы весьма дружелюбно посмеивались над нашим старшим другом доцентом Куцым. Этот коренастый небольшого роста человек с пышной шевелюрой, с большими добрыми глазами на больsherотом лице был удивительно деликатным, до бесхарактерности мягким человеком. Он страшно боялся кого-либо обидеть. Этим пользовались нерадивые студенты. На этой слабости иногда играли мы с Гайнитдином. Помню, как-то Куций, Гайнитдин и я принимали у студентов курсовые проекты. Куций председательствовал, я вел протокол. После оче-

редной защиты студент вышел за дверь, мы стали обсуждать, как оценить проект. Я и Гайнитдин перемигнулись, взяли председателя на вилку: Гайнитдин настаивал на пятерке, я — на тройке. Коллега наш растерянно смотрел то на Гайнитдина, то на меня и, когда мы, изрядно поспорив, уставились на него, ожидая окончательного решения, он сказал:

— Я считаю, что Гайнитдин Надирович прав. Действительно, отмеченные им достоинства проект имеет. С другой стороны, Мажит Муканович тоже прав... — мы ожидали этого и слушали долго, как он «разъяснял», почему каждый из нас прав одновременно, пока нетерпеливый Гайнитдин не выпалил: «А может быть, четыре?» Куцый с радостью ухватился за это «четыре», быстро согласился, даже сделал вид, что он сам клонил к этой оценке, хотя мы видели, как он хотел поставить, если бы это можно было, одновременно и «пять», и «три», чтобы угодить каждому из нас, и боялся сказать «четыре», ибо в этом случае надо было брать «ответственность» на себя. Гайнитдин трясся от смеха, захохотал и я, к нам присоединился наш председатель, продолжая сквозь смех разъяснять, что, действительно, работа этого студента заслуживает оценку «четыре». Смешное же он находил лишь в том, что мы почему-то слишком долго обсуждали такую бесспорно ясную вещь!

После инцидента с профессором Яницким я почему-то думал о том, что было бы с нашей кафедрой, если бы во главе ее вместо Дмитрия Викторовича оказался доцент Куцый, ибо по служебному списку в случае отсутствия профессора он мог претендовать на эту должность. Ведь могло быть и это... Мне в дальнейшем не раз приходилось убеждаться, как долго могут сидеть на этом месте, куда посадят, люди, строго придерживающиеся линии: «лишь бы не обидеть», «лишь бы не потревожить».

Проявляя озабоченность о качестве лекционной формы обучения в институте, я понимал, конечно, как нелегко быть хорошим лектором. Я знал, что лектор, увлекающий аудиторию искусством изложения научного материала, не только стремится прекрасно знать предмет лекций, горит желанием доходчиво и понятно его изложить, но имеет в себе что-то от природы. Для меня в этом отношении примером оставался доцент Василий Викторович Бугров, преподававший нам курс общей химии в первые два года обучения в институте. Читал он лекции импуль-

сивно, блестяще и как-то даже весело. Но при воспоминаниях о Василии Викторовиче у меня в душе до сих пор поднимается что-то такое, что повергает меня в неуютное молчание.

...День был прекрасен: с утра было сделано столько дел, сколько в иных случаях не удавалось и за несколько дней; и оттого, наверное, обедалось как-то вкусно и смачно, удалось даже прикорнуть после обеда. Теперь же, придя с обеденного перерыва, сидел у себя в кабинете, приятно осознавая значительность дел, которыми мне приходится заниматься по должности, и с особым удовольствием перечисляя в уме служебные удачи; было такое состояние, что вспоминались только удачи, а неудачи, которых было не меньше, чем удач, отодвинулись куда-то в небытие, будто они не имели для меня никакого значения. В этом радушном настроении принялся было перебирать по записи на календаре то, что мне предстоит выполнить до конца рабочего дня, как кто-то тихо, неуверенно-тихо постучал в дверь. На мой веселый возглас: «Пожалуйста!» — дверь медленно, узко, не до конца открылась, в нее протиснулся маленький человек с седенькой головой, в потертом полупальтишке. Человек остановился у двери и почти шепотом прошепелявил: «Здравствуйте, Мажит Муканович!» — и при этом, как провинившийся мальчишка, мял в руках шапочку. С меня слетела счастливая безмятежность, я вскочил и бережно усадил гостя на диван.

— Спасибо, спасибо, Мажит Муканович, знаете, дело стариковское — легко дрогну, зябко что-то,— пробормотал старик, располагаясь на диване и откладывая в сторону шапку. Ему было, наверное, на самом деле зябко: он хохлился, ежился и беспокойно тер руки. Мне стало как-то не по себе от того, как всего минуту назад был далек от мысли, что в этот погожий октябрьский день кому-нибудь, может быть, неуютно в нашей прекрасной столице. Старик повернул в мою сторону лицо — я видел, как дрожит маленькая бородашка клинышком и моргают подслеповатые глаза — робко, очень робко, каким-то извиняющимся голосом сказал:

— Мажит Муканович, я — пенсионер, работал здесь доцентом. Я решил вас побеспокоить; стало холодно, а у меня со старухой уголь кончился... Хотел к директору пойти, у него приемный день к концу недели... Вы уж

извините, решил к вам постучаться... Дни все холоднее...

— Хорошо, что зашли... правильно сделали... Я же ваш ученик. Вы должны меня помнить...— суетливо бормотал я.

— Стар... Стар Мажит Муканович... Извините, не помню...

— Как вы блестяще читали... Как вы оживляли аудиторию выдержками из своей «химической поэмы»,— неудержимо продолжал я. Когда упомянул о «химической поэме», старик дернулся, всплеснул руками и нервно произнес:

— Мажит Муканович, вы не вспоминайте мне этих глупых стишков... ведь из-за них я пострадал... И стишки были глупые... И сам я был глупым...

Я, дорогой друг, по-видимому, был очень растерян в связи с приходом неожиданного гостя, ибо даже не сразу сообразил, какую страшную бестактность совершил, напомним ему о «химической поэме». Старик так разволновался, что я не нашел другого выхода, как немедленно повести его к директору, познакомить с ним, и рассказать о просьбе гостя. Кемельхан Айтпаевич умел понимать нужды людей, он с большим вниманием выслушал нас и, вызвав заместителя по хозяйству, распорядился не только выделить уголь, но и посмотреть его жилище и сделать необходимый ремонт. В то время многие наши преподаватели жили в неблагоустроенных квартирах, и директор знал, что они, эти квартиры, собой представляют. Старик был растроган заботой, растроган настолько, что не знал, как и благодарить. Он, очевидно, не привык просить и искренне извинялся за то, что отнял у нас столь много драгоценного времени, голос его срывался от неожиданной радости.

Проводив, несмотря на его протесты за излишнее внимание, до тротуара, я стоял и смотрел, как бодро и весело засеменил старенький, кургузенький человечек, обрадованный привалившим счастьем; ему, наверное, невдомек, что для него не было сделано ничего сверх того, что полагалось сделать человеку, находившемуся на заслуженном отдыхе. Я стоял и думал: как много на свете созданий, взбодрить которых так же легко, как и тяжело ранить, и как мы, ненароком сбивши иных с круга жизни, не находим внимания, ласки и сердечности, чтобы вовремя встряхнуть и вернуть их к той полезной деятельности,

которую они вели до этого, не обращая ничего внимания на значение своей личности и никого не обременяя своим бытованием. С горечью думал о том, как я в свое время был глуп и самоуверен, что стал участником несправедливого шума, враз превратившего жизнерадостного, летавшего на крыльях чувства полезности людям, легкого, остроумного доцента Бугрова Василия Викторовича в такого вот прибитого, робкого, несчастного, старого воробышка, которому зябко и холодно в теплые, погожие дни среднеазиатского октября и который чувствует себя виноватым, обращаясь за тем, что он должен был бы требовать, сидя дома, а не ходить, стучаться, просить. Ты уже чувствуешь, наверное, друг, что хочу теперь рассказать о том, почему было бестактно с моей стороны напомнить Василию Викторовичу о «химической поэме».

Помню, как молодо и весело взбегал он на возвышение возле доски в своей просторной, старомодной толстовке с широким нетуго застегнутым матерчатым поясом и как мы, предвкушая самую нескучную лекцию из всех, которые нам приходилось слушать, дружно и улыбочиво приветствовали его. Он не всходил на кафедру, а останавливался возле и, облокотившись об нее, на некоторое время застыл в задумчивости, вспоминая, на чем кончил в прошлый раз. Потом вскидывал голову и начинал: «В прошлый раз, друзья мои, я вам, кажется, сказал... Сие должно быть записано у вас. Проверьте. Теперь, с вашего позволения, продолжу эту мысль...» И он очень красиво, изящно, последовательно продолжал излагать научный материал. Говорил он четко, но быстро и отрывисто, что вначале нам затрудняло запись, потом мы приспособились, ибо он главное и основное повторял, делая необходимые паузы. Никакими конспектами, записями, планами он не пользовался. Часто вслед за ним приходил лаборант, взгромождал на кафедру набор склянок, пробирок, препаратов и реактивов, и Василий Викторович искусно, эффектно, артистически, смахивая при этом на фокусника, демонстрировал те или иные химические реакции или явления, сопровождающие их. От лекций Василия Викторовича сохранилось у меня чувство какой-то сочности, емкости, красочности при полном сохранении научной глубины излагаемого. Такое впечатление, по-видимому, сложилось потому, что Василий Викторович прекрасно знал исторические истоки открытий, из которых

сложилась читаемая им наука, владел огромной массой сведений из творческой биографии множества химиков и умел очень кратко, очень увлекательно и к месту рассказать подходящий эпизод из прошлого химии, что легко закрепляло в памяти научную суть изложенного. Мы не знали ничего о личных вкладах в химическую науку нашего любимого лектора, очевидно, они были настолько скромны, что не было необходимости упоминать о них ни самому Василию Викторовичу, ни другим, однако мы хорошо знали, что наш уважаемый доцент любил свою науку, любил беспредельно. И этой любовью он заражал слушателей. Мы каждый раз ожидали окончания того или иного раздела читаемого им курса, ибо резюмировал он прочитанный раздел, как правило, стихами из сочиненной им же самим «химической поэмы». Это было рифмованное изложение химических свойств элементов по Менделееву, их мы с восторгом слушали, поражаясь тому, как искусно автор в рифмованные метрические строки втиснул строго научные термины. Не знаю, мой дорогой друг, как эти стихи выглядели с точки зрения поэзии, но нам они казались интересными и привлекательными. К сожалению, память моя сохранила лишь жалкие обрывки из того, что цитировал тогда Василий Викторович из своих «химических стихов». Помню, например, как, заканчивая раздел, посвященный свойствам всем нам известной серы, Василий Викторович прочитал, держа указку на клетке серы в менделеевской таблице, висевшей над доской:

В таблице этой в группе шесть
Под кислородом сера есть:
Тридцать два — атомный вес,
Четыре изотопа входят в смесь.

Всем знаком среди примет
Серы ярко-желтый цвет,
Сера трется в порошок
И выплавляется в кусок.

Сера в воздухе горит —
Выделяет ангидрид.
Ангидрид — сернистый газ,
В едком натре растворясь,

Серу вводит в новый вид,
Образуется сульфид.

Так вертится сера в мире
При валентности четыре.
Есть еще валентность шесть,
Ликов серы в ней не счесть.

Добиваясь простоты,
Коснемся серной кислоты...

Далее рассказывал о свойствах серной кислоты и ее солей-сульфатов. Так интересно читал нам лекции Василий Викторович Бугров, вмешая в жесткую программу и шутки, и образные сопоставления, и примеры из истории науки, и много другого, что помогало нам легко усваивать большой объем научных знаний.

Помню, когда мы уже заканчивали институт и, будучи отягощенны иными заботами, мало вспоминали о лекциях старого доцента, нам стало известно, что Василию Викторовичу исполнилось шестьдесят лет. Не было ни одного студента, равнодушного к этой дате, небольшой зал был битком набит, стол президиума завален цветами, студенты от имени курсов и групп выступали с поздравлениями, читали стихи; словом, чествовали Василия Викторовича тепло и весело. Перед ответным словом растроганный юбиляр не удержал слез, затем взял себя в руки, утер платком глаза и, внезапно изменившись в лице, сурово обратился к молодой особе, сидевшей с краю стола президиума, и, «злобно» сверкая маленькими глазами, трагически произнес:

Коварная!... Из стен потайных сейфа
Зачем открыли возраст мой?!
Я, как корабль, лег на дрейфе
С разбитой мачтой и кормой...

Молодая женщина, работавшая инспектором отдела кадров в институте и следившая по обязанности за юбилейными датами сотрудников, растерянно и смущенно заулыбалась, юбиляр же продолжал:

— Вы, пожалуйста, не смущайтесь, мужчины во все века и во всех странах не такие коварства прощали женщинам, и я вам тоже прощаю это страшное для меня

коварство...— зал застонал от смеха и зааплодировал. Затем он остроумно варьировал на тему, что ему хочется быть молодым всегда для того, чтобы быть среди молодых, для того, чтобы те знания, которые он собирал по крупицам и систематизировал в памяти всю жизнь, передать неизменным друзьям — студентам, которые, лишь меняясь в лицах, остаются постоянной средой, в которой он счастливо обитает вот уже более тридцати лет, и что вне этой среды никогда не чувствовал радостей бытия и полезности своего существования. Слова благодарности за теплое чествование потонули в продолжительном громе аплодисментов.

Таков был доцент Василий Викторович, и никто тогда не предполагал, что вскоре он перестанет читать свои веселые лекции, перестанет находиться сколь угодно долго в лаборатории со студентами, не уходя до тех пор, пока не убедится, что они до конца уразумели то, что он им толковал. Однако в жизни Василии Викторович оказался очень хрупкой натурой, он отступил при первой случайно разразившейся беде и, потеряв среду, которой он жил и дышал, превратился в жалкого в своей неуверенности, робкого просителя-старика, которым я теперь его увидел. Дело же было вот в чем. Тогда было в моде жесткое и догматическое толкование руководящих нашей жизнью идейных положений. Был у нас сокурсник (правда, он учился на другом факультете) по фамилии Поссум, который считал себя глубоким знатоком в этом деле и считал своим долгом помогать в разоблачении «теоретических ошибок», допускавшихся другими, в особенности преподавателями. Василий Викторович безмятежно цитировал нам свою «химическую поэму», мы ничего в его стихах сверх того, что они хорошо помогали усвоить учебный материал, не подозревали и не обращали внимания, например, на такие строки, касавшиеся круговорота химических элементов в природе:

В материальной круговерти
Элементы лишь в бессмертии.
Выступая в разных лицах,
В круге замкнутом кружится
Атом, чтобы возвратиться
В исходный пункт, в колее обычный
Повторяя путь привычный.

Стихи уважаемого доцента казались мне довольно строгими без каких-либо отклонений, рифмованным рассказом о свойствах элементов веществ, ими образуемых. Мне теперь даже думается, что общих суждений, подобных приведенному, в стихах его и не было, и эти строки были, по-видимому, единственными в том роде, и за них так ловко ухватился Поссум.

Не знаю, как это началось, но мне рассказывали, что Поссум вначале тоже не обращал внимания на эти стихи и лишь прозрел мгновенно тогда, когда, придя с какой-то вечеринки, друг Поссума, влюбленный в Василия Викторовича, прочитал ему приведенные звучные строки. Прозрел, действительно, мгновенно, ибо тут же стал ошарашенному другу задавать вопросы, ошелолив его сокрушающей логикой своих суждений: атом остается «в колее обычной, повторяя путь привычный», а где же тут место для прогресса и перспективы, где же тут та вдохновляющая спираль, когда повторение должно происходить на более развитой, на более высокой ступени? Ничего подобного нет! Это же проповедь тупика, безверия в будущее, безверия в прогресс! Поссум на другой день пошел к одному из руководящих деятелей института, который пришел в восторг от внезапного прозрения Поссума и от его бдительности. И колесо закрутилось. «Крамольные» строки «химической поэмы» цитировались на совете и собраниях; нашлись последователи Поссума, и автор так называемой «химической поэмы» был повержен.

Рассказывали, что он при обсуждениях растерянно молчал и лишь один раз, поднявшись на трибуну, тихим, извиняющимся голосом сказал, что он, действительно, сочинял глупости, в чем кается. Больше не проронив ни слова, он подал заявление об оформлении на пенсию. С тех пор я его не видел и не представлял себе, что он живет рядом, в старом, неблагоустроенном институтском доме.

Мой друг, ты сам хорошо помнишь то время, о котором пишу. Тогда, ты знаешь, находились люди, совершенно уверенные в том, что науке можно предписывать истины: когда, например, в биологии некая самоуверенная личность могла диктовать надуманные постулаты, не терпящие обсуждения, и в силу этого признающая вредными и даже лживыми выдающиеся достижения всего пред-

шествующего научного опыта человечества в такой решающей области познания природы живого, как, скажем, генетика, когда в других научных областях нахраписто ниспровергались многие положения, в особенности новейшие из них, как не соответствующие неизвестно откуда происшедшим предвзятым канонам. В нашей химической науке это выражалось в том, что новейшая область ее — квантовая химия, родившаяся из невозможности применять методы изучения явлений к изучению явлений микромира — мира молекул, атомов, электронов и частиц атомного ядра — и в силу этого предложившая новое, не укладывающееся в тогдашние привычные рамки и представления, воспринималась с большим подозрением. И, может быть, поэтому ее научные основы нами в институте не изучались (хотя и были достаточно разработаны), и мне пришлось с большим трудом усваивать их позже самостоятельно, ибо многие научные вопросы, с которыми я сталкивался, невозможно было объяснить без квантохимического подхода. Естественно, что нетерпимость и диктат при обсуждении научных проблем приказали долго жить, а ученые, взгляды многих из которых так или иначе тогда подвергались несправедливому осуждению, вспоминают это время, как, может быть, даже необходимое отступление для глубокого, необратимого осознания особой ценности свободы и непринужденности в делах научного творчества. Все это говорю к тому, что торжествующая нетерпимость рождает и распространяет вокруг невнимательность и черствость, сковывает в людях самые лучшие чувства. Я думал, будь с Василием Викторовичем внимательные коллеги, отнесшиеся с чувством, вовремя взбодрившие его, он бы мог еще определенное время работать с большей отдачей, чем многие преподаватели, которых я знал. В частности на той же кафедре, рядом с Василием Викторовичем продолжал работать дряхлый мрачный доцент, намного старше Бугрова, нагоняя на студентов уныние и умственную дремоту своей нудностью. Ко мне через несколько дней после посещения Василия Викторовича пришел старый, толстый, еле передвигающий свое рыхлое тело профессор, который давно перестал заниматься делом, но не перестал занимать кафедру. На мой осторожный намек, что ему, наверное, трудно из-за возраста и здоровья заниматься руководством кафедрой, он с наивной прямоотой ответил: «Мажит

одном и том же, не прерываясь, и я иногда завидовал работникам научных учреждений, в особенности академических, которые имеют возможность заниматься в одном и том же направлении, не отвлекаясь. Теперь анализирую эти годы, когда, как мне казалось, не только лишился научных темпов аспирантских лет, но и потерял научную перспективу, в особенности в свете еще не остывшего романтического желания что-то открыть, чем-то удивить окружающих (а может быть, и мир!), и думаю, что именно эти годы были для меня наиболее плодотворными. Все это пишу к тому, что в последнее время стало модным говорить: голова — не кладовая, нельзя ее заваливать, работая на запоминание, достаточно представить себе источники, из которых в необходимый момент можно почерпнуть понадобившиеся знания. Хвалит профессора, консультации которого сводились к тому, что он аспиранту или студенту указывал, порывшись в своем богатом каталоге, на источники, которые тот должен прочитать. По-моему, все это верно, но только с большой, очень большой оговоркой. Дело в том, что ни у одного ученого не может появиться конкретная, ясная и совершенно новая идея, если у него нет в голове большой суммы основательно утвердившихся знаний: чем шире, глубже, точнее, современнее он владеет наличными знаниями, тем плодотворнее, целеустремленнее он может мыслить. В свете этого я с благодарностью вспоминаю те «научно-бесплодные» годы, когда мне приходилось мысленно метаться, много читать, не только рыская по литературным источникам в пределах своей специальности, но и еще и еще раз возвращаясь и утверждая свои знания, ибо каждый раз казалось, что из-за неточности в понимании и толковании исходных положений науки не все из прочитанного в достаточной степени понятно и освоено. Поэтому ныне, когда вижу, как молодой научный работник в поисках своего пути в науке мучается в сомнениях, когда вижу, как он несчастен в бесплодной погоне за ускользающей удачей, и в то же время находит причину своих неудач в недостаточной глубине и широте научной эрудиции, я радуюсь, ибо в этой временной растерянности предвижу начало большого дела и большого научного пути.

Я, друг-писатель, кажется, чуть заболтался. Так уж устроен человек, мнится ему всегда, что то, чем живет он,

интересно всем. Я лучше расскажу тебе, как мне удавалось делать кое-какие научные поиски, поскольку, как уже писал тебе, моя научная работа не оказалась той кроной будущего большого дерева, за которым оставалось лишь усердно, умно и искусно ухаживать, чтобы оно широко, раскидисто и плодотворно ветвилось, как это получилось у моего друга Углева. Преподавательская работа была хороша тем, что постоянно приводила меня к убеждению, как много нужно работать, чтобы быть достаточно знающим наставником. Докучливые студенты-почемучки очень часто ставили в тупик своими вопросами, и, хотя в то время не всегда было приятно сознаваться в своем невежестве, теперь хорошо понимаю, что именно студенческая пытливость заставляла меня с лихорадочной поспешностью осваивать и переосваивать многое с той глубиной и точностью, какая необходима для того, чтобы научная осведомленность учителя стала добротным достоянием учащихся. Мне казалось, что есть люди, которые имеют удивительный талант знать много и точно. В этом отношении меня поражал Артем Юрьевич Кузьмин, который кончил наш институт вместе с Углевым, и, проработав несколько лет на производстве, поступил в аспирантуру на нашу кафедру. Артем занял аспирантскую комнатку и норовил своей персоной распространиться на весь лабораторный зал, ибо у него приборов, реактивов, склянок было в несколько раз больше, чем у нас с Сергеем, и все почему-то требовалось ему одновременно. Лобастый, толстогубый Артем, не мигая глубоко сидящими карими глазами, при необходимости извлекал из себя такое количество научных сведений, что можно было подумать, начальник смены в цехе (Артем занимал на производстве эту должность) имеет самые наилучшие условия для самообразования и накопления знаний. Артем поражал нас еще тем, что в лаборатории он работал 16-18 часов в сутки, побив все наши рекорды. Сергей, Гайнитдин и я однажды, смеясь, признались ему, что он, энтузиаст творческой мысли, прибывший непосредственно из горнила производственного труда, показывает своим лучшим примером, что аспиранты, работавшие здесь до него на кафедре над своими темами, были несусветными лентяями и им были неведомы ни истинная преданность науке, ни беззаветная любовь к ней.

Коренастый крепыш Артем знал толк в юморе и был

не очень церемонным человеком в обращении с друзьями. Он сказал:

— Что вы ржете, как лошади? Если бы вас ждали за две тысячи километров отсюда престарелая мать, жена и двое детей в надежде, что вот-вот вернется их кормилец с ученым дипломом и будет их кормить и одевать с большим успехом, чем было до этого, вы бы обрели не меньшую преданность и любовь к науке, чем я.

Артем работал, обычно распространяя вокруг себя беспорядок и грязь. К тому же он не допускал никаких замечаний по этому поводу, потребовав раз и навсегда не мешать ему работать. Даже властная Варвара Кондратьевна, повелевавшая нами без особых трудностей, и та отступила и не подходила к нему. Артем рычал на всех на кафедре, кроме Дмитрия Викторовича, будто все они появляются для того, чтобы мешать ему. И тем не менее все любили его, ибо за этим звериным рыком, ершистостью в характере и угловатостью манер нетрудно было распознать добрейшую душу, склонную скрывать внутреннюю нежность к окружающим за нарочитой угрюмостью и грубоватой прямолинейностью. Артем занимался комплексным использованием редкометалльного сырья и изучал очень сложный способ его переработки, требовавший отличного знания поведения каждого элемента из того десятка, который надо было извлечь. Теперь это проводится на наших предприятиях сравнительно просто, тогда же все казалось страшно сложным и непреодолимо трудным в осуществлении. Слушая Артема, я не всегда улавливал тонкости процесса, и потому мне захотелось продублировать то, что уже однажды проделал Артем. Я считал, что это позволит закрепить в памяти очень нужные детали. Сначала попробовал изучить процесс на бумаге, подробно расспрашивая Артема, и, пока понял суть и последовательность химических операций, получил несколько грубых замечаний со стороны «учителя» насчет моих умственных способностей. У меня хватило выдержки, чтобы улыбнуться на замечания, хотя Артем непроницаемо сохранял вид угрюмого требовательного наставника. Поработал я у него недели три, приходя примерно в четыре-пять после полудня и уходя в одиннадцать-двенадцать ночи. За это время Артем понукал мною, как хотел, не скупясь на всякого рода прозвища и обращаясь со мной, как с бестолковым,

малоопытным, безответственным и робким лаборантом. Я это все вытерпел, ибо мне важно было прощупать своими руками и увидеть своими глазами то, над чем с большим знанием и искусством колдовал Артем. Я оказался неплохим учеником, и данные, которые получил, понравились моему наставнику.

— Спасибо, Мажит Муканович, ты сберег мне две недели работы и показал, что любой дурак может проделать то же, что и я, если он... не глупей меня. Раскрою теперь твой секрет. Я был уверен, что ты решил поиграть с этой работой день или два, чтобы засвидетельствовать свое любопытство и свою скромность передо мной, аспирантом, взирающим на тебя, как на человека, уже достигшего лелеемых мною высот науки, и грубил тебе нарочно. Молодец, ты выдержал, но и я молодец, до конца не сказал, как мне приятно было куражиться над тобой. Я все же рассчитывал, что ты как-нибудь взорвешься, и я тогда паду к твоим ногам и все кончится миром. А ты, толстокожий вол, мычишь и работаешь. Спасибо тебе за это, Мажит. Ты мне сберег достаточно времени, и по этому случаю хочу серьезно отдохнуть. Ухожу. Буду отдыхать.

Было где-то часа три пополудни. Я спросил у Артема, сколько дней он собирается отдыхать.

— Что ты, сколько дней... Днями я не могу. Пойду сейчас в магазин, куплю молока, приду в свою комнату, выпью, возьму реферативный журнал «Химия», лягу в постель и буду читать до тех пор, пока не засну. Спать буду 10-12 часов. Завтра проснусь, как огурчик, как стеклышко, голова будет соображать, как у Эйнштейна. Вот увидишь.

Кузьмин ныне работает в том же институте, что и мой друг Сучков, который, помнишь, уговаривал меня не быть глупцом и остаться в аспирантуре. Артем — один из ведущих научных работников этого института, постоянно руководит лабораторией, занимающейся очень важными темами. Он давно достиг уровня доктора наук, но защищаться ему недосуг, захлестывают все новые научные заботы. Боюсь, что в этом до некоторой степени повинен и его метод отдыха, которому, как мне кажется, он до сих пор не изменил.

Дмитрий Викторович как-то пригласил меня (это было на втором году работы моей преподавателем) и сказал:

— Мажит Муканович, есть у меня один сотрудник в Академии. Трудяга, хороший экспериментатор. Выполнял очень много опытов и получил, как мне кажется, неплохие результаты. Но я посмотрел, как он обрабатывает эти данные, и расстроился. Он явно не сможет увидеть многое, что следовало бы. Может быть, вы работаете с ним?

Не знаю, в тот же день или на другой пришел ко мне этот сотрудник Дмитрия Викторовича, простоватый на вид человек средних лет, и, припадая на одну ногу (он был инвалидом войны), стремительно подошел ко мне и подал большую, шершавую руку.

— Мажит Муканович, я к вам по рекомендации Дмитрия Викторовича.

— Шеф говорил мне о вас. Рад вас видеть.

Человек этот был прост и наивно бесцеремонен. Он, не спрашивая ни меня, ни других, находившихся на кафедре, закурил дешевую папиросу и сказал, вытаскивая из старенького, потертого портфеля пачку грязных ученических тетрадей:

— Вот наработал, Мажит Муканович, и не знаю, что с этим наработанным делать. Написал было, начал толковать Дмитрию Викторовичу и постарался потихоньку отойти от него. Все обдумывал, советовался с другими. Пока ничего путного не придумал, боялся, что Дмитрий Викторович снова спросит. И вдруг передает через лаборанта, чтобы я зашел к вам со своими тетрадками... Он, видно, понял, что мне самому не разобраться... Поздно я пришел в науку, и, может быть, не по мне это дело. Голову свежую надо иметь.

— Что вы, Андрей Петрович, это, в общем-то, закономерно. Человек варится в собственном соку и кружится сам в себе, т. е. не всегда может взглянуть на собственные дела со стороны. Нужен бывает посторонний глаз, чтобы заметить важное и главное. Дмитрий Викторович, по-видимому, считает, что в этом вам может помочь мой глаз. Ну что же, давайте посмотрим...

— Мажит Муканович, я понял вас так, что нормальный научный работник должен иметь два глаза,— последние слова он сказал с таким ударением, что я засмеялся, но мой собеседник продолжал свою мысль, как будто и не слышал смеха,— только эти два глаза должны быть разные; одним он должен смотреть сам, а другим

кто-то другой на него, на его дела. Этого я никогда не пойму. У меня оба глаза одинаковы, и смотрю ими только я. И дай бог, чтобы они видели при этом не слишком криво.

Андрей Петрович Тарасов с бесхитростной прямоотой и непосредственностью начал рассказывать мне о сути своих экспериментов. Говорил он сбивчиво, скромно и был совсем не в восторге от своего экспериментального материала. Недели две мы размышляли, листая его грязные тетрадки, в разных вариантах переписывая многочисленные цифры, заключенные на клетчатых ученических страницах, и делая самые разнообразные расчеты. Материал был для меня нов, и мне приятно было, что я довольно дотошно разобрался в нем. Когда я однажды указал Андрею Петровичу на одну интересную закономерность, вытекающую из сопоставления внешне не близких и неродственных зависимостей, он пришел в такое волнение, что не смог усидеть и, припадая на правую ногу сильнее обычного, точь-в-точь, как старик Мелехов из романа «Тихий Дон», зашагал вокруг стола, за которым мы сидели. Его ужаснула мысль, что эту закономерность, не будь меня, никто бы и не обнаружил, и осталась бы она вещью в себе. Я почувствовал, как расту в его глазах и как он смотрит на меня, почти как на оракула. Между тем, это была закономерность, которая в данном случае требовала для обнаружения, конечно, некоторого раздумывания, но все же ее мог найти любой научный работник, обладающий даже небольшим научным опытом, каковым, например, являлся я в то время. Когда мы пришли к выводу, что для окончательного подтверждения этой закономерности надо выполнить еще кое-какие эксперименты, я выразил мнение, что они, эти эксперименты, могут оказаться одному Андрею Петровичу не под силу, потому что требуется некоторое улучшение методики и некоторая переделка установки, на которой он работал. Андрей Петрович, по-видимому, пришел в испуг от одной лишь мысли, что кто-то будет вмешиваться в его хозяйство, и совершенно уверенно сказал, что он все сделает сам и никакая помощь ему не нужна. И он, действительно, выполнил эти эксперименты в рекордно-короткий срок и со всей возможной тщательностью и скрупулезностью. В общем, месяца через три-четыре мы положили на стол Дмитрия Викторовича солидную статью с кривыми, ма-

тематическими выкладками и формулами, иллюстрационными рисунками для окончательного просмотра и благословения. Андрей Петрович был очень рад такому результативному окончанию нашей работы, но, как я понял, не тому, что он становится автором серьезного научного труда, а скорее тому, что из его экспериментов получились такие интересные, цельные, разумные суждения, нужные для науки. Он приходил в ребяческий восторг от той красоты абстракции, которая рождалась из его, как ему казалось, грубой работы, выполняемой его большими мозолистыми руками. Ради той красоты он мог, как я почувствовал, экспериментировать не покладая рук. Он готов был понять и выполнять понятое, а толкование результатов своих опытов предоставлял другим. Это был очень своеобразный человек. Когда я сказал, что удивившая его закономерность обнаружена мной потому, что я долго, мучительно думал и даже последние дни плохо спал, он пришел в неопиcуемый восторг и тут же сделал вывод, что на это нужно иметь дар, а даром долго думать его бог не наградил. Он тоже, конечно, думал, но над вещами, которые были у него под рукой (например, над тем, как улучшить прибор, как лучше сделать опыт), а над вещами, которых у него нет, которых он не видит, он не мог думать. И поэтому спит всегда спокойно. Он не знаком с такими явлениями, как думать и не спать. Все это говорил он, как всегда, серьезно, но думаю, что он кое-что нарочито утрировал, пряча улыбку в себе. И все же это в основном была правда, Андрей Петрович был поэтом научного эксперимента, и для того, чтобы он работал вдохновенно, ему надо было подробно рассказать цели, задачи и выводы из его экспериментов. Больше ему ничего не требовалось. Когда же этого не делали, поручая ему слепые задания, он выполнял все, что требовалось, аккуратно, но вяло и серо. Словом, Андрей Петрович относился к числу тех бесчисленных и безымянных, чей бескорыстный и преданный труд лежит в основе многих достижений в экспериментальных науках...

Кафедра ежегодно отправляла студентов на преддипломные и производственные практики. Я, как и все преподаватели кафедры, выезжал с ними и бывал на самых разнообразных предприятиях страны. Приходилось подробно знакомиться с технологией, инженерным оформлением процессов, различными интересными новшествами —

плодами творческой энергии инженеров-производственников. Плохо знать производство не позволяли студенты со своей несносной привычкой задавать самые неожиданные вопросы при ознакомлении с особенностями и деталями промышленного осуществления процессов, известных им по лекциям и учебникам. Поэтому я, как молодой преподаватель, старался предупредить студентов, заранее изучая инженерные данные предприятия. На одном из известных уральских заводов я знакомился с цехом по извлечению драгоценных металлов и побочного промежуточного продукта главного производства, и мне показалось, что все в этом цехе должно быть осуществлено иначе; многое делается без подсказа теперешней научной мысли. Размышления давали повод думать, что причиной этого является не только то, что люди как-то свыклись с существующим положением вещей, но и то, что многое не изучено, не понято и не предложено в виде, приемлемом непосредственно для практического использования. Ходил целыми днями по цеху, надоедал, возможно, своим присутствием рабочим и инженерам; подолгу простаивал у каждого аппарата, у каждой операции, расспрашивал детали, и на меня наплывали различные соображения, которые я боялся высказать не только потому, что эти соображения шли вразрез с тем, что делалось, но и потому, что, высказывая незрелые, экспериментально малоизученные, недостаточно подтвержденные суждения, легко можно было прослыть химическим Дон-Кихотом. Ходил внешне непроницаемый, уравновешенный, выглядел, наверное, любопытствующим дилетантом, а внутри, в мыслях беспокойно ворочались угловатые обломки, ершистые обрывки чего-то неясного, расплывающегося, не успев с достаточной рельефностью зафиксироваться в воображении, и я маячил и маячил в цехе, вызывая своей толстой, не вписывающейся в общий колорит персоной насмешливую улыбку сухопарых тружеников производства. Я убеждался, что вся технология, в общем-то, велась химически грамотно, но какой-то внутренний голос мне подсказывал, что уровень этой грамотности не соответствует сегодняшнему дню, что возможны иные, более современные варианты, которые сократят число операций, обезопасят труд, упростят обслуживание, позволив автоматизировать процесс и т. д., и т. д. Цех работал в тесном здании, предполагались реконструкция, расширение ра-

бочей площади в несколько раз, а технология, как я понял из объяснений, оставалась той же: неудобной, грязной, требовавшей много ручного труда, алхимического колдовства над большинством операций. В общем, было отчего волноваться.

Ты, друг мой, уже уловил, должно быть, что я начал рассказывать о том переломном моменте в своей научной биографии, который имел для меня решающие последствия. Я волновался и думал, думал и волновался в этом небольшом уральском рабочем городке, и мне, естественно, тогда не приходило на ум, что соображения, посетившие меня в этом цехе, явятся отправной точкой всего того, что я смог сделать в жизни, желая внести свою лепту в ту область научных изысканий, где решил себя проявить. Волнение, которое описываю, разумеется, не относится к разряду волнений той ночи, которые описывал Наполеон, когда окончательно решил стать властелином Франции, но все же я решаюсь привести эту аналогию, чтобы ты посмеялся. Этим хочу подчеркнуть и то, как я и до этого бывал на производстве, ходил по цехам с аналогичной технологией и, наверное, с аналогичными изъятиями, но как-то не случалось, чтобы приходил в подобное же волнение. По-видимому, для этого недостаточна была школа, которую я прошел, обучаясь в аспирантуре; это волнение могло придти только после того, как я вобрал в себя все, что дали мне преподавательская работа и исследования, проводимые мной на кафедре в меру своего научного опыта в свободное от учебы и общественных работ время. Среди исследований немалое место занимали и те разведочные экспериментальные набегі, которые мне удавалось совершить в различных направлениях в нелегких раздумьях над своей будущей научной судьбой. Я не случайно выше рассказал тебе о двух запечатлевшихся в памяти случаях из моих научно-поисковых упражнений того времени, ибо именно подобные пробы на профессиональное умение давали хорошую пищу для раздумья и размышлений и, может быть, наряду со всеми другими в наибольшей степени подготовили меня к тем волнениям, которые я испытывал тогда в этом маленьком цехе уральского завода. Мне не терпелось вмешаться в цеховые дела, и я решил сделать предложение об упрощении одной из многочисленных операций в сложной технологической цепи разделения и получения драгоцен-

ных металлов. Над совершенствованием этой операции немало работали и до этого, поскольку не изменилась суть процесса, радикальные улучшения не получались. Я знал, что изменения технологических рецептов, принятых в производстве, дело весьма ответственное и серьезное, это означало, что я должен сделать все, чтобы мое предложение было не только понятным, но и убедительным в смысле осуществления в условиях цеха. Я выдержал и последнее условие, выполнив с двумя студентами-дипломниками за две-три недели небольшое исследование в центральной заводской лаборатории и повторив конечный результат непосредственно в цехе. Ты сейчас удивишься, если скажу, что наше предложение было принято к внедрению, но... не внедрено. Не удивляйся, так, к сожалению, бывает, этому примеров ты сам немало знаешь. В дальнейшем на моем пути встретится немало подобных случаев. Это было мое первое деловое соприкосновение с производством, и потому было так неприятно, что оно окончилось столь неудачно. Могу похвалиться, что меня не обескуражило это, возможно потому, что, по-первых, результаты проведенного тогда на заводе небольшого исследования, после некоторого уточнения на кафедре, были опубликованы и вошли во все учебники как простейший способ удаления одного из веществ-примесей, встречающегося в любом минеральном сырье; во-вторых, именно через это исследование и через эту попытку вмешаться в производственную технологию я сблизился с двумя коллегами, с которыми сотрудничаю и поныне. Вот об этом последнем, пожалуй, стоит тебе рассказать. Дело в том, что, когда я пришел в центральную заводскую лабораторию и попросил у начальника лаборатории место для работы, тот пригласил к себе инженера, который смотрел своими раскосыми, узенькими, серыми глазами чуть исподлобья не то недоверчиво, не то боязливо, и сказал, знакомя нас, что Николай Алексеевич Полубричкин (так звали инженера) назначается мне шефом и будет обеспечивать всем необходимым для работы.

— Ну что вы,— сказал Полубричкин, не меняя угрюмого выражения на лице,— какой я шеф... кандидат наук... Дай бог помощником нормальным...

— Нет, нет, вы больше, доскональней знаете технологию завода, возможности лаборатории, вы — хозяин и шеф,— великодушно подхватил я, хотя инженеру По-

лубричкину в его прожженном в нескольких местах кислотой синем халате, висевшем на нем мешком, с его зачернелыми от постоянного соприкосновения с реактивами пальцами, на самом деле никак не подходило положение шефа.

Николай Алексеевич оказался человеком малоразговорчивым, и, когда я его посвятил в свою идею, он хорошо схватил ее суть, но в восторг от этой сути не пришел и сказал, не глядя на меня:

— Раз вам хочется повозиться от скуки, я вам помогу, обращайтесь, не стесняйтесь,— он говорил так, будто моя работа его не касалась и не могла касаться, его дело снабжать меня нужными реактивами, приборами, посудой и другим. Меня это задело.

— Почему от скуки? Я думаю, это нужно производству. Я вас не очень понимаю, Николай Алексеевич...

— Я не занимаюсь тем, что нужно и не нужно производству... на это есть начальство... оно, как известно, располагает.

Не очень-то вежливым и не очень-то боязливым был этот робкий на вид человек. Я почувствовал, что Николай Алексеевич не принадлежал к числу людей, довольных жизнью и склонных смотреть на вещи через светлые очки. Когда я поинтересовался, чем он занимается, он угрюмо изложил мне содержание выполняемого им исследования. Попробовал было в осторожной форме высказать замечания относительно малой актуальности его исследования, ибо можно было заранее предполагать очень незначительные технологический и экономический эффекты от его результатов, Полубричкин угрюмо ответил:

— Зато спокойнее. Тема включена в план, я ее добросовестно выполняю.

Ответ был откровенно обывательский, и я, разочаровавшись в своем новом знакомом, перестал с ним разговаривать, лишь обращаясь к нему в необходимых случаях. Николая Алексеевича это тоже как будто устраивало.

В субботний день после работы Николай Алексеевич проводил меня до гостиницы и неожиданно охотно согласился на мое предложение зайти на чай. Мы обычным образом отметили наше знакомство, он быстро захмелел и стал необычайно разговорчивым. Он так и сыпал ци-

татами из классиков, говорил стихами известных поэтов, говорил вдохновенно и воодушевленно, поразив меня своим красноречием. Я сидел и удивлялся тому, как может ошибиться человек. Куда делся тот угрюмый, недалекий, исполнительный, равнодушный ко всему, зачерстневший в узком кругу своих обязанностей работник лаборатории, каким утвердился в моем понимании инженер Полубричкин за несколько дней совместной работы? С ним было интересно беседовать. Он оказался одних лет со мной, родился и вырос в Казахстане, окончил там техникум. Мать и две сестры его жили там. Здесь, на Урале, он окончил институт и с тех пор работает на этом заводе. Землячество сблизило нас, и Николай Алексеевич стал проводить со мной почти каждый вечер. Он был холост. Узнал об этом в лаборатории, где досужие девушки судачили по поводу его одиночества, шутиливо укоряя друг друга в неумении тронуть сердце выгодного жениха. Некоторые из них, казалось, на самом деле имели на него виды, но я не заметил, чтобы Николай Алексеевич обращал на кого-либо внимание.

— Николай Алексеевич, ты что это до сих пор бо-былем? Вон в лаборатории каждая готова на шею...— спросил я его однажды. Он откровенно ответил мне, что когда-то любил, любил так, что «дай вам бог любимой быть другим» (у него были на все случаи готовы крылатые выдержки из поэзии), но она, любимая, вероломно обманула. С тех пор он ни в женщин, ни в любовь не верит и на эту тему вообще старается не разговаривать.

Инженер Полубричкин был хорошим химиком и знал свое дело... Я подробно рассказал ему о своих волнениях, связанных с еще не точными и не совсем ясными соображениями относительно улучшения методов извлечения драгоценных металлов из полупродуктов, получающихся на заводе. Очень много говорил об отсутствии надлежащих научных основ в этом деле. Говорил долго и не один раз, наверное, повторяясь, ибо мне нужно было высказаться. И вообще я по своему характеру не из тех, кто придерживается совета известного поэта:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Созреют и взойдут оне.

Я не могу удержаться, чтобы не рассказать кому-то из окружающих то, что волнует меня, то, о чем много думаю; мне становится невтерпёж, если не поделюсь с кем-то из близких заветными мыслями. И вот этой мишенью для подобных моих излияний стал на этом уральском заводе Николай Алексеевич. Он слушал меня внимательно, мы обсуждали по ходу многое из того, что я говорил, и при этом мне удалось сделать заключение, что моего собеседника мало увлекал широкий охват проблемы, он почти равнодушен был к моим экскурсам в глубинную природу явлений, но зато крепко цеплялся за какую-то конкретную вещь и тут высказывал деловые, весьма разумные соображения. По тому, как он скрупулезно и прилежно работал в лаборатории, как тщателен и дотошен был в мелочах, я безошибочно определил, что в Николае Алексеевиче сидит сильный и грамотный экспериментатор, и подумал, что, несмотря на то, что мой новый приятель, как это было заметно, слабо наделен силою абстракции, необходимой для больших серьезных обобщений, он был бы очень полезным работником научной лаборатории. О последнем не преминул даже сказать вслух. Николай Алексеевич на это вздохнул и ответил, что руководитель его дипломной работы (это был известный ученый, имевший большие связи с нашей республикой) знал это и оставлял его на кафедре, да он, дурак, не послушался. Мне показалось, что я познакомился с ним в то время, когда он начал терять интерес к своим делам. «Здесь, на заводе,— жаловался он,— так привыкли ко всему существующему, что никто не желает ничего менять. Я побыл некоторое время в роли нарушителя спокойствия и дал себе зарок этого больше не делать... Благо зарплата идет, иногда даже премия... Сколько неплохих новшеств, предложенных мною, заснули навеки в папках техотдела... Вроде никто не против, в то же время и не внедряют... Можешь быть спокоен, с твоим предложением произойдет то же. Придумал ты остроумно, но я уже не могу восторгаться вещами, о которых заранее знаешь, что они не внедрятся в практику». Я еще плохо понимал скепсис Николая Алексеевича и позволил себе не поверить ему. Но меня насторожил, заставил вспомнить предсказание Полубричкина один штрих, всплывший на заседании технического совета завода. Вначале, казалось, все шло хорошо. Я сделал

коротенький доклад. Мое предложение о необходимости быстрого внедрения хорошего новшества не встретило никаких возражений, и я уже было ликовал, но, оказалось, рано; поднялась начальница цеха, дама с мягкими, интеллигентными манерами, со спокойной, покоряющей улыбкой на лице, и привела массу доводов в пользу того, что внедрением предложения цех может заняться не ранее, чем через полтора-два месяца. Я знал, что аргументы эти никчемны, но не мог при общем благожелательном отношении ко мне пререкаться с начальником цеха из-за срока внедрения. Полагал, что кто-либо из членов совета или из инженеров цеха, присутствовавших там, возразит даме-начальнице, но никто этого не сделал, и ее доводы были приняты к сведению. Когда рассказал обо всем этом Николаю Алексеевичу, его узкие глаза зло и ехидно сверкнули:

— Что я тебе говорил? Это для того, чтобы похоронить. Заставишь эту бабу, почившую на лаврах, тревожиться и беспокоиться... Торчать ты здесь из-за своего предложения не будешь, уедешь на днях, а там еще будут придуманы более или менее деликатные причины для отсрочки... в общем, так будет тянуться, пока автор не устанет надоедать...

Николай Алексеевич оказался прав. Идея моя, как уже успел рассказать тебе, была похоронена, и именно таким образом, как предсказывал друг. В утешение могу отметить, что более плодотворными для нашей будущей творческой работы оказались вечерние беседы с инженером Полубричкиным. Прошло некоторое время, и Николай Алексеевич в соответствии с его желанием стал моим сотрудником. Мне не терпится сказать здесь, что мы с ним не забыли неудачи на заводе и, проводя потом сложные операции по долговременной и длительной осаде, взяли, наконец, штурмом всю технологию цеха, внося в нее коренные изменения. Но об этом после. Теперь же хочу рассказать вот о чем.

Два студента-дипломника, которых я выбрал себе в помощники, были интересными и разными людьми. Один из них, маленький, черненький, неторопливый и степенный в движениях Айкен Хасенов имел привычку, когда я его просил что-либо сделать, некоторое время постоять, подняв на меня умные, смолисто-темные глаза, а потом, как будто уверившись, что все понял до конца, спокойно и

ловко приступать к делу. Когда он о чем-то думал, указательный палец его правой руки внедрялся в правый угол губ, жестко касаясь зубов. Был молчалив, скромен и понятлив. В мое отсутствие аккуратно выполнял опыты, и выполнял не хуже меня, а иногда мне казалось, что у него это получалось даже лучше. Учился всегда на отлично, но ни о себе, ни о своей учебе, вообще о чем-либо постороннем не любил говорить. Я ему однажды шутя сделал предложение посчитать, сколько слов сегодня скажет, он стеснительно улыбнулся и просто ответил, что это перешло к нему от отца, чабана, которому в степи разговаривать было не с кем. Я почувствовал в этом его ответе гордость за родителя, недавнюю смерть которого он тяжело переживал. Он был очень рад, что благодаря ага (т. е. мне, старшему и близкому) занимается серьезным делом, и дорожил этой неожиданной честью. Я чувствовал его уважение ко мне и ранее, но по-настоящему Айкен привязался ко мне за эти полтора месяца пребывания на заводе. Айкен не сразу стал моим сотрудником, это имеет свою историю, о чем я, может быть, расскажу еще. Другим моим сотрудником был высокий, холеный красавец Еркин Таиров, парень, которому все было нипочем. У него был довольно покладистый характер, все мои указания он выполнял весело и с видимым удовольствием, но совершенно не интересуясь, к чему и для чего это необходимо сделать. Он был равнодушен и беззаботен, сразу овладел вниманием всех лаборанток, которые ему во всем потакали и баловали его. Когда однажды, оставив его продолжить начатый мною опыт, вернулся через некоторое время, он стоял и балагурил с одной девушкой, в то время как другая работала за него, выполняя мое поручение. Мне оставалось лишь улыбнуться, ибо полезность такого поведения Еркина была несомненна: все лаборанты с удовольствием помогали нам.

Не знаменательно ли, дорогой друг, что, когда передо мной стали маячить контуры тех ребят, к которым я буду прикован всю остальную жизнь, я стал обретать и привязанность людей, ставших затем постоянными спутниками в моих делах. Я имею в виду Николая Алексеевича Полубричкина и Айкена Хасенова. Но тогда никто о таких последствиях нашего взаиморасположения не думал. Это определилось позже.

Конечно, неожиданный толчок в определении многих научных интересов, полученный мной при пребывании на уральском заводе, сыграл известную роль в конкретизации круга вопросов, которыми мне суждено было в дальнейшем заниматься. Но обдумывание их, в особенности обсуждение моих замыслов с Дмитрием Викторовичем показывало, что это был именно толчок, и не больше, и что здесь возможно решение задач, которые смогут иметь самостоятельное, не связанное непосредственно с производством научное значение. Мне не терпелось приступить к делу, но у меня, кроме себя самого и нескольких студентов, проходивших специализацию под моим руководством, никого не было. В таком положении находились и другие преподаватели кафедры, и требовать особых условий для своей работы я, конечно, не мог. Студенты же, за редким исключением, работали, естественно, по-ученически, недостаточно квалифицированно, и я уже начал приходить к скептической мысли, что планы мои относительно широкого проведения задуманных исследований останутся планами, поскольку кафедра ни условиями, ни людьми для этого не располагала, и что, может быть, необходимо даже отрешиться от этих маниловских мечтаний. Я стал завидовать математикам, лингвистам, литературоведам, историкам, которые для своих научных изысканий не нуждаются ни в лабораториях, ни в приборах, ни в людях, или, если и нуждаются, то не в такой степени, как мы, представители экспериментальных наук. Должность заместителя директора ничего не прибавила к моему научному положению, кроме того, что стал бывать в лаборатории намного реже, чем раньше. В то же время не покидала мысль о судьбе задуманных исследований, и чем больше о них думал, тем больше убеждался, что избрано правильное направление. Это убеждение подкрепилось и теми отрывочными экспериментами, которые мне удалось выполнить со студентами-энтузиастами. И все же не терял надежды. Я полагал, что мне необходимо поговорить с Кемельханом Айтпаевичем, ибо знал, имеется возможность организовать небольшую исследовательскую группу, подобную той, которую имел Лев Моисеевич, но я стеснялся об этом просить директора, не зная позицию своего научного шефа Дмитрия Викторовича, который, возможно, счел бы неудобным отдать предпочтение мне по сравнению с другими учениками, и в этом случае

неделикатность использования служебного положения была бы очевидной. Необходимо было ждать. Но ты, дорогой друг, лучше меня понимаешь, что значит ожидание без дела, когда цель маячит перед тобой и манит захватывающими тайнами неизведанного.

Пишу эти строки и думаю о том, как мне решительно везло в моей научной судьбе. Самым главным везением считаю, что попал в аспирантуру к Дмитрию Викторовичу, который помог мне стать на ноги не только как исследователю, но и как преподавателю высшей школы. Теперь только могу оценить, как много мне дали и сам профессор Дьячков, и его научное окружение. И вот снова везение, обозначившее новую веху в моей жизни, веху, равную, пожалуй, по своему значению моему выезду на учебу по настоянию матери. Это ли не назвать везением, если меня ожидало предложение, враз списавшее все трудности по проведению задуманных мною исследований, и именно в тот момент, когда уже начинал серьезно тревожиться относительно своего научного будущего. Если б ты знал, от кого исходило это предложение... Но давай-ка лучше расскажу все по порядку.

...Было начало нового года, приехал ко мне мой дорогой друг детства из аула, и я, проводив его на поезд, пришел в институт лишь к концу рабочего дня. Оказалось, что Кемельхан Айтпаевич с нетерпением ждал меня, ибо звонил ему президент Академии Каныш Имантаевич Сатпаев и выразил желание познакомиться со мной. Из приемной нам ответили, что президент не дождался и уехал, но передал через помощника, чтобы я прибыл к нему утром. Директор мой был очень недоволен таким течением обстоятельств, он очень уважал Сатпаева и хотел, чтобы все, что тот просит, исполнялось безотлагательно. Я очень волновался, плохо спал ночь, гадал, чем моя персона могла заинтересовать маститого главу республиканской науки, и утром оказался в его приемной в только что отстроенном величественном здании Академии наук республики. Когда, робко открыв дверь, вошел в просторный кабинет, высокий, величавый аксакал, которого до этого мог видеть лишь изредка и издалека на собраниях за столом президиума и знал лишь по портретам, грузно поднялся с кресла, успел, пока я подошел, обойти навстречу мне невероятно большой президентский стол и, подавая руку, сказал:

— А-а, вот вы какой, Мажеке! Мне о вас академики, работающие у вас в институте, много говорили... И я решил с вами познакомиться...

Президент усадил меня в мягкое кресло у приставного столика напротив себя и начал расспрашивать о здоровье, о семье, о родственниках, и расспрашивал точь-в-точь, как это делает в степном быту любой аульный аксакал. И эти вопросы, простые по содержанию и столь знакомые мне по форме, так быстро сняли с меня волнение и растерянность, что я теперь не могу даже точно сказать, как и в какой момент почувствовал такую свободу и раскованность, что, внимательно слушая его, одновременно находил возможность разглядеть малознакомый для меня облик пожилого человека с крупными чертами лица и с огромным лбом, скульптурно-привлекательные пропорции которого подчеркивались зачесанными назад, сильно поседевшими, но еще густыми, слегка кудрявящимися волосами. Лицо его не выглядело так красиво, как на известных портретах, но было доброе, выразительное. Выпуклые подбровья над узковато прорезанными, но большими глазами подчеркивали недюжинную волю, которой наделен этот человек.

Каныш Имантаевич перевел разговор на тему о делах нашего института, и я уже совершенно свободно рассказал ему о нашей жизни и о работе. Начал было про себя обдумывать, как повернуть беседу в сторону наших нужд, ибо полагал, что президент своим авторитетом может оказать любую помощь, но аксакал внезапно сам спросил меня о моих научных интересах. Кратко изложив содержание научных начинаний, суть которых президент легко уловил, я было заикнулся, что в наших условиях трудно развернуть задуманное исследование, как он, будто обрадовался этому, улыбнулся и сказал:

— Мажеке, как это хорошо, что у вас продумано, чтобы работать в научном плане дальше, чтобы не останавливаться на чем-то достигнутом... что у вас нет такой беды, когда человек, уже имеющий диплом кандидата наук, а иногда и доктора наук, все еще ищет, кто бы подсказал ему, чем дальше заниматься, а еще хуже, когда ничего не ищет... последнее, к сожалению, бывает чаще, чем первое. Опасные явления, предвещающие застой... Вот я и пригласил вас; Академия желала бы предложить работать в ее системе, в этом случае будет возможность

в любом масштабе проводить научные исследования в соответствии с вашими замыслами и делать многое другое для развития науки в республике. Речь, Мажеке, идет о том, что мы хотим просить вас стать директором только что открытого института химических наук в известном вам большом промышленном центре республики.

Президент затем рельефными, убедительными мазками обрисовал задачи, стоящие перед этим научно-исследовательским институтом, при этом он указал на то, как совершенно естественно, без какой-либо натяжки мои личные начинания и интересы вписываются в проблемы по освоению минеральных богатств края, в котором находится институт. Меня приятно подкупило то, что академик сделал особый упор на необходимость моего личного научного роста, без которого невозможен, как он сказал, настоящий, неподдельный авторитет руководителя академического научного учреждения. Словом, мне не оставалось места для каких-либо расспросов, для каких-либо суждений от себя, ибо все казалось жалким и ничтожным по сравнению с теми задачами, которые ставил передо мной этот большой человек. Улетучилось желание поскромничать, ибо перед этим человеком нельзя было фальшивить, он видел меня насквозь. Я только сказал, что поеду в этот институт, если президент считает, что гожусь для работы под его руководством, и буду стараться оправдать его доверие. Беседа как будто заканчивалась, аксакал откинулся на спинку кресла, потом, как бы вспомнив, сказал следующее:

— Я разговаривал о вас в Центральном Комитете, там я почувствовал какие-то недомолвки... Мне даже показалось, что там они имеют на вас какие-то другие виды... Думаю, что речь идет не о научной стезе. Если то, что вы сказали,— это твердо, я буду твердо просить вас...

Я, конечно, согласился. Не знаю, дорогой друг, как теперь описать тебе мое состояние, когда вышел от академика Сатпаева. Это было, по-видимому, состояние внезапного соприкосновения с чем-то недостижимым, сказочно высоким, когда ты вдруг чувствуешь, что это соприкосновение произошло потому, что ты оказался каким-то образом достоин его, и что за этим следует та высокая ответственность, которая потребует от тебя истинного, глубинного понимания значения твоих будущих замыслов

и действий. Я не мог не думать возвышенно. Ведь человек, который, беседуя со мной более часа, все время старался подтянуть меня к своему уровню простотой и приветливостью, своим неизменным уважительным обращением «Мажеке» и на «вы», что звучало для меня непривычно, ибо аксакал годился мне в отцы, являлся первым академиком народа, состоял в составе Президиума Большой Академии страны, числился среди тех немногих имен, которые символизируют самое выдающееся место, занимаемое наукой моей Родины в мире. Ведь в его мягких ладонях, с такой добротой и радушием касавшихся моих рук, хранится тепло от пожатия самых выдающихся людей нашего времени и нашей эпохи. Вот такие мысли владели мной, когда я шел от президента Академии. Тогда я нашел мысли эти тщеславными, неприличными и никому о них не говорил. Теперь же думаю, что это мое подозрение на самого себя было напрасным и мне не было необходимости сомневаться в чистоте истоков тогдашней окрыленности. Правда, эта окрыленность была несколько снижена некой особо почитаемой тобой дамой, когда она спокойно и деловито заявила, что я напрасно польстился на это предложение и так быстро дал слово, ибо нет никакого резона менять цветущую теплую столицу на холодный областной город, оставлять только что полученную хорошую квартиру, переходить с солидной должности в большом институте на руководство «научной конторой» (она так и сказала), где нет, наверное, ни одного нормального научного работника. То же примерно говорили и многие друзья. Я оставался почти один со своей «окрыленностью». Но во мне заговорили Алжиган-ата и Жактай-ага одновременно; я вдруг почувствовал себя джигитом, мужчиной из нашего аула и поэтому не мог менять своего решения, не мог отказаться от слова, данного Канышу Имантаевичу. И с тех пор нахожусь там, мой дорогой друг, где ты со мной имел честь познакомиться и откуда пишу тебе письма. Но то, как я освоился и осел, пожалуй, достойно следующего отдельного письма.

Письмо шестое

Дорогой друг!

Тебе решительно везет. Не могу назвать иначе, как везением для тебя, то, что пишу эти строки из больницы, где мне ничего не остается делать, кроме как вспоминать свое прошлое и переносить вспомнившееся на бумагу. Пришел сюда, в больницу, недели две назад навестить своего больного друга (ты его встречал у меня) и, поднимаясь на второй этаж, почувствовал небывалую тяжесть в теле и неприятное, распирающее давление в груди. Ощущение это было у меня с утра, но оно было не так сильно, и, отнеся его в счет жары, которой отличается нынешнее лето, полагал, что скоро пройдет, как незаметно проходят многие боли, когда на них не обращаешь особого внимания. Войдя в палату, сел в кресло рядом с кроватью друга, весь вспотев и потеряв интерес ко всему остальному, кроме собственной персоны. Друг, увидев вымученную улыбку моей потной и, должно быть, бледной физиономии, сразу вызвал врача, который не замедлил уложить меня в ту палату, где теперь нахожусь и откуда пишу тебе это письмо. О болезни своей не буду рассказывать, так как эти сердечные дела теперь совершенно обычны для людей нашего возраста и нашего образа жизни. Ты тоже, хоть и не жалуешься, но часто, как я знаю, испытываешь те же сердечные недомогания. Скажу только, что первоначальный испуг прошел, чувствую себя довольно бодро, но приходится слушаться добрых докторов моих и делать то, что они велят, хотя почему-то уверен, что в предписываемых ими нормах моего теперешнего поведения многое от перестраховки и что они могли обращаться со мной менее церемонно. Но все же не хочу обижать этих милых, внимательных людей своим непослушанием. К тому же прихожу к весьма утешительному выводу, что это мое лежание — дело небеспо-

лезное, ибо можно почитать, поразмыслить, не угрожая ни себе, ни своим раздумьям множеством запланированных и незапланированных дел, требующих твоего спешного участия. Это, может быть, поможет написать для тебя что-либо более дельное, чем писалось до сих пор. словом:

Шумы в сердце — не страшный диагноз

Полежу, отдохну в тишине.

Мне больница даже не в тягость,

А скорей в облегчение мне.

Ведь подумать только, кажется, это было вчера, а уже почти два десятка лет я работаю в том институте, куда послал меня ныне покойный первый президент нашей Академии К. И. Сатпаев. Видать, за это время настолько врос в жизнь и дела своего научного учреждения, что нередко ловлю себя на смешном ощущении, будто в нынешнем большом здании института, возведенном в самом современном стиле, т. е. из стекла и бетона, должно быть, без меня пусто, скучно, не весело. На самом деле это, конечно, совсем не так. Я знаю, что там теперь могут прекрасно обходиться и без меня, ибо при длительных выездах моих в отпуск, в командировки не только неплохо велись текущие дела, но я необычно четко и точно улавливал и отмечал те или иные начинания, которые затевались в мое отсутствие, потому, что у моих молодых коллег не была воспитана привычка откладывать, ожидать, они были чужды склонности смирять, сдерживать творческое нетерпение. Я восторженно одобрял эти начинания, ибо большею частью они того заслуживали, и при этом ловил себя на том, что одобряю, может быть, иногда преувеличенно восторженно, стараясь скрыть ту щемящую грусть, которая неожиданно овладевала всем моим существом, привыкшим к тому, что все в институте или исходило от меня, или, по крайней мере, начиналось при мне. И теперь вот это безотчетное, подсознательное желание быть единственным и сейчас подсовывает превратное ощущение, что без меня не могут обойтись; мало того, оно, это желание, хочет выдать привычку и любовь мою к нашим людям, к приборам, к просторным лабораторным комнатам, к уютному директорскому кабинету, словом, ко всему тому, что объединяется под словом «институт», за совершенно обратное, связанное с ревнивым представлением об осевом, центральном положении

моей личности в коллективе. Как эгоистичен, двойствен и слаб, дорогой друг, человек... Я теперь, видишь ли, грущу оттого, что сбывается мое желание иметь мыслящих, творчески самостоятельных, разумных молодых коллег, на которых смело можно в дальнейшем положиться... Вот входит ко мне мой ученик и коллега Иванов Валерий Петрович, блестя белозубой улыбкой. Он один из тех, кто навевает мне и осознанную праведную радость, и неосознанную, безотчетную, несправедливую грусть. Подавая мне руку, говорит:

— Мажит Муканович, напрасно нас к вам до сих пор не пускали. Выглядите вы прекрасно. По-моему, это какая-то ошибка. Видеть больным нашего шефа — это ни в какие ворота... Но нет худа без добра... Может, вас нарочно уложили, чтобы вот так, созерцая потолок, могли придумать для нас еще более беспокойные, чем раньше, задачи...

— Валерий Петрович, садись... только сейчас, к сожалению, с большим опозданием убедился, что ты один из моих слабых учеников... И напрасно я тебе семь лет назад доверил лабораторию... Подумай сам: тебе врачи, перед тем как разрешить сюда войти, велели не разговаривать о работе... Ты же, идя сюда, придумывал, что сказать, и по инерции, не проанализировав придуманное, брякнул, что я, созерцая потолок, думал о работе... Ну скажи, этому я тебя учил? Что касается задач, хватит на моем горбу ездить, придумывайте сами... — У меня чуть не срывается с языка «и так уже без меня...», но хорошо, что вовремя удерживаюсь, ибо чуткий Валерий это понял бы как упрек.

— Виноват, Мажит Муканович... глуп, глуп... Если бы вы были на работе, я бы подал заявление с просьбой понизить в должности за глупость, проявившуюся с годами все явственней...

— Да, это тебе спасение, что меня нет на работе... Есть и другой резон — не так уж глуп тот, кто знает, что он глуп. И я из-за этого остерегаюсь по поводу тебя делать окончательные выводы...

Манера перекидываться шутками подобного рода у нас установилась давно, еще с тех пор, когда, приехав в институт, на работу, увидел Валерия Петровича во дворе с лопатой в руке. Он вместе с другими товарищами копал траншею для прокладки кабеля. Высокий, статный, красивый, с тонкими очертаниями лица, Валерий Петрович

сразу привлек мое внимание. Когда я спросил о житье-бытье, он рассказал, что он — молодой специалист, только что окончивший институт в большом уральском городе, приехал сюда и очень не жалеет, что приехал. Это меня удивило, ибо все, с кем я разговаривал, жаловались на судьбу, которая забросила их в этот так называемый институт, где нет ни одной нормальной лаборатории, где приходится копать траншеи и перекладывать внутренние стенки старого здания.

— К тому же полагаю,— полушутливо добавил он,— что нельзя считать достижением, когда приходишь на готовое, другое дело — создавать самому материальную базу для своих будущих научных изысканий...

Скажите: будущих открытий,— в тон ему подсказал я.

— Честно сказать, показная скромность подвела: думал я, конечно, ни больше, ни меньше, как об открытиях,— нашелся Валерий Петрович, улыбнулся во весь рот, заражая весельем товарищей, работавших вместе с ним.

— Вы, конечно, шутите,— сказал я,— но это хорошая, дельная, оптимистичная шутка, в ней есть много правды... Почему надо думать, что крупные научные дела должны делаться где-нибудь, но только не у нас... Почитайте биографии знаменитых и великих, большинство, если не все, начинало в условиях, похуже наших...

Я начал беседу, улавливая насмешливые и недоверчивые взгляды Валерия Петровича и десятка его друзей, вынужденных скептически и недоверчиво стучаться в ворота науки через рытье этого мерзлого грунта. По-видимому, моя директорская должность для них ничего не значила, а моя молодость не располагала к особому почтению. И, может быть, своим несоответствием высокому научному положению моя персона вызывала даже подозрение. Я много бы отдал в тот момент, чтобы хотя бы ненадолго выглядеть маститым ученым, завораживающим юных званиями, регалиями, толстыми книгами, сединой и многозначительным старческим кряхтением. Но я был молод относительно и легко отпарировал несколько колких замечаний из их невоздержанных, дерзких, еще не отвыкших от студенческого остроумия уст, быстро овладел их вниманием. Это была хорошая беседа. Я и поныне весьма признателен Валерию Петровичу, ибо благодаря его юмору мне удалось в тот день найти ключ к задушевной беседе с молодыми специалистами, с которыми, как новоприбывший директор, знакомился впер-

вые и, хотя только что приступил к исполнению своих обязанностей, чувствовал себя в какой-то степени виноватым в том, что будущие научные работники копали землю, а не сидели, как положено, в библиотеках и не стояли за лабораторными столами. Рассказывал им о больших задачах, стоящих перед молодым институтом, и без утайки перечислил те трудности, которые необходимо пережить для того, чтобы начать выполнять эти задачи. Убежден, что именно с этого дня, с легкой руки Валерия Петровича установилась такая непринужденность и непосредственность в моих взаимоотношениях с младшими коллегами в институте, которая придавала нам упорство в преодолении многого на нашем пути, усеянном, как и во всяком научном коллективе в период его становления, отнюдь не розами. Ныне эти легковверные юнцы, имевшие тогда лишь отдаленное, книжное представление о творческой работе, превратились в солидных мужей науки, закаливших характер во многих научных боях и сражениях, и с их мнением теперь считаются и в научном мире, и на производстве. Отошло в прошлое то время, когда любая научная проблема, будь она малой или большой, могла нас поставить в тупик не только из-за отсутствия нужных приборов, книг и лабораторных условий, но и главным образом из-за недостатка знаний и знающих людей. Теперь смешно вспоминается многое из этого былого, когда мы с наивной смелостью организовывали лаборатории и ставили свои неумелые первые опыты. И все же история нашего института мне кажется поучительной, и я не раз просил Валерия Петровича писать хронику родного научного дома, зная, что никто другой из нашего коллектива не сможет живописно воспроизвести и занятно рассказать о событиях, здесь случившихся. Валерий Петрович каждый раз обещает мне начать, но, занятый по горло творческими делами, которые у него не перестают расти в объеме, не может выполнить свое обещание. Да и, наверное, нескоро выполнит, потому что для этого, по-видимому, необходимо подойти к тому возрасту и положению, в каковых имеем честь находиться мы с тобой, друг мой.

Это я вспомнил к тому, что, собираясь преподнести тебе какие-то разрозненные куски из периода становления и развития нашего института, подумал, как было бы хорошо, если бы ты имел под рукой написанное Валерием Петровичем, ибо общий колорит этих кусков в моем

воспроизведение наверняка будет более мрачным, чем в представлении младшего коллеги, так как молодые мои соратники, как мне приходилось не раз в том убеждаться, вспоминают эти труднейшие годы как просто веселое начало своей научной карьеры. В моей же памяти это начало нашего пути предстает в несколько ином свете, ибо мое положение обязывало меня к разносторонней и многократно большей ответственности и эта ответственность, естественно, связана была со столь же многократно большими переживаниями. Вот об этих переживаниях, научных и ненаучных, о делах и людях, вызывающих эти переживания, и хочу теперь тебе рассказать, дорогой друг, и боюсь, что этот мой рассказ будет еще менее связным, чем предыдущий, ибо здесь все свежо и все берedit душу, отнюдь не способствуя последовательности изложения.

Вспоминаю теперь, как начинал исполнять обязанности директора, и думаю, что не от хорошей жизни я был назначен на эту трудную и почетную должность. Очевидно, моя кандидатура всплыла перед президентом Академии после того, как он убедился, что никого из опытных и достаточно маститых товарищей не прельщает руководство институтом, коллектив которого состоял из какой-то сотни лиц, съехавшихся из разных концов республики, главным образом, из столицы, так как в городе, несмотря на присутствие в этом регионе крупных известных стране центров химической и металлургической промышленности, химические дела развития не получили и местных специалистов почти не было. Что же касается так называемой материальной базы института, то она была представлена небольшим двухэтажным зданием бывшего общежития соседнего учебного заведения, комнаты которого, с редко расставленными канцелярскими столами и шкафами, даже отдаленно не напоминали химические лаборатории. Естественно, что институт, несмотря на солидное название, таковым еще не являлся и при таком состоянии дел не скоро обещал быть. Президент, напутствуя перед выездом сюда на работу, обратил внимание на многие трудности, ожидавшие меня впереди. Он говорил об отсутствии лабораторной базы, о тесноте, которая почувствуется немедленно при установке научного оборудования. Но особо подробно он рассказал о неладах между бывшим директором, доктором наук Жедельбаевым Шарипом Уахитовичем и его заместителем, академиком республики Хайловым Михаилом Исаковичем. Институт

существовал всего лишь год с небольшим, и за этот короткий промежуток директор и заместитель успели перессориться до такой степени, что первый, не выдержав натиска академика, обратился в президиум Академии с просьбой перевести его руководителем лаборатории. Коллектив тоже успел разбиться на две враждующие группировки, и уже нашлись такие, кто намеренно раздувал эту вражду. Теперь слишком хорошо понимаю, почему Каныш Имантаевич акцентировал внимание именно на обстановке, которая создалась в молодом институте. Тогда же был обо всем этом небольшим, иного мнения. Помню, как, приехав в президиум Академии спустя две или три недели после того, как приступил к новой работе, зашел в родной институт, где учился и вырос, и увидел во дворе знакомую кучу друзей: Вербу, Гайнитдина, Сергея и других. Они с такой радостью и энтузиазмом жали мне руку, что со стороны можно было подумать, что я только что вернулся по меньшей мере из кругосветного путешествия.

— Жмите, жмите,— сказал я,— впервые вам удастся так свободно соприкоснуться с ладонью директора академического института. Слушайте, вы по-прежнему встречаетесь здесь, во дворе, для «творческих» собеседований? Работаете, как и прежде, на тех же кафедрах? Странно... я полагал, стоит мне уехать, как все развалится, а вы разбежитесь... Собственно, пришел было править печальную тризну по вас.

Это была шутка, и мы тогда изрядно посмеялись, варьируя в этом плане. Теперь же думаю, что шутка эта была рождена той долей правды, которая в то время сидела во мне. Я был очень самонадеянным парнем и, по-видимому, имел довольно высокое мнение о своей роли в делах коллектива, который только что покинул. Иначе как рассудить то обстоятельство, что, слушая напутственные слова академика Сатпаева перед моим отъездом, слушая человека, каждая фраза которого должна была бы ложиться в мою душу заповедью, более тревожился о материальных недостатках научного учреждения, куда ехал директорствовать, и чуть ли не пропускал мимо ушей именно то, на что обязан был обратить особое внимание и по поводу чего целесообразнее было бы советоваться с мудрым научным старшиной наиболее подробно и всесторонне. Мало того, считал, что старик смещает акценты и что мне не будет стоять большого труда привести в

порядок эту небольшую группу людей, представляющую так называемый институт, поскольку, как мне тогда казалось, я неплохо справлялся с руководящей ролью в коллективе, имевшем не один десяток профессоров, среди которых были и академики, и члены-корреспонденты республиканской Академии. Такое неправильное, смешанное представление об организации научной работы сложилось у меня, по-видимому, оттого, что, недолго работая в должности заместителя у нынешнего академика Копурбаева, я его деятельность по налаживанию деловых взаимоотношений в коллективе выдавал в большей мере, чем это полагалось бы, за свою, а небольшой личный опыт научных изысканий, запомнившийся мне, главным образом, в виде сплошных хлопот, переживаний, беганий и ожиданий, связанных с выбиванием и приобретением необходимых приборов для проведения экспериментов, мне подсказывал, что главное в научной работе — это материальное обеспечение исследований. Я явно по незнанию свои утлые соображения, вытекавшие из личного неказистого научного прошлого, распространял на работу коллектива, с которого должен был начаться будущий большой академический институт.

Конечно же, умение хозяйствовать и приобретать — необходимое условие для успешной работы руководителя научного учреждения. Но это, вероятно, не самое главное и не самое трудное условие. Иначе, почему мне сейчас дела по созданию многочисленных лабораторных установок, приобретению, переделыванию, возведению помещений и зданий института вспоминаются как какие-то сплошные победы, не оставившие в душе ни ран, ни рубцов. Помню, как специально выезжал в Москву в сопровождении молодого инженера за прецизионным и дорогим прибором и как мы везли его, выкупив купе мягкого вагона и бережно, как новорожденного, уложив на два нижних места. В институте мы не могли нарадоваться нужному прибору, но бухгалтер, этот главный враг приобретательской инициативы и изворотливости сотрудников, признала незаконным провоз прибора в качестве двух пассажиров и отказалась выплачивать стоимость билетов. Ныне заведующий лабораторией, а тогда молодой специалист Ганеев Имаш взял, несмотря на мои протесты, оплату одного из билетов на себя, сказав:

— Что вы, Мажит Муканович, надо, наверное, ради науки жертвовать не только жизнью, но и зарплатой.

Помню, с какими трудностями осваивался небольшой лабораторный корпус, как строили чуть ли не всем институтом домик под стеклодувную мастерскую, как, выпросив барак у руководства области, приспособили его под машиносчетную станцию, как из котельной, подлежащей сносу, получилась прекрасная лаборатория с неожиданно высокими потолками и поэтому не требующая особых забот по вентиляции. Все было для нас событием, и всему этому мы радовались. И, наконец, радости коллектива не было предела, когда начали строить нынешнее прекрасное здание института. Не раз наблюдал и наблюдаю поныне, как многие мои коллеги проявляют удивительную изобретательность и едва ли не плюшкинское скопидомство при оснащении своих лабораторий, и теперешний относительный достаток в институте в оборудовании, в научных приборах — это, конечно, плод их целеустремленного труда. Все это говорю, дорогой друг, к тому, что меня так и тянет, как ты уже, наверное, заметил, посмаковать подробности многочисленных хозяйственных удач, с крестьянской любовью рассказать о том, как приобретался, устанавливался тот или иной прибор, как осваивалось то или иное помещение, но сознательно буду избегать этого. И теперь мне кажется, что в силу этой традиционной поддержки науки в нашем обществе, в делах оснащения научных экспериментов несложно добиться успехов. Знаю, что эти успехи у нас есть, уверен, что теперь в наших лабораториях можно ставить любые эксперименты на самом современном уровне, что с завистью и восхищением не раз отмечали приезжавшие к нам коллеги высокого ранга, но товарищи мои по работе не перестают жаловаться на отсутствие того или иного прибора и даже помещений, и жалобы эти меня не раздражают, ибо было бы намного хуже, если мои коллеги почувствовали, что всего теперь достаточно. Это свидетельствовало бы ни больше, ни меньше как о том, что они перестали работать. Между прочим, в научном учреждении, прежде всего в академическом, где ученым предоставлено высокое право самим выбирать направление и тему своих исследований, перестать работать легко, и в этих случаях быстро находятся люди, искусно умеющие создать обстановку видимости работы. С этим еще мало знакомым мне явлением в моей научной практике я встретился сразу же после приезда в институт. Требовать каких-то больших работ от только что организо-

ванного института не приходилось, но я представлял себе, что приду в молодой коллектив, уже успевший проникнуться духом поиска в сфере научных интересов двух маститых ученых, каковыми были профессор Жедельбаев и академик Хайлов. «Мало ли могут люди не ладить между собой, работа остается работой», — думалось мне тогда. В наивности подобного предположения убедился сразу же, когда почувствовал, что пока вовсе не этим живут люди в институте. И все же считал, что это положение можно выправить и это дело недалекого будущего. Увы, оказалось совсем не так. И здесь, дорогой друг, подхожу к тому месту своего повествования, где я должен говорить о вещах, которые для меня являются предметом не всегда спокойных раздумий: слишком много было ошибок, а поступки, считавшиеся мною правильными в то время и даже несколько позднее, теперь, после зрелых размышлений, мне не кажутся таковыми. Тут я касаюсь настолько сложных вещей, что и не знаю, с чего начать. После того, как профессор Жедельбаев перешел в лабораторию, обязанности директора временно исполнял академик Хайлов, который теперь становится моим заместителем. Естественно, с разговора с ним и начал свое знакомство с делами института.

Он вошел легкой, подпрыгивающей походкой, и, светло улыбаясь, подал суховатую руку. Я приподнялся навстречу, пожал его руку, но еще не успел вернуться в свое кресло, как увидел академика сидящим за приставным столиком напротив меня. Деловито доставая из футляра очки, он уже говорил, чуть по-уральски окая:

— Мажит Муканович, погода-то у нас... не очень приветливо вас встретила... У меня жена, знаете ли, приболела, но теперь, слава богу, поправилась... Надо полупромышленные испытания проводить, я ведь здесь большое дело затеял... Да, да... большое дело... Знаете, мне покойный академик Ванин говорил, чтобы я не оставлял это дело... Он очень меня, знаете ли, любил... Президент наш очень поддерживает... очень поддерживает... Умнейший человек! Тут ведь ни один опыт нельзя провести, силовой линии не было, надо было кабель доставать... ведь достали... Тут я недавно с секретарем обкома говорил, большие задачи перед институтом стоят, очень большие... Нам с вами много придется работать, ох как много... Используйте, пожалуйста, мой опыт, я ведь в науке работаю тридцать три года... А знаете, как трудно

работать, людей не хватает... Тут я недавно встретился с главным инженером завода, им помощь нужна, очень нужна...

Все это он говорил просто, без натуги, с какой-то чуть ли не детской непосредственностью перескакивая с темы на тему и повторяя слово «тут», которое, как потом я убедился, было для него привычной частью речи. Он, по-видимому, вовсе не думал, что я пригласил его по делу и что необходимо осведомиться об этом.

— Михаил Исакович, разрешите вас перебить, я понимаю, как трудно здесь работалось, и думаю, не легче будет и теперь... но я хотел бы послушать вас об общем состоянии дел, о людях, тематике, планах, словом, обо всем, ведь нам с вами надо иметь общие взгляды на все, что здесь делается и будет делаться...

— Да, да, Мажит Муканович, я с вами вполне согласен... Тут вот со мной приехали, вернее, я их пригласил, очень толковые люди,— и он сбивчиво начал рассказывать, чем и почему толковы эти люди, но почему-то ухватился за фамилию Федорова и стал подробно говорить о том, что этот Федоров, хотя и не имеет высшего образования, но мастер на все руки и что надо его беречь и использовать на большие дела. Я не был против Федорова, но академик устойчиво крутился возле него, не назвав больше ни одной фамилии из тех, кто подает надежды на научный рост. Потом, правда, перескочил на фамилию Холода, очень пожилого кандидата наук, тоже приехавшего вместе с ним, и довольно долго хвалил его, называя своей правой рукой, при этом ни словом не упомянул о научных заслугах «правой руки». На мой вопрос, имеет ли аспирантов, академик ответил, что он по горло занят своей темой и над этим специально не думал, хотя никому не отказывает, кто желает у него учиться. Почувствовав тщетность своей попытки получить объективные, связанные сведения о людях, я заговорил о темах, разрабатываемых в институте. Михаил Исакович тут же подхватил мои слова и стал рассказывать о полупромышленных испытаниях, которые он намеревается проводить, и всю тематику института свел к проблемам, связанным с этими испытаниями. Я было деликатно напомнил ему, что заместителю директора надо было продумать необходимость разрешения многих других проблем, ибо широкий профиль института мыслится в плане организации в будущем научного центра республиканской

Академии. Михаил Исакович посмотрел на меня своими серыми глазами, в которых я прочитал прямой укор своему неразумию, и сказал:

— Да, да, Мажит Муканович, я вас понимаю... я никому не собираюсь мешать... и вам не буду мешать развивать свои дела... Нам с вами хватит этого института.

Меня удивил такой образ мыслей академика, и я сказал, что кроме нас с ним есть еще специалист, профессор Жедельбаев. Я хотел было сказать, что нельзя вести речь о сферах влияния или о чем-то подобном, когда нам поручено такое ответственное и благородное дело, но Михаил Исакович подхватил, не дав мне договорить:

— Шарип Уахитович напрасно мне мешал работать, не считался ни с моим мнением, ни с моим громадным опытом, ведь я ему не мешал работать, тут ведь меня заставили стать заместителем, президент заставил, — сказал Михаил Исакович тоном глубоко обиженного человека. Из дальнейшего я узнал, что его обиды сводились к тому, что Жедельбаев забирал и устанавливал в своей лаборатории какие-то приборы, которые были так необходимы Михаилу Исаковичу, не принимал на работу каких-то очень нужных ему людей. Я почувствовал, что желчь академика на профессора Жедельбаева еще была свежей и он может говорить на эту тему сколь угодно долго. Словом, делового, серьезного разговора у нас не получилось. И все же я бы не сказал, что вынес из этого первого разговора с моим заместителем отрицательное мнение о нем. Наоборот, мне даже показалось, что этот лысый, сухощавый человек, солидный возраст которого выдавали лишь мешки под серыми навывате глазами, и есть тот тип ученого, которого земные дела касаются только с точки зрения его научных интересов. Подумал даже о том, что все эти профессора и академики за этой простотой и непосредственностью, за этой непосредственностью в беседе скрывают очень большие знания, что эти знания необходимо использовать, не обращая внимания на странности, которыми, как правило, наделены эти люди с высокими лбами. Если бы передо мной не сидел академик, лауреат, кавалер орденов, я бы нашел неприличным, что в беседе он подчеркивает свой научный опыт, называя его «громадным». К тому же академик имел не очень удобную привычку непринужденно и легко перескакивать в беседе с темы на тему, не сосредоточиваясь ни на чем, обладая малоподходящей для его положения

склонностью говорить об околонуточных мелочах. Я был полон желания быть проницательным, понимающим руководителем и, великодушно отнеся все это к названным выше извинительным странностям, сознательно отстранил себя от мысли делать, исходя из последних, какие-либо сомнительные и опрометчивые выводы. Мне подумалось, и это утешало меня, что занятные особенности в поведении академика, в конце концов, в какой-то мере соответствуют сложившемуся у всех представлению о людях, давно углубленных в узкую область науки. Может быть, подумалось также мне, был какой-то резон и в том, что он рассуждал о коллегах с точки зрения, мешают они или не мешают ему работать, и что, будучи академиком, он, безусловно, заслужил это право. И в связи с этим мне очень понравилась его исключительная озабоченность по поводу полупромышленных испытаний по его теме, и я понимал, что для меня и для института важно не только само присутствие маститого ученого, но и успешное проведение его темы, в значении которой для науки и техники он не сомневался. И тем не менее вынужден был придти к печальному заключению, что Михаил Исакович в роли заместителя директора оказался случайно, хотя в этом особенную беду не предвидел, поскольку был тогда убежден, что имею достаточный опыт общения с людьми подобного ранга по прежней работе и поэтому без оличностей полагал, что академик наверняка считает свою административную должность излишней обузой и в этом особых хлопот для меня не представит, мне даже показалось, что он уже сделал какой-то намек на это. Подумал еще о том, что необходимо по возможности вникнуть в научные интересы Михаила Исаковича, чтобы легче было помогать ему и получать от него советы.

Мне было жаль, что Михаил Исакович не помог мне получить достаточно подробное, объективное и достоверное представление о научном учреждении, руководителем которого я стал. Жедельбаев, который мог бы рассказать многое, находился в длительной командировке, а парторг института, пожилой производственник Жантак Бокенов, примерно одного возраста с Хайловым, пожелавший на склоне лет овладеть глубинами науки, отсутствовал из-за болезни. Мне подумалось, что, может быть, это и к лучшему. Я пошел бродить по комнатам института и, знакомясь с людьми и их работами, думал о том, как быть и что делать. Захожу в одну небольшую комнату на

первом этаже и вижу своих бывших студентов, выпущенных в прошлом учебном году. Они весело отвечают на мое приветствие и продолжают возиться возле небольшого, сложенного из огнеупорных кирпичей пыльного сооружения, в котором узнаю по торчащим электродам электродуговую печь. Их грязные халаты и озабоченные лица импонируют моему желанию видеть сотрудников за настоящей работой, и я, великодушно оставив на будущее готовое сорваться с языка замечание, что они могли бы работать аккуратней и ходить в более чистых халатах, спрашиваю, чем они занимаются. Рассказывают давно известное из учебников. Меня это поражает, но не выражаю свое удивление и выражаю свое сомнение в необходимости работать вдвоем у одной и той же установки над сравнительно простым опытом, где и одному-то дел не очень много. Бывшие мои студенты соглашались с этим, но они вынуждены все делать вместе, ибо это их общая тема, заданная их шефом Леонтием Порфирьевичем Холодом. На мой вопрос о задаче, которую они ставят перед собой, исследователи в грязных халатах поднимают на меня взоры с неменьшим удивлением, и в этом удивлении чувствую, что они уже начали привыкать к работе по заданию, смысл которого известен только руководителю.

— Ну что же, друзья, колдуйте дальше... помните, что «...навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно...» — говорю, уходя; говорю нарочито бодро, чтобы не расстроить хороших парней своим сомнением.

Захожу еще в одну комнату и вижу сидящего за столом Валерия Петровича, рисующего на тетрадном листочке. Спрашиваю, чем он занимается.

— Да вот стараюсь, Мажит Муканович, разобраться, чем занимаюсь, — улыбается Валерий Петрович.

— Странно, но, наверное, занятно...

— Именно так... Жантак Бокенович поручил задание, чтобы я поставил опыты, которые бы доказали то, что он априори высказал. Пробовал у него выяснить, как мыслятся эти опыты, он сразу же отрубил, что молодому инженеру не следовало бы задавать такие вопросы: для чего у него существует голова, если он собирается ставить опыты по прописям.

— Думаю, что Жантак Бокенович сделал вам вполне резонное замечание...

— Конечно, я сам вначале согласился с этим... Дело

в том, что речь идет о статье, которую недавно опубликовал Жантак Бокенович: в ней он не то что оспаривает, а прямо и резко опровергает известные положения профессора, по учебникам которого мы, да и вы, наверное, учились. Попробовал разобраться и пришел к выводу, что утверждения моего руководителя абсурдны, голословны... Он хочет, чтобы я ставил эксперименты в доказательство, но простейшие опыты дают совершенно противоположное тому, что желал бы получить мой шеф. Я сделал попытку деликатно выразить свои сомнения, шеф меня выругал и велел заниматься дальше. В таких случаях, когда тебя не хотят понимать, глупо доказывать что-то, и я действительно сейчас сижу и занимаюсь тем, что хочу еще раз разобраться, чем занимаюсь... На этой бумаге я воспроизвожу простую ячейку, в которой проводил опыт... Статья напечатана в солидном, как видите, журнале, и Жантак Бокенович ею очень гордится, в особенности, вероятно, потому, что ниспровергает авторитеты...

— Может быть, вместе попробуем разобраться, мы же с вами специалисты одного профиля, надеюсь, пойдем друг друга...

Сажусь поближе к Валерию Петровичу, и мы с ним прочитываем статью Жантака Бокеновича, разбираемся в его аргументации. Все доводы и контрдоводы Валерий излагает четко, показывая хорошую осведомленность в вопросе, и вынуждает меня согласиться с тем, что в статье, написанной не по-научному, больше амбиции, чем грамотности. Меня удивляет, что такие малодоказательные соображения напечатаны в центральном научном журнале.

— Ну что, Валерий Петрович, это тоже школа, когда человек, разбираясь в чем-то заведомо неправильном и абсурдном, утверждает свои положительные знания... После этого можно уверенней распоряжаться последними...

— Спасибо за утешение, Мажит Муканович,— смеется Валерий Петрович. Я смотрю на него и поражаюсь сходством Валерия с молодым Тарасом Шевченко по известному автопортрету: такой же широкий, выпуклый, прекрасный лоб, правильный красивый славянский нос, большие глубоко сидящие карие глаза, четкие брови; только доброе, спокойное, волевое лицо, может быть, чуть уже, чем у великого украинца.

— А что касается Жантака Бокеновича,— продолжал

я,— то мы с ним говорили и придем к какому-то общему знаменателю...

Иду в лабораторное здание, которое достраивается для нас: достраивается оно медленно, у меня от этого щемит сердце, но все же иду, потому что знаю, есть такой инженер Лапин, который вопреки протестам строителей отвоевал угол в нижнем этаже недостроенного здания и там, соорудив себе опытную установку, трудится не покладая рук. Вспомнил, как при случайном упоминании фамилии Лапина Михаил Исакович отозвался о нем, как об авантюристе и очень нескромном человеке. Вхожу и вижу: в просторной комнате с высоким потолком висит зонт, от которого отведена вентиляционная труба в верхний угол большого окна и оттуда, видимо, по стене к крыше здания. Под зонтом обычный металлургический печной агрегат в миниатюре, в нем кипит, брызгая искрами, расплав. Впервые вижу в институте опытную установку, на которой ведется эксперимент, и радуюсь. Меня встречает высокий мужчина средних лет, широкая жесткая кисть его правой руки еле вмещается в мою тоже немаленькую ладонь. Его молодой приземистый помощник не смеет подходить к начальнику и на мое приветствие отвечает кивком головы.

— Василий Гаврилович, я о вас слышан и пришел познакомиться. Говорят, вы тут затеяли доказать чуть ли не недоказуемое и что это у вас неплохо получается...— вижу, как его небольшие серые глаза под белесыми бровями, находясь вровень с моими, смотрят колюче и недоверчиво.

— Мажит Маханович, у меня-то получается хорошо, да пока мало кто верит. А ведь доказываю самое простое и на простом опыте: получить из бросового материала ценнейший продукт на тех же агрегатах, на которых ныне работают; необходимо только несколько изменить параметры процесса... Вот он льется, тот сплав, которому никто, в особенности металлурги, не верят,— говорит он, показывая на течку печи, откуда в маленький ковш искрящейся змейкой тянулась струйка металла.

Лапин продолжает говорить о своей работе, будто не слыша, как я повторил точное произношение своего отчества. Человек этот, видимо, не привык занимать себя тонкостями в обращении к кому бы то ни было; он, не извиняясь, поправляется и называет меня чуть верней: «Мажит Муханович». Излагает он свои мысли не очень

последовательно и, горячася, сбивается: с толстых его губ вылетают резкие, рубленные, нескладные, дышащие уверенностью фразы. Легко улавливаю принцип, на основании которого Василий Гаврилович строит предлагаемую им технологию, и выражаю свои сомнения в ее дельности именно из-за простоты.

— Вот именно,— еще более горячится Василий Гаврилович, причем острые глаза его смотрят на меня еще более колюче, ибо он уже в душе отнес меня, по-видимому, к тем же, кто его не понимает и не желает понимать,— у нас настолько много, настолько глубоко все знают, что считают: если что-то просто, то это непременно глупо.

— Между тем, как известно, все гениальное просто. Почему нам надо полагать, что подобная простота не может найти свою обитель именно в этой комнате, у этой печи,— пытаюсь острить я, но моя шутка не принимается; Василий Гаврилович продолжает говорить об истории своего изобретения, о бесчисленных опытах, которые он выполнил и здесь, и до этого, о том, что он приехал сюда, в новый институт, в надежде, что здесь его поймут, и тема его найдет благодатную почву для развития, поскольку здесь самое подходящее для процесса сырье, и что только поэтому он согласился на приглашение Михаила Исаковича. Теперь же академик желал бы приспособить его к своим делам, не считаться с тем, что у него, у инженера Лапина, своя голова и он ничего не делает под диктовку. Ныне Михаил Исакович его просто третирует, и, если это третирование будет продолжаться, он вынужден будет уехать. Последнее уже говорится в мой адрес: по-видимому, Василий Гаврилович решил, что новый директор тоже из тех, кто автоматически становится против него.

— Но дело это я не оставлю, в нем теперь вся моя жизнь,— твердо, уверенно и даже зло резюмирует он свою речь.

— Я не пойму вас, Василий Гаврилович,— говорю я,— если бы третировали вас, вам бы не выделили это помещение, вы — инженер, между тем, у нас некоторые кандидаты наук не имеют пока ни угла, ни оборудования для работы. У вас есть, смотрю, и помощник.

— Я этого добился сам, я ездил к президенту Академии. Каныш Имантаевич подробно выслушал меня и распорядился выделить площадь и дать помощника. Михаил Исакович, скрепя сердце, вынужден был это сделать.

— Ну, что же, Василий Гаврилович, если президент Академии вам помогает, то нам и бог велел. Будем оказывать содействие. Вы меня убедили в серьезности своих дел.— Мне хочется сказать еще что-то такое, что вдохнуло бы в Василия Гавриловича уверенность в моей неизменной поддержке, сказать об отсутствии у меня сомнений относительно научной новизны его идеи и больших выгод народному хозяйству при внедрении в производство. Я сдерживаюсь от этого и тут же ловлю себя на приятной мысли, что сдерживаюсь правильно и мудро. На самом же деле я все уже высказал, чувство же недосказанности, как заключил потом из анализа своей беседы с Лапиным, связано было, видимо, с большой взволнованностью, навеянной фантастичной преданностью идее и страстной уверенностью в своей правоте этого уже немолодого человека; уверенностью, подкрепленной не словами, а многочисленными, отнюдь не легкими экспериментами. Взволновать меня тогда было еще сравнительно легко, ибо во мне не так крепко сидел научный скепсис. Не будь этой взволнованности, я, возможно, воздержался бы вообще от какого-либо обещания, так как, честно говоря, тогда был не настолько сведущ, чтобы после первой же беседы считать свою убежденность окончательной и стать бесповоротно на сторону Василия Гавриловича. В дальнейшем, когда мне пришлось подробно знакомиться с работой, читать и обсуждать проблему по специальности, меня не раз обуревали сомнения. И все же я благодарен Василию Гавриловичу с его безраздельной увлеченностью своей идеей, под впечатлением которой я оказался втянутым в орбиту его интересов. Поистине, не раз думалось потом мне, «мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь, жолом ее оттуда не выбьешь».

Все эти детали я тебе рассказываю, дорогой друг, к тому, что работа инженера, ныне кандидата наук Лапина действительно оказалась одним из больших, общепризнанных дел института и в него вложен и мой немалый труд. Теперь задним числом легко было бы похвалиться своей проницательностью, в действительности же никакой проницательности не было, была лишь самоуверенная эмоциональность молодого руководителя. И, тем не менее, мне приятно вспоминать мое нелегкое сотрудничество с Лапиным, ибо на нем испытывал свое умение притирать людей друг к другу для выполнения творческой задачи. Ты уже, наверное, мог заметить из изложения нашей

первой беседы, что мне приходилось иметь дело с человеком, совершенно лишенным располагающих манер, с человеком, который, как сказал поэт, не любил овал и всюду угол выбирал. Его горячность, резкость, самонадеянность, неразумное подчеркивание роли собственной персоны, щепетильность при почти полном отсутствии юмора, при неумении последовательно, четко излагать свои мысли очень усложняли его взаимоотношения с людьми как в институте, так и за его пределами, и страшно вредили и ему и, главное, делу. Между тем, именно он был автором ценнейшей идеи, и никак нельзя было обходиться, не совершая несправедливости, без его решающего участия. Мне пришлось немало потратить усилий, чтобы налаживать его отношения с коллегами, в особенности с представителями производства, зачастую просто отказывавшихся с ним работать, что грозило большой опасностью, когда наступила пора широкого промышленного освоения процесса.

Меня без конца отрывали неотложные дела, выезды и командировки, но я все же продолжал непринужденно и неторопливо беседовать с сотрудниками. Теперь уже в памяти от этих первых бесед осталось немного, но я хочу рассказать еще об одном интересном знакомстве, которое принесло мне потом много приятного. Я имею в виду одного из ведущих теперь ученых нашего института Иванидиса Владимира Ивановича.

...В маленькой угловой комнатке первого этажа, на половину занятой модельным лабораторным столом, у бойко качавшейся «утки», без которой, кажется, не обходится ни одна лаборатория органической химии, стоял среднего роста сухонький лысый человек. Когда он, повернувшись на мое приветствие, уставился на меня своими немигающими красивыми карими глазами, всем своим существом выразив почтение и внимание ко мне, я чуть не рассмеялся: под носом с античной горбинкой угрожающе топорщились усы, как будто хозяин собирался ринуться вперед, «встреченных увеча пиками усов», а ниже под подбородком ходуном ходил, будто обеспокоенный моим приходом, кадык. Но подвижное лицо было добрым и располагающим, усы топорщились напрасно, кадык успокоился и ушел в себя. Я сел рядом с Владимиром Ивановичем рассуждать о природе пузырьков, которые выделялись от палочки, соединенной с источником постоянного тока и опущенной в жидкость в «утке»,

заметив, что половину стола занимали измерительные приборы, предназначенные, очевидно, для наблюдения за поведением этих пузырьков. Рассказывал мой новый собеседник весело, образно, последовательно и интересно. Пузырьки, вылетаая из жидкости, уносили с собой много интересных проблем, которые подлежали непременно выяснению. Владимир Иванович оказался аспирантом Шарипа Уахитовича Жедельбаева.

— Вы — единственный аспирант института. Неплохо быть единственным. Только не пойму, почему этот единственный не мог быть помоложе, — сказал я, смеясь, так как Иванидис отставал от меня по возрасту всего на один год.

И Владимир Иванович, тоже смеясь, рассказал мне, как у него возникла запоздалая любовь к науке. Он кончил педагогический институт и уже много лет работал в техникуме, когда познакомился с Уахитом Шариповичем. Беседы с профессором не прошли даром, он стал рыться в литературе, читать по темам этих бесед и увлекся настолько, что почувствовал: у него теперь есть единственный путь в жизни — быть рядом с Уахитом Шариповичем. Естественно, что профессор взял его к себе в аспирантуру.

— И вы сидите теперь, уставившись в эти пузырьки, как свифтовский лапутянин — в зеленый огурец... Поистине, любви все возрасты покорны... и к тому же думаю, что запоздалая любовь бывает, как правило, более крепкой, более устойчивой и более плодотворной, чем ранняя любовь — скороспелка, — пошутил я.

— Спасибо вам за красивое утешение, буду стараться, — ответил мне Владимир Иванович.

Аспирант Иванидис, конечно, хорошо знал, для чего и почему он сидит в этой комнате. И я уже не сомневался в том, что он будет автором неплохой кандидатской диссертации. Его юмор, его непринужденность выдавали в нем человека начитанного, культурного и знающего жизнь. Я впервые за время беседы с сотрудниками решил коснуться темы, не имеющей непосредственного отношения к обязанностям по работе.

— Владимир Иванович, можно задать вам один деликатный вопрос? Что вы скажете о своем научном руководителе? Я его знаю лишь понаслышке. Скоро он придет из командировки, хочу знать, честно говоря, о нем больше.

— Уахита Шариповича я уважаю и люблю... И мое мнение, конечно, будет пристрастным... Считаю везением для себя, что являюсь его аспирантом... Сейчас ведь он ездит по вопросам внедрения совершенно новой схемы, предложенной им, на соседнем большом химическом предприятии... Схема эта проста и полностью исключает применение ныне присутствующего в технологии завода вреднейшего элемента, уже, к сожалению, успевшего изгадить окружающую среду. Это плод его почти десятилетнего труда... Вы уже знаете, что несколько человек сейчас постоянно работают над внедрением схемы шефа. И директором, на мой взгляд, он был неплохим... мы тут, снизу, все обсуждаем. Только горяч, вспыльчив, скор на решение... Этим и пользовались такие, как Холод...

— При чем тут Холод?

— Извините, Мажит Муканович, не аспирантское это дело, но раз вы спрашиваете, скажу, что Холод управляет нашим академиком — это все знают...

— Ну что же, Владимир Иванович, у больших ученых бывают большие странности... Но они ведь ценны не этим... Остается пожелать вам стать академиком, а чье-то ненаучное влияние общество вам не простит... Вы, может быть, расскажете мне о схеме своего шефа, — перевел я разговор на другую тему, почувствовав, как заходит слишком далеко, в область недопустимых для первого знакомства пересудов, наша беседа.

— Дай бог, Мажит Муканович, старику-аспиранту стать кандидатом наук. К тому же, старик-аспирант не так глуп, чтобы постараться обскакать своего директора, а до этого у него есть еще и руководитель, — лукаво улыбаясь, не остался в долгу Владимир Иванович. Он, по-видимому, тоже чувствовал неловкость, невольно обсуждая дела «высоких сфер»: заметно было, с каким удовольствием перешел к изложению предложения профессора Жедельбаева. К сожалению, я в этой области науки был подготовлен не в такой степени, чтобы до конца уловить смысл рассказываемого Владимиром Ивановичем, но, слушая его, понял, что работа является очень серьезной и мне не годится быть недостаточно сведущим в научной сути тем, разрабатываемых в руководимом мной институте.

Хотя коллектив института был небольшой, мне потребовалось довольно много времени, пока, беседуя со всеми, обошел всех сотрудников. Я не жалел, что затратил на это столько времени. Я выяснил для себя многое из этих

бесед. Главное, почувствовал, что есть немало людей, с которыми можно работать, есть немало молодых, которых надо, не мешкая, учить дальше; есть и случайные люди, которые, если каким-то образом от них не отделаться, станут балластом. Выяснил и тот печальный факт, что большая часть коллектива работает без руля и без ветрил. Проверяю выполнение плановой тематики института и нахожу, что многие сотрудники Жантака Бокеновича и Холода занимаются не тем, чем следовало бы. В частности тот же Бокенов имеет тему с широковеЩательным названием, а сотрудники его выполняют частные опыты примитивного содержания, почерпнутые из заводской практики, когда приходится делать многочисленные эксперименты, не требующие особой научной подготовки, но необходимые для решения каждодневных мелких недостатков в технологии. Еще менее понятно, зачем повторяют известное из учебников сотрудники Холода. Я пытаюсь объяснить это необходимостью обучения неопытных сотрудников азам экспериментирования, но ни один из них не может мне объяснить, для чего они выполняют свои эксперименты, и это меня настораживает. Сам Холод редко бывает с сотрудниками, лишь мелькая в короткие промежутки, когда он возвращается из каких-то хождений по общественным делам, поскольку является заместителем Жантака Бокеновича. Нахожу также, что тема академика Хайлова выполняется странным образом. Большая группа людей занята какими-то чисто инженерными расчетами, исходные данные для которых представляет сам академик, не раскрывая, откуда и как они получены. Обсуждая в беседах научную суть работы академика, обнаруживаю, что многое неясно, хотя не нахожу ничего трудного для понимания. На мои вопросы о физическом и химическом смысле явлений, имеющих место или должных иметь место при осуществлении процесса, положенного в основу предполагаемых полупромышленных испытаний, сотрудники Хайлова пожимают плечами, а некоторые из них прямо говорят, что подлежало бы исследовать многое в лабораторных условиях и что, несмотря на неизученность научных основ технологии, шеф рвется к масштабным испытаниям, связанным с большими затратами и неоправданным риском. Слышу и осторожные жалобы на то, что многие из сотрудников по настоянию Михаила Исаковича без особой надобности находятся на одном из южноуральских комбинатов, где медленно возводится ус-

тановка для испытаний. Словом, необходимого энтузиазма, сопутствующего большому и новому делу, не замечаю.

Чувствую, что во всем институте что-то целесообразное и дельное осуществляется лишь в лаборатории Жедельбаева, да на свой страх и риск трудится Лапин. Прихожу к неприятному выводу, что в коллективе есть управляющий триумvirат Хайлов-Холод-Бокенов, который управляет всем и всеми, не ведая, для чего и почему, ибо в институте не только не выполняется главное, для чего был создан институт — вести лабораторные исследования по актуальным направлениям химической науки и техники, но нет даже намеков на планомерное приближение к этой цели.

Как видишь, дорогой друг, мои неторопливые беседы с сотрудниками привели меня к неутешительному выводу. И теперь мне оставалось, как новому директору, как молодому научному сотруднику, призвать на помощь себе подобных патриотов дела, коих в каждом научном учреждении должно быть подавляющее большинство, и публично при всех сотрудниках обсудить деятельность коллектива, убедительно показать ее полное несоответствие поставленным задачам, отстранить тех, кто не понимает и не хочет понять, как лучше вести и организовывать научные изыскания, нейтрализовать тех, на кого есть надежда, что они исправятся, и немедленно направить научный корабль, называемый институтом, по победоносному пути. Не думай, что эта легкая схема побед не пришла мне на ум. Она пришла сразу же, ибо хотел, жаждал решительно и быстро исправить состояние дел. Но не сделал этого и не мог сделать. Я был достаточно трезв и рассудителен, чтобы понять: жизнь намного сложнее надуманных схем, часто преподносимых читающему брату пишущим братом, что, идя по этой схеме, можно расшибить лоб, получить незаживающие раны и ничего определенного не добиться. Помню, как на одном из ученых советов при обсуждении тематики института я осторожно высказал свои соображения о необходимости еще раз обсудить исследования, начатые и проводимые в институте, с точки зрения их развития в фундаментальных направлениях, поскольку коллектив работает над становлением академического научного учреждения. Стоило мне это отметить, как тут же выступил Михаил Исакович и сказал, что вполне понимает озабоченность

Мажита Мукановича, но отдельные недостатки для молодого института неизбежны, и что благодаря его, академика Хайлова, деятельности институт поднимает сейчас большую тему по внедрению совершенно новой схемы производства металла, исключающей промежуточные стадии, и это само по себе является показателем быстрого роста коллектива. Его сразу же поддержали Холод и Бокенов. Это было ясным, четким предупреждением о том, что молодой кандидат наук, будь он даже директором, не может определять научную политику института. Я понял это предупреждение и то, что не смогу допускать дон-кихотства, выступая здесь, на данном совете, с принципиальными возражениями против этих высокопарных заявлений (я тогда считал несправедливым применять по отношению к академику напрашивающееся на язык слово «демагогия»), ибо так называемый совет состоял в основном из людей, еще не созревших для делового обсуждения научных и организационных вопросов, и создан он был лишь потому, что институт, каким бы он ни был, должен иметь ученый совет.

И все же надо было что-то делать, что-то предпринимать, чтобы институт возможно скорее стал соответствовать своему назначению. И я стал думать над этим. Думал много, перебирая все варианты тех решительных и революционных мер, которые рождались в моей горячей голове, и ничего путного не придумывал. И, представьте себе, растерялся. И эта растерянность была вполне закономерной, если вспомнить, что я был воспитан на кафедре профессора, потом известного академика Дьячкова, воспитан в тепличных условиях под надежным крылышком этого великолепного человека, когда главной конфликтной ситуацией, которую мне приходилось преодолевать, была моя собственная лень. Это означало, что я не был морально подготовлен к тому, чтобы при сложившихся обстоятельствах хладнокровно выбрать правильную линию поведения и, спокойно держась этой линии, довести дело до желанного состояния, умело используя при этом ту неизменную поддержку, которую находит в нашем обществе все достойное жизни и развития. Мной слишком владело нетерпение, и, признаться, растерялся потому, что был выскочкой, рано оказавшейся на исключительно ответственной и почетной должности, и главная беда была в этом.

Дорогой друг, написал я этот глагол «растерялся»,

стал объяснять, почему и отчего растерялся, как поймал себя на том, что рассказываю тебе не всю правду и, возможно, поэтому назвал себя «высочкой». Хотя у меня не раз бывали моменты, когда я характеризовал собственную персону словами и покрепче, в данном письме не намереваюсь этого делать. Удивительно устроен человек. Обрати внимание на начало моего рассказа, на безмятежно-шутливый тон, перешедший к почти эпическому повествованию о том, как знакомился с институтом и людьми, как был польщен преданностью академика Хайлова своей науке и своей теме и как заранее простил ему все, что можно простить, как пришел после бесед с сотрудниками к неутешительным выводам. А теперь, рассказывая тебе это не совсем далекое былое, чувствую, как снова переживаю события того времени, как теряю спокойствие, как мне совестно за глупости, которые тогда совершал, и эти переживания заставляют меня, как видишь, терять ту снисходительную доброту, которая владела мною в начале этого письма. Ведь на самом деле я тогда приходил к неутешительным выводам: меня от этих выводов прохватывала холодная испарина. И было от чего придти в такое состояние. Неслучайно у меня вырвалось слово «высочка». Ведь я приехал сюда, в институт, испытывая поддержку и заботу очень высоких директивных инстанций, выслушав окрыляющие напутствия самого президента. Со стороны президиума Академии все было сделано так, чтобы я был хорошо встречен. И я не был обойден вниманием: не успел, как говорится, приехать, как моя фамилия замелькала в печати, в списке местных выборных органов, моя физиономия несколько раз появлялась перед телезрителями. Можно понять, как мою малоискушенную душу полонила иллюзия, что дела находятся в удовлетворительном состоянии и все движется в необратимом русле. В угаре от этой иллюзии я выступил с широковещательными планами и обещаниями на местном активе, эмоционально говорил о жизни молодого института по радио и телевидению, не преминув очень высоко отозваться о деятельности академика Хайлова, успел съездить в президиум Академии и доложить Сатпаеву о предварительных успехах, напирая главным образом на хозяйственные, где я проявлял, как мне казалось, особую расторопность. Каныш Имантаевич, помню, выслушал меня внимательно, но одобрения, которого я ожидал, не выразил. Он чуть поморщился (или мне так

показалось) и сказал, чтобы я продолжал работать и еще более внимательно изучал состояние дел, стараясь доходить до всего сам.

Я выше писал тебе, дорогой друг, что к необходимости подробно знакомиться с делами и людьми института через беседы с сотрудниками натолкнул меня бесплодный разговор с академиком Хайловым. Так думал все время, вспоминая, как начинал работать в институте. Теперь же в этом не уверен, почему-то склонен полагать, что эту мысль мне в большей степени внушила именно эта сдержанность президента, хотя я, несколько обиженный на недостаточную оценку моих «успехов», отнес ее тогда к скороспелости и легковесности своей реляции, а скорее, к усталости пожилого человека, поскольку он принял меня к концу дня. Впечатление же, что на мое дальнейшее поведение повлияла первая беседа с Хайловым, создалось у меня оттого, что постоянно укорял себя за слабую проницательность и недалекость, когда не смог представить себе академика таким, какой он есть, несмотря на то, что он показал себя всего с этого первого разговора. И я, очень склонный к оправданию своих поступков задним числом, решил, что именно после этого разговора выбрал свою самостоятельную линию на взаимопонимание с сотрудниками, хорошо сблизившую меня со многими из них. И, наверное, было не случайным, если запомнившиеся подробности краткой встречи с Сатпаевым, постепенно смещаясь в акцентах, привели меня к тому, что я, наконец, оценил мудрый смысл его сдержанности при этой встрече, когда через несколько месяцев окончательно убедился, что дела института находятся в скверном состоянии и докладывать об успехах было опрометчиво и глупо. Между тем, оказалось, что я повторял точно то же, что до меня вешал о течении дел во вновь организованном институте академик Хайлов. И теперь мое отступление от того, что говорил до этого, выглядело как желание выставить деяния академика в неприглядном свете из-за какой-то пробежавшей между мной и им кошки, пробежавшей из-за обычной обывательской зависти не по заслугам вознесенного молодого человека к авторитету маститого ученого.

И вот когда обнаружил, как далека действительность от иллюзорных представлений, вдохновлявших меня до этого, когда понял, что задачи мои не так просто решаются, как мне казалось, и что при решении их необходимо

меньше льстить себе воображаемыми вещами, а следует больше, глубже, обстоятельней думать, размышлять над каждым деловым шагом, когда стал догадываться, что руководство научным учреждением имеет много сложностей и для более подготовленного, чем я, человека, пришел к тяжелому выводу: мне все это не только не под силу, но вообще не имею морального права дальше работать из-за своего несоответствия возложенным обязанностям.

Мне теперь весело и смешно, когда вспоминаю тогдашнее мое душевное состояние. Но тогда было совсем не весело и совсем не смешно. Я был глубоко удручен своим легковерием и своей глупостью, мне было стыдно за себя... И тут есть одна деталь, дорогой друг, на которую хотел бы обратить твое внимание. Стыдился я, конечно, за свое легкомыслие, внешним проявлением которого были мои недопустимые заблуждения относительно состояния дел в институте. Но казнил себя не за не оправданное высокое доверие, оказанное мне, за что, казалось бы, должен был обвинить себя больше всего, а главным образом за то, что обнаружил в себе совсем не того, кем моя персона мне же рисовалась при привычной и частой склонности к самолюбованию. Точно знаю, что это было именно так, и почему-то полагаю, что причиной душевных драм многих большею частью является обнаружение того печального разлада между собственными представлениями о себе и тем, что вытекает из фактов жизни и деятельности их. Мне думается, что душевные драмы, природу которых мы склонны облагораживать задним числом, переживаются слишком остро именно по этой причине, ибо во многих из нас, к сожалению, до поры до времени довольно крепко сидит тот маленький, холеный, пухленький, капризный, убаюканный баловень воображения, который носится с собственной персоной, как с писаной торбой. Мне теперь весело и смешно потому, что, исполняя капризы этого жалкого в своей самовлюбленности баловня, я решил отказаться от должности директора. Нельзя сказать, что пришел к этому решению внезапно. Я, казалось, много думал, но мою разгоряченную голову занимали почему-то разнообразные варианты тех решительных мер, которые должны были привести к немедленному успеху, но которые при серьезном обсуждении с самим же собой лопались, как мыльные пузыри. Я трусливо отталкивал от себя трезвые соображения о преодолении трудностей, потому что был в обиде

на себя же самого, что совершенно не способен на достижение целей, требующих длительной выдержки, упорства, настойчивости и методичности. Я явственно обнаруживал свою беспомощность, и мне не оставалось ничего иного, как подать заявление на имя президента об освобождении от занимаемой должности, что немедленно и сделал. Интересно, что до этого шага мучился, замкнулся в себе, метался, проявляя неровность во взаимоотношениях с окружающими в институте, что, как потом я выяснил, с удовольствием регистрировалось Холодом. Дама, у которой ты пользуешься особым расположением, делала вид, что ничего не замечает, ожидая, пока сам раскроюсь. С плохо скрытой тревогой смотрела на меня мать, когда я приходил к брату, у которого она жила, или когда она навещала, видя, что ее сын, в которого она сильно верила, переживает что-то неладное. Но как только отправил свое заявление, мне стало легко, я впал в безмятежность, даже мои научные дела, думать о которых не переставал ни при каких обстоятельствах, стали маячить в каком-то зыбком отдалении, и я впервые испытал невиданное блаженство от равнодушия к ним. Куда-то пропали мои затаенные мечты о подвигах, о славе... Я приходил в институт, не особенно утруждая себя расспросами, легко подписывал бумаги и убивал время на пустые разговоры с Бокеновым. Этот своеобразный аксакал с ежиком седых волос над покатым лбом, с обширным носовым платком, постоянно готовым оказаться у неимоверно большого носа, который, казалось, был создан лишь для громких сморканий, сидел в кабинете с большим удовольствием, находя, что молодой руководитель становится хорошим человеком, вполне оценивающим его достоинства. Начал нравиться и Хайлову, ибо вместо того, чтобы задавать заместителю беспокойные вопросы, я уезжал кататься на служебной машине по городу и окрестностям, занимая себя только одной мыслью, когда же придет ответ на заявление. О работе не думал, утешая себя тем, что у нас в стране безработных нет. Между тем, ответ на мое заявление не приходил; желая как-то косвенно узнать о судьбе своего письма, звонил в президиум по различным мелким вопросам, но не почувствовал, чтобы кто-либо был посвящен в мой шаг. Я знал, что Каныш Имантаевич Сатпаев в отъезде (где-то за границей), но по моим подсчетам он должен был успеть получить. И я ждал. Ждал почти месяц, пока, наконец,

не получил телеграмму с приглашением приехать. Я понял, что эта телеграмма предвещала серьезный разговор, поскольку такие вопросы, как смещение директора института, с маху не решаются, и напрасно я полагался на чудодейственную силу бумаги, а это последнее еще раз свидетельствовало о той безответственности, с коей я относился и к своей должности, и к своему положению. Безмятежность моя улетучилась, когда представил себе зоркий взгляд аксакала и внутренне съежился, как мелкий воришка, только что уличенный в краже. Пока ехал, а приехав, дожидаясь часа приема, передумал десятки вариантов, как себя вести, пока не пришел к заключению, что нет необходимости подробно объяснять, занимая время большого человека; следует просто сказать о своем решении кратко, четко, далее молча настаивать на своем, что бы ни говорил Каныш Имантаевич.

Я вошел и не сразу посмотрел ему в лицо, боясь его укоризненного взгляда. Может быть, от этого заметил, как Сатпаев легкими хлопками ладони о ладонь сбил остатки молотого табака-насывая, маленькую щепотку которого он закладывал за губу: при этом успел обратить внимание, как гибко и красиво разогнулись его длинные пальцы. Во всех его движениях была такая спокойная обыденность, что, когда решил поднять глаза, к своему удивлению не увидел ничего необычного ни в его лице, ни в его взгляде. Мало того, грузно поднявшись с места, он приветливо улыбнулся, подал мне руку и стал расспрашивать подробно, по-степному, о житье, о келин, о матери, детях, и я даже было подумал, что мое заявление до него не дошло и он вызвал меня совсем по другому вопросу. Но, оказалось, ошибся.

— Ну что, Мажеке, получил ваше заявление, — сказал он, — спрятал в стол. Вот оно. Заявление ваше меня расстроило. И расстроило не потому, что предстоят хлопоты по поискам и назначению нового директора, не потому, что вы там разладили дела и предстоит большая работа по приведению их в порядок... Вовсе не поэтому. Это обычное дело, когда кадры у нас выбывают, а выбывают не только по заявлению, а по многим другим причинам, которых в жизни много... Можно заболеть, можно умереть... Расстроили же вы меня тем, что вы оказались не тем, кого представляли мне здесь мои друзья и ваши поклонники, вы оказались не тем, кого в вас видел я после наших бесед. Самое тяжелое то, когда мы оши-

баемся в людях...— он сделал паузу; я раскрыл рот было, чтобы, ухватившись за последнее, сказать, что и мое решение связано с тем, что ошибся в людях, а также и в себе, но, увидев его нетерпеливый жест, замолчал.— И еще большее разочарование приносят молодые коллеги, показывающие во всем себя прекрасно только до первых трудностей... Расскажите, что с вами там случилось?

Я посмотрел на него: куда девалась та обычная бодрость, с которой он встречал меня? Передо мной усталый, старый человек, которому страшно надоело возиться с несмышлениками, не приносящими ничего, кроме болей и разочарований. Признаться, я считал, что дело должно решаться походя и спокойно, среди многих других больших и малых дел, которые решает этот мудрый человек, облеченный доверием в масштабах, представлявших мне с трудом. Передо мной сидел не президент, спокойно и властно отдающий распоряжение, четко поправляя и координируя крупнейшие научные дела, не руководитель, чей холодный рассудок не колеблут эмоции, характерные для обычных смертных, а мой покойный отец в те моменты жизни, когда ему казалось, что его старший сын не тот, кем он представляется ему в мечтах. Помню, как-то до войны, поехав в соседнее село за почтой, чуть было не загнал колхозного коня, увлекшись его резвостью, и бригадир, крича и ругаясь на чем свет стоит, притащил меня за шиворот домой. Он шумел, грозился, что придется Мукану платить за измученного коня, пока как всегда находчивая мать, сказав что-то смешное и примирительное, не успокоила его. Бригадир, выпив чашку кумыса, попросил наказать Мажита по заслугам, ушел. Отец продолжал так грустно смотреть на меня, будто хоронил он во мне все свои чаяния и мечты. От этой мгновенной ассоциации, всплывшей перед моими глазами, пропали, улетучились твердость и уверенность, которые нагнетал я на себя, не шла на язык заранее приготовленная краткая речь, я сидел и молчал, не в силах еще раз поднять глаза на человека, который берет на себя боли за все глупости мне подобных, равнодушно и беззастенчиво носящих в себе его обманутые надежды. Молчал и президент. Не знаю, сколь долго продолжалось это молчание, но во мне проснулся воспитанник Алжигана-ата и дяди Жактая, я выпрямился, обратил взор к президенту и спокойно, очень спокойно сказал:

— Вы могли бы вернуть мне эту жалкую бумагу?

— Пожалуйста.

— Вы разрешите мне ее порвать?

— Рвите... Все? А сказать есть что?

— Есть что. Много что. Но все совершенно противоположное тому, что вам и другим говорил до сих пор... И в этом главная беда!

— Говорите!

Я начал подробно рассказывать обо всем, о чем успел уже тебе, дорогой друг, написать. Говорил, наверное, долго, президент ни разу не перебил меня. Заканчивая речь, сказал:

— Я теперь только понял, почему вы обращали внимание, напутствуя меня, именно на эти обстоятельства. Я теперь только понял, почему вы были сдержанны, когда докладывал о состоянии дел в прошлый раз.

Он сидел, с вдумчивой суровостью на лице слушая мое излияние, сидел, не изменившись в лице, когда последними двумя фразами отметил его мудрость и прозорливость. Он понимал, что это я сказал не для того, чтобы понравиться. Этого человека нельзя было подкупить мелкой лестью, на которую мы не скупимся, посещая многих других людей, от которых зависят наши дела. Я замолчал. Молчал и он, опершись правым локтем о стол и положив монументальную голову свою на правую ладонь. Наконец сказал:

— Невеселые у вас дела, молодой человек. Но главное здесь то, что вы поняли, что они, дела, невеселые. Кроме того, мне импонирует, что вы свои ошибки ни на кого не сваливаете, вы суровы к себе... Но из этого у мужественных, принципиальных, дельных людей должно вытекать, что они сами же должны исправлять свои ошибки. Мужество заключается не только в том, чтобы признать ошибки, это полдела, это, скорее, четверть дела. Эти признания иногда оказываются просто честностью слабого человека, если не назвать это трусостью, когда мы признаем ошибки и тут же уходим в кусты. Нет, дорогой мой, мужество заключается в том, когда за признанием ошибок следует дело, может быть, требующее упорства, смелости, напряжения сил. Мы не будем больше упоминать о вашем, прямо скажем, позорном заявлении, хорошо, что мне сразу принесли и я велел никому его не показывать, но необходимо, чтобы подобное у вас не повторялось. Вы говорили о нетерпении. Нетерпение — хорошее дело, когда оно сгоняет с нас вялость и флегматичность при исполнении дел и не приводит к плохому осуществлению или вовсе

к профанации задуманного. Нам надо помнить о неоправданной торопливости и чувстве боязни дальних целей, которые, как я заметил, присущи многим нашим товарищам. Может быть, это связано с тем, что мы только что вышли из кочевий с немудреным хозяйством, когда мечтали лишь о сегодняшнем, считая, что завтра аллах поможет, и почти никогда не задумывались над дальними перспективами в смысле осуществления больших, долговременных замыслов, которыми ныне полны головы наших ученых, инженеров и многих других людей, замыслов, требующих больших знаний, размаха и терпения. Если мы, дети вчерашних кочевников, сегодня участвуем в решении дел, которые нашим отцам и не снились, то надо этим гордиться и ради этого ломать, вытравлять вредные привычки прошлого, то есть я считаю, что нам всегда надо думать, когда мы слишком торопимся, не говорит ли в нас кровь, впитавшая вековые традиции, когда приходилось жить лишь сегодняшним днем? Я всегда опасаюсь, когда в наших товарищах слишком проявляется торопливость или то, что вы красиво называете нетерпением. В науке крупные дела делаются не в один день даже у подготовленных коллективов. Еще труднее научить, сплотить, направить еще неподготовленных людей на крупные дела. Надо работать исподволь, умно и неторопливо. Я вам говорю, кажется, самые известные вещи, но, к сожалению, многое из самого известного приходится повторять, ибо эти азы, как будто много раз слышанные и понятые, в деятельности многих, особенно молодых, преломляются неправильно. Элементы неправильного преломления известного наметились, Мажеке, и в вашей работе...

Далее он подробно проанализировал все, что я говорил, дав конкретные советы по каждому случаю, и сказал:

— Мы вас будем поддерживать, но хорошо поддерживать мы сможем вас, если вы будете умно работать, принимать правильные решения, увязывать свои действия с возможностями на месте. Все зависит от вас. Очень жаль, что вы включились, вернее, успели включиться в хайловские громкие слова о достижениях. Необходима исключительная скромность, надо уметь говорить после дела... Вначале было дело...

Я рассказал, как после неоднократных заявлений Михаила Исаковича о том, что должность заместителя сильно мешает ведению его научных дел, попросил его написать

заявление, обещав на основе этой просьбы обратиться в президиум с ходатайством об освобождении академика от обременительных административных обязанностей. Михаил Исакович слегка побледнел, но сразу же согласился написать такое заявление, однако подобную бумагу не увидел у себя на столе ни завтра, ни после, зато академик перестал говорить об обременительности того, чем он почти не занимался. Президент звонко засмеялся, краснея всем лицом, как всегда, когда он от души смеялся, и сказал:

— Покойный Петр Иванович Ванин был прекрасным человеком, крупнейшим организатором науки в стране, оказывал нам неоценимую помощь, но Хайлова он нам все же подsunул... — сделал паузу, посмотрел на меня и вдруг нахмурился; по-видимому, оттого, что на моем лице выразилось преувеличенное внимание к последней его фразе, и, может быть, чтобы отрезать дальнейший мой интерес к истории появления в нашей Академии Хайлова в ореоле почета, резко, назидательно добавил: — Да, да, академик Ванин был выдающимся человеком, но учтите, молодой человек, что у очень больших людей и слабости бывают большими... И поэтому я это говорю не в упрек покойному, а скорее в упрек себе...

Затем еще раз сделал паузу, лицо его приняло прежнее спокойное выражение, и продолжил:

— В данных обстоятельствах вам с Хайловым придется еще поработать... Начинать дело со смещения единственного академика, я думаю, опрометчиво... Опрометчиво и негоже также убивать время и энергию на доказательство, что академик неправильно ведет свои научные дела из-за некомпетентности... Ученые звания ему даны не вами. Кроме того, он достаточно нашумел о себе там на месте, и академику люди пока верят... Если вы постепенно поведете коллектив на солидные, основательные дела и в этом прежде всего сами лично будете показывать пример как научный работник, все негодное, наносное, временное отпадет само собой... На мелкие интриги и интрижки надо реагировать не контринтригами и интрижками, а работой, положительной, целенаправленной работой... Но повторяю, что на все это необходимы энергия, выдержка, время... Помните, как в наших скачках-байге на дальние расстояния в 40-50 верст ставили не на ту лошадь, которая, хорохорясь, старалась показать свою резвость с первой версты, а на ту, которая набирала

скорость умеренно и спокойно... Опасно проявление прыти с первого шага...

Уже было поздно. Беседа затянулась. Во всем огромном здании Академии остались, наверное, президент, я и секретарь. Уже звонили ему из дома, и он уже давно ответил, что вот-вот собирается выехать. Я за эти дорогие и короткие часы больше, чем когда-либо, испытал, как слова могут полосовать кости, тогда как плетка имеет дело лишь с кожей и мясом. Но, содрогаясь всем своим существом от этих ударов, я чувствовал, что мне нет возврата и не остается ничего другого, как напрячь все свои силы и все свое умение, чтобы не обманывать надежды этого человека и всех других хороших людей, делающих на меня хоть какую-то ставку, чтобы не причинять в дальнейшем боли, подобно сегодняшней. С этим и вышел от Каныша Имантаевича. У здания Академии мне встретился знакомый аксакал, не забывший степную привычку приветствовать длинно и подробно. Задержавшись с аксакалом, я имел возможность видеть, как, опустив плечи, сгорбившись, странно сузившись в груди, грузно, тяжело, очень устало прошел мимо Сатпаев: куда девались его обычная величавая стать и упругая поступь, которыми нельзя было не залюбоваться... Еще раз щемящей болью отозвалось во мне, что в эту старческую усталость его немалую лепту внес сегодня и я, Мажит, сын Мукана...

Нужно ли теперь, дорогой друг, подробно рассказывать о том, как я, стиснув зубы, взялся по-новому за институтские дела? Думаю, в этом нет необходимости. Боюсь, что подробности сведутся к скучному перечислению событий и ситуаций, интересных лишь тем, что они мне запомнились, причинив когда-то радости или огорчения. Ведь я еще ни слова не написал о своих научных дерзаниях. Между тем, мне «борьба мешала быть поэтом, а поэзия мешала быть борцом»: научный работник, сидевший во мне, часто ослаблял мое административное рвение, сбивая с толку своим нашептыванием, что коснуться хотя бы в какой-то степени доброго, вечного можно лишь через научную работу; и, несмотря на это, большие и мелкие организационные и хозяйственные хлопоты захватывали меня, оставляя слишком мало времени для раздумий, зародившихся на том уральском заводе, где побывал, руководя практикой студентов. Хлопот этих было много, и я не могу не рассказать хотя бы о части из них.

Теперь смешно вспоминать, что работал тогда, действительно, стиснув зубы в постоянной обиде на предков, наградивших меня своей склонностью хвататься за ту мелочь, которая рядом в мешочке-дорбе, совершенно не помышляя о том большом и изобильном, что можно привезти издалека, но зато в телеге-арбе. Я старался, следуя внушениям Каныша Имантаевича, мыслить не только сегодняшним днем, утешая себя прекрасным будущим, в которое, не колеблясь, верил, не переставал расстраиваться оттого, что всего надо ожидать долго, слишком долго. Мечталось, например, иметь хорошее здание института. Знал, что оно будет, но не скоро. Еще только начиналась проектировка, за окончанием проекта следует утверждение его; затем лишь будут отпущены деньги на строительство, и строиться будет не один год... Следовательно, пока придется ютиться в этих маленьких, не предназначенных для таких целей помещениях и работать, расти в них. Подыскивается утешение: может быть, даже к лучшему, что большое, просторное, современное здание с мастерскими со всеми видами станков, с техническим подпольем не будет возведено скоро, ибо в такое здание должно поселиться вполне оформившееся, зрелое, добротное научное учреждение. А для этого надо основательно и плодотворно потрудиться в этой тесноте и при этих неудобствах. К сожалению, удачное утешение не ко всему подыщешь. Необходимо, например, широко готовить кадры через аспирантуру. Поскольку в институте правом иметь аспирантов обладают лишь академик Хайлов и доктор наук Жедельбаев и их услуг будет явно недостаточно, придется обучать кадры на стороне. А это значит, что цвет нашей молодежи будет передан в другие научные учреждения, а через три года возвратятся молодые ученые с явной тягой к научным интересам тех школ, где они проходили научную подготовку, и институт в будущем будут долго распирать центробежные устремления их. Значит, надо готовить кадры большей частью у себя, используя свои возможности, или, в крайнем случае, необходимо убедить отдельных крупных ученых помочь подготовить и вырастить молодых по нашей тематике. Рассказываю эти соображения Михаилу Исаковичу и прошу у него совета:

— Мажит Муканович, я буду делать все, что вы скажете, — говорит Хайлов, желая в данный момент быть более заместителем, чем академиком.

— Михаил Исакович, я скажу вам то, что мы с вами, посоветовавшись, решим. Больше ведь нам не с кем советоваться. Вам надо по-своему широко готовить кадры. Думаю, что вам следует взять несколько молодых, подающих надежды, в аспирантуру, нас президиум Академии не ограничивает в этом. Найти бы вам также добροжелательных ученых из широкого круга вашего знакомства, чтобы они готовили аспирантов по нашей тематике, в пределах наших ученых интересов.— Академик смотрит на меня такими ясными глазами, что я не нахожу в них и тени раздумий по поводу тех серьезных проблем, ради которых я затеял разговор.— Так как вы думаете, Михаил Исакович,— продолжал я, не теряя надежды на то, что он поддержит меня, подскажет что-то разумное и дельное.

— Мажит Муканович, я же вам говорил, что я не собираюсь отталкивать тех, кто у меня пожелает учиться... Пусть приходят, пусть подают заявления...

— Но вы же знаете, что к нам, в новый институт, еще не имеющий ни известных дел, ни известного имени, мало кто придет со стороны по конкурсу, по объявлениям... Следовательно, надо выбирать из своих лучших, а на освободившиеся места заказывать, брать молодых специалистов... Это же выгодно. И сами не заметим, как люди вырастут...

— Я понимаю вас, Мажит Муканович, но у меня столько забот со своей темой с полупромышленными испытаниями, что просто некогда просить, подбирать, как вы говорите.

— Ну хорошо, это я возьму на себя. А вы как относительно того, чтобы размещать подающих надежды на научный рост в аспирантуре в других научных учреждениях.

— Я не считаю, Мажит Муканович, целесообразным разгонять людей по другим научным учреждениям и этим ставить под угрозу научную тематику института...— Михаил Исакович смотрит на меня все теми же ясными глазами, но чувствую, как в его голосе вкрадчивые нотки постепенно и все более отдают приближающимся звоном металла; это означает, что мой собеседник уже перестает быть заместителем и становится академиком.

— Но, Михаил Исакович, надо же готовить кадры на будущие большие дела.

— Они будут, вырастут, надо приглашать...

— Откуда же их пригласим... везде же не хватает... знаете же, как растут научные потребности страны...

— Будут квартиры, условия... придут...

Я понимаю, о чем говорит академик: он считает, что на то и поставлен кандидат наук директором, чтобы заниматься именно этими вопросами, а не научными проблемами, являющимися прерогативой академика. С этим я даже согласился бы, если бы в деятельности Михаила Исаковича находил что-то соответствующее разумным видам на наше дальнейшее развитие. Чувствую, что мне становится не по себе, но сдерживаю себя и говорю как будто спокойно.

— Пока мы не будем ценить своих людей, мы ничего путного не сделаем...

— А я и ценю их... и поэтому не рекомендую разгонять по другим научным учреждениям...

— То есть как разгонять, я разве это говорил?

— Вы хотите разогнать.. и вы на меня не кричите...

— Откуда вы взяли, что я на вас кричу?

— Я уйду... вы на меня кричите... Я не привык к этому, я был научным работником, когда вы под стол пешком ходили.

Он сделал оскорбленную мину на лице, поднялся и ушел. Честно скажу, дорогой друг, что своим быстрым уходом академик почти спас меня, так как уже было начал чувствовать, как внутри нарастает что-то совершенно неподвластное мне. И в то же время Михаил Исакович проявил здесь большую опытность, чем я. Он обвинил меня в том, чего не было, заметив накипающую во мне злость. Значит, я выдал себя, еще слаб и не умею скрывать свое волнение. Мне стало стыдно, я готов был уже пойти извиниться перед Михаилом Исаковичем, но что-то меня удержало, возможно, то, что я все-таки не кричал на него.

Каково же было мое удивление, когда при первом появлении моем в Академии после этой неудачной беседы с Михаилом Исаковичем главный ученый секретарь Академии, к которому я зашел по делам, подал мне бумагу, где я прочитал жалобу своего заместителя на имя президента по поводу моего нетактичного поведения, выразившегося в том, что я кричал на академика. Я был в таком шоке, что на вопрос главного ученого секретаря, почему опускаюсь до таких вещей, не мог ничего сказать. Лишь несколько раз повторил, что этого не было, ловя

себя на том, что этим могу вызвать подозрение в желании показать академика Хайлова еще и лжецом. Не знаю, или этот умный руководитель уже знал Хайлова в какой-то степени, или по моей растерянности понял, что я не могу признаться честно, в общем, помню, что он не стал расспрашивать подробности и перешел к делам, которые заняли у нас довольно много времени. Уходя, все же нашел нужным сказать, что я на самом деле не кричал и могу это подтвердить в присутствии Михаила Исаковича, но раз уж вызвал эту жалобу, значит, вел себя в чем-то неправильно; это для меня будет уроком. Главный ученый секретарь, отличавшийся холодным бесстрашием на лице, неожиданно засмеялся и сказал:

— Теперь не хватало, чтобы здесь я устраивал сеанс очной ставки Нурбаева с его заместителем... Этого не будет... Поймите, как смешно и неприлично, когда молодой руководитель не находит подхода к единственному академику в институте... И, пожалуйста, не раздумывайте, не начинайте теперь у себя доказывать, что вы правы... — сурово закончил он.

Вышел я тогда от главного ученого секретаря, негодуя и на себя, и на Хайлова, но все же был доволен, вспомнив, что не пошел я тогда к академику извиняться. Ты представляешь себе, дорогой друг, каким прекрасным, благородным человеком и ученым выглядел после этого учитель моего друга Вербы профессор Яницкий Георгий Леонович, на которого, как тебе уже писал, я действительно кричал и которому теперь мог бы в ноги поклониться, прося прощения за мое тогдашнее безобразное поведение. И как все вообще познается в сравнении! Ныне, например, уверен, что совершенно иначе оценил бы своего учителя академика Дьячкова Дмитрия Викторовича и многих других ученых, с которыми меня сталкивала судьба, не будь рядом Хайлова Михаила Исаковича. Не так бы оценил даже своего друга по кафедре доцента Куцего, если бы не встретил и не работал вместе с Холодом, которые знали друг друга ввиду близости тематики. Я привык, например, на кафедре Дьячкова к тому, что перед кабинетом профессора постоянно торчали какие-то люди, представлявшие то научными работниками разных учреждений, то инженерами с производства, ожидая приема Дмитрия Викторовича. Привык к тому, что не было отбоя от желающих консультаций, которых Дмитрий Викторович отсылал к одному из нас — к Куцему, Гайнитдину,

Углеву или ко мне. И вслед за шефом и мы стали приобретать какой-то вес и авторитет перед людьми, тяготевшими к научным интересам нашего руководителя. Я уже знал, как далеко отстают академик Хайлов по уровню от моего учителя, и, тем не менее, был поражен, когда начал разговаривать с сотрудниками, работавшими в группе Михаила Исаковича, уговаривая их поступать в аспирантуру: ни один из них не соглашался идти в ученики к своему руководителю. Высокий, чернявый парень, узбек Аккулов с постоянным южным загаром, не сошедшим за пять лет пребывания в Москве и более года у нас, сидел передо мной, угрюмо уставившись в пепельницу. Когда же я закончил свою речь, он посмотрел на меня большими иссиня-черными глазами из-под густых среднеазиатских бровей и твердо сказал, как отрезал:

— Мажит Муканович, вы что, хотите меня погубить... Он же в области теоретической химии остался на уровне тридцатых годов, когда он, как гордо свидетельствует сам, работал доцентом у известного профессора... Больше он никогда не изучал этот предмет...

Это говорил мне молодой специалист, над которым я подтрунивал, говоря, что он приехал к нам помогать в развитии химической науки от имени узбекского народа, и называл его научным несмысленным. Уговаривал я многих, кроме одного — Ерофеева, которому было, в общем-то, все равно: учиться в аспирантуре или оставаться инженером в лаборатории. Теперь многие из тех, кого я тогда уговаривал, стали ведущими работниками, и самым ярким из них остается Аккулов, при встрече с которым мы обязательно вспомним, как я собирался отдать его в ученики Хайлову. Лишь Ерофеев, согласившийся быть аспирантом Хайлова, остался тем, кем был. Впрочем, и то, что Михаил Исакович не захотел утруждать себя поисками научных руководителей для подготовки аспирантов по близким его научному профилю специальностям, обернулось для меня, как теперь понимаю, своей приятной стороной. Я познакомился со многими учеными Москвы и других научных центров и сейчас с благодарностью вспоминаю, как они легко вошли в научные интересы нашего института. Самое отрадное, что контакты их со мной и с их бывшими учениками, то есть с теми, кто не пожелал идти в ученики к Хайлову, продолжают.

Я, может быть, не так оценил бы скромность своего учителя Дьячкова, от которого не услышал ни слова о его

научных достижениях и тем более ни разу не пришлось уличить его в желании доложить о них где-то ради чьей-то благосклонности, если бы не видел, как успевал обходить Хайлов различных людей, перед которыми ему необходимо было выглядывать на уровне, и рассказать о достижениях и успехах в лабораториях института, в особенности в его лаборатории. Вслед за ним мне приходилось отвечать на телефонные звонки и давать разъяснения, с трудом сохраняя почтение к имени академика. И все же этот метод «оперативной информации» сыграл свою роковую роль для Хайлова и помог мне освободиться от его академической деятельности в качестве заместителя директора. Получилось так, что через некоторое время нашей совместной работы, может быть, ввиду молчаливости, которую я приобрел после памятных уроков, на меня местные руководящие и общественные органы все меньше обращали внимание, и я стал выглядеть завистливым молодым недоучкой, мешающим работать академику. Институт представлял в выборных и других органах в основном Хайлов. Мне было очень неприятно, но я только теперь понимаю, как это сберегало мне время для научной работы. И в этот момент наибольшей популярности заместителя директора нашего института в городе открыли филиал большого центрального научно-исследовательского института с тематикой как раз по профилю Хайлова. Один из руководителей области, которому особо импонировал Михаил Исакович своей легкостью и расторопностью, предложил его кандидатуру на должность директора этого филиала. Академик с радостью согласился. Я все же был трудным директором для него. Может быть, согласился еще и потому, что полупромышленные испытания, о которых он столько шумел, закончились с совершенно ясными отрицательными результатами. По-видимому, он предчувствовал это, так как за несколько месяцев до получения их вел себя нервно, каждый раз повторял, что не хватает у него людей, приборов и много другого. Я, наученный горьким опытом, все возможности института представил в его распоряжение. Не довольствуясь этим, приехав на одно из собраний Академии, зашел вместе с Хайловым к президенту и доложил, что со стороны института оказывается всяческая помощь и все мы надеемся, что полупромышленные испытания закончатся успешно. Михаил Исакович вынужден был нехотя кивнуть головой в знак согласия. Мне этого было до-

статочно, чтобы застраховать себя от жалоб, которые он выражал (и письменно, и устно) по каждому поводу. Очень склонен был он, например, винить меня в уходе от него сотрудников. Поэтому каждый случай увольнения или перехода в другую лабораторию работников Хайлова я стал обсуждать вместе с представителями общественности в его присутствии. Словом, я не мог быть не благодарным Михаилу Исаковичу, ибо наострился так, что в последующем на каждую жалобу его имел готовый ответ. Михаил Исакович продиректорствовал всего один год, пока в отраслевом институте, работа которого в отличие от академического связана с решением конкретных, безотлагательных задач, не убедились в его негодности. И он снова вернулся к нам в институт как действительный член Академии, имеющий по уставу право работать в одном из ее учреждений, но теперь уже в качестве старшего научного сотрудника. Вернулся он бодрым, уверенным в себе, и оставление административной должности выдавал как желание углубиться в новую, модную область науки. И во всеуслышание говорил, что он уже занимается в этой области и ему нужны для этого условия и что он имеет поддержку от больших людей, будто именно они дали ему это задание. Помню, как однажды, когда я уже стал доктором наук, он мне посоветовал прочитать его статью, напечатанную в вестнике нашей академии, совершенно серьезно уверяя меня, что найду в ней много полезного. Я не выдал, что знаком с этим слабеньким изложением уже известного, решив воспользоваться разговором о статье, чтобы порасспросить о сути проблемы, которой он теперь занимается. Мне стало жаль его, когда убедился, что его знания находятся на уровне популярных изданий по этому вопросу. Тем не менее, он говорил весьма убежденно и, казалось, был уверен, что занимается делом глубоко, на фундаментальном уровне.

У академика Хайлова есть одна замечательная черта, которой я очень завидую: он не знает и тени сомнения относительно своих поступков, он никогда не бывает неправ, обладая счастливейшей способностью относить неудачи и ошибки ко всему и всем, но только не к себе. От этого он не знаком с такими расслабляющими человека свойствами, как стыд, раскаяние, самоосуждение, самобичевание, которым подвержены обычные смертные. И он всегда здоров, спокоен и совершенно уверен в своем

предназначении. Помню, как разбредались, разуверившись в своем руководителе, довольно серьезные люди, приехавшие по зову академика; разбредались потому, что не видели конкретной работы, увлекающего научного задела. Для многих такой оборот дел носил даже элементы драматизма, т. к. не только рушились надежды, но надо было снова где-то устраиваться, перевозить семью, детей и т. д. Хайлов смотрел на все это совершенно спокойно, как будто он не имел к этим людям никакого отношения; во всяком случае мне не удалось заметить у него хотя бы крупницу участия к судьбе этих, в общем-то, неплохих и нужных при другой обстановке специалистов.

После того, как Михаил Исакович ушел из института, я, приехав в президиум, зашел к президенту и доложил о делах, об обстоятельствах перехода Хайлова в филиал центрального института.

Это была моя последняя беседа с Канышем Имантаевичем, она произошла незадолго до его роковой болезни и кончины.

— Я знаю,— сказал президент,— он просил у меня разрешения, и я не стал возражать... Уж очень трудный человек... И вы, по-моему, не огорчены по этому поводу.

Я собрался с духом и решил пошутить:

— Нет, огорчен. В течение трех лет он был моим постоянным отрицательным учителем, я делал обратное тому, что делал он, и у меня результаты получились неплохие. Теперь во мне, боюсь, не будет прежнего желания застраховать себя от превратных суждений о намерениях и поступках, и пойдут ошибки в делах...

Произнеся эту шутку, я очень боялся, что она не будет принята. Президент улыбнулся и сказал:

— Что ж, на самом деле, ведь в этом есть какая-то доля правды... Поэтому-то у нас в народе говорят; добрая шутка достойна серьезного обсуждения... К сожалению, не скоро переведутся такие люди, как Хайлов. Я многих таких знаю: был человек до поры до времени полезен, хорошо работал, и вдруг наступает момент, и этот человек становится вот таким Хайловым, который сам не может ничего делать и которому не нравится все, что другие делают... Вы встретитесь еще со многими из них... И тем не менее, при определенных обстоятельствах и они могут быть полезными, старайтесь видеть за всеми их недостатками полезное и нужное.

Мне было приятно, что он не только принял шутку, но и высказал советы, которые я запомнил, и, может быть, от этого я потом много думал, как и почему Михаил Исакович дошел до степеней известных и мог уверовать в свою значительность и непогрешимость, не имея на то никаких оснований. При этом я обратил внимание, что единственным кумиром и авторитетом в научном мире для Михаила Исаковича являлся Ванин, который, естественно, того заслужил, но странно было, что я не слышал столь же почтительного упоминания имен других, не менее выдающихся ученых. О современниках же он говорил лишь для того, чтобы подчеркнуть, насколько они ценят его, Михаила Исаковича, заслуги и деяния. Знакомясь с учеными трудами Хайлова, я увидел, что это были работы, характерные лишь своей ординарностью, но что в самых лучших из них фамилия Михаила Исаковича стояла вслед за фамилией Ванина. Докторскую диссертацию он защитил под руководством Ванина. Михаил Исакович, особо гордясь, рассказал, что Ванин заставил его защищаться, указав на значительность его работ. С особым удовольствием он также отмечал, что был правой рукой Ванина в работе, которая потом получила высокую государственную оценку. Молодящаяся, когда-то, по-видимому, обворожительно красивая жена Михаила Исаковича при встречах находила необходимым простодушно подчеркнуть, что покойный академик Ванин был их благодетелем и семейным другом, что особо ценил ее Мишу. В самом этом факте близости маститого ученого к своему сравнительно молодому ученику ничего необычного, казалось, не было, но меня поразила этакая старомодная, по Островскому, купеческая форма выражения благодарности. И мне показалось, что Михаил Исакович, пока находился в твердых руках Ванина, рос, делал полезные дела; но в это же время в нем твердо укреплялось сознание, что он, будучи самым близким человеком к Петру Ивановичу, является также и его научным наследником, что никто ему, кроме Ванина, не советчик и не указчик и что он в своей области науки после Ванина чуть ли не единственный законодатель и судья. Он ничего не понял тогда, когда сумел успешно провалить полупромышленные испытания, задуманные в масштабах, к которым Михаил Исакович привык, работая под руководством своего шефа. А провалились эти, основанные, в общем-то, на одной из очень здравых принадлежавших

Ванину идей, испытания потому, что Михаил Исакович не усвоил от своего шефа главное — необходимость все-стороннего и основательного научного изучения всего, что выдвигается к испытаниям для внедрения в производство. Постоянная опека со стороны академика Ванина над Михаилом Исаковичем при отсутствии у последнего способности к самоанализу, общей культуры (у меня создалось впечатление, что он даже Пушкина не берет в руки) привела к превращению довольно полезно работавшего ученого-исполнителя средней руки в такое уродливое явление в высших сферах научной среды, каковым мне пришлось встретить академика Хайлова. Памятуя высказанный при последней встрече совет Каныша Имантаевича найти в Хайлове что-либо полезное и нужное для института, я, к сожалению, таковых качеств у него не обнаружил, несмотря на то, что всячески старался иметь с ним деловое общение, полностью исключаящее предвзятость с моей стороны, ибо я, вопреки всему, считал, что неприятности, причиняемые Хайловым, были лично для меня более полезны, чем вредны, хотя, естественно, жалко было, что во многих случаях от этого страдало дело. Вот как иногда оборачиваются слабости больших людей!

Я теперь, дорогой друг, как огня боюсь таких ученых, как Хайлов. Вчера меня посетил наш старший научный сотрудник Махимов Алькей, неплохой парень, кандидат наук, проходивший аспирантуру по моей рекомендации у Дмитрия Викторовича Дьячкова. Он мне рассказал, что над его темой взял шефство очень большой человек и что она, тема, и, естественно, он вместе с ней выходят отныне на широкую арену. Это было бы, конечно, неплохо, если бы на желаемую арену выходил с темой не наш Алькей. Он здесь же, когда я заинтересовался деталями, стал объяснять научные азы своего дела, преподнося общеизвестные вещи как истины, постигнутые только им. Моя снисходительная улыбка не могла его сбить с назидательной серьезности, ибо ни о чем ему не говорила. Ни дать ни взять — хайловская самоуверенность, хайловское отсутствие самоанализа!

Уж так, дорогой, заведено в науке, что созидание дельного и стоящего связано с разрушением случайного, временного и наносного. Параллельное сосуществование первых с последними не может быть длительным и устойчивым. Я понимал, что тот, кто ставит перед другими задачу интенсивного научного роста для больших дел, сам

должен показывать в этом пример. Я читал, занимался, у меня было для этого ежедневно почти три часа, с шести до девяти часов утра — самое для меня продуктивное время. У меня уже в голове были планы исследований, с которых полагал начинать работу. Мне для этого необходимо было создавать свою лабораторию, но я считал, что, прежде чем организовывать лабораторию, следует найти таких молодых людей, которым мог бы рассказать свои мысли, которые бы усвоили смысл задуманного и вошли в круг моих интересов. Знал, что только в этом случае мои дела получат нужное развитие. Первым молодым человеком, на которого прицелился, был Валерий Петрович Иванов. Я стал с ним обсуждать часть своих планов, дал ему задание почитать нужную литературу. Валерий Петрович увлеченно читал и уже совершенно квалифицированно обсуждал предлагаемые эксперименты, точно знал, какая необходима аппаратура и приборы, оставалось доставать последние и собирать. Обсуждали мы наши дела после работы, скрываясь от ревнивых глаз Жантака Бокеновича, и я теперь все время думал о том, как забрать Валерия из лаборатории Бокенова, не вызывая шума по поводу того, что новый директор разрушает существование лаборатории. К счастью, все обошлось неожиданно просто. Когда убедился, что без Иванова мне не обойтись, я решил подступить к Бокенову.

— Жаке,— сказал я,— что это у вас за парень — Иванов? Я разговаривал с ним, за словом в карман не полезет...

— Вот именно, Мажит Муканович,— ответил Бокенов, предварительно ухватив нос обширным своим платком и громко сморкаясь, затем неторопливо положил в рот леденцовую конфету,— только слова... слова... Дал ему задание, полгода морочит мне голову, никаких результатов... Лезет с рассуждениями... Что за молодежь пошла... По-моему, просто лентяй несусветный...

— Вы так думаете? А может быть, мне попробовать с ним повозиться, отдайте мне его, я помоложе вас, нервы крепче, попробую выбить с него спесь и лень... Не смогу, выгоним...

— Да, выгоните... Не ранее, чем года через два... Недобросовестный молодой специалист — иждивенец коллектива на все три года...

— К сожалению, это так. Но все же отдайте мне его...

— С удовольствием отдам, берите, одним лентяем меньше...

Я услышал в голосе Жантака Бокеновича радость Плюшкина, нашедшего в лице Чичикова неожиданный сбыт мертвым душам, и тоже был рад этому. Когда Валерий Петрович, с месяц повозившись, собрал экспериментальную установку, для дальнейшей работы ему потребовался лаборант. Он сманил к себе понравившегося парня из лаборатории Бокенова. Жантак Бокенович, вздыхав, согласился с этим. Так начался распад лаборатории Бокенова. Однажды после партийного собрания, поздней ночью, Жантак Бокенович, заинтересовавшись одной из комнат, где горел свет, обнаружил там работающим бывшего своего лентяя Иванова, чем был безгранично удивлен. Придя на другой день к себе в лабораторию, он стал по-производственному распекать своих сотрудников, что они плохо работают, нерадиво относятся к порученному делу, посмотрели бы, как у Нурбаева работает Иванов и т. д. Последнее Жантак Бокенович сказал в пылу негодования, и сказал, конечно, напрасно. Теперешняя старшая научная сотрудница, кандидат наук, а тогда молодой специалист Семенова, человек, в общем-то, тихий и не лезущий на глаза, вдруг неожиданно поднялась и напрямик сказала;

— Валерий работает потому, что Нурбаев ему дал хорошее, интересное задание. Мы же не работаем потому, что не знаем, чем занимаемся... Если это будет так продолжаться, я, например, первая уйду...

Обычно горячий и строгий Жантак Бокенович не знал, что сказать, он довольно долго молчал, молчали и сотрудники; немая сцена продолжалась несколько минут. Потом аксакал поднялся, ушел и больше не приходил в лабораторию. До этого он был очень уверен в себе и активно мешал мне работать, становясь по поводу и без повода на сторону Хайлова и Холода, которые, в особенности последний, подкупали простодушного Бокенова внешне резонным суждением: кому, как не ему, секретарю партбюро и повидавшему жизнь человеку, поучать молодого, неопытного руководителя?

Своеобразным человеком оказался и Порфирий Леонтьевич Холод. Когда я пригласил его на беседу по поводу научных дел, он пришел ко мне, подтянутый и собранный, с солидной папкой в руке, с которой он не расставался, напоминая своим голым черепом, сухой ску-

ластой физиономией и коренастой фигурой Фантомаса. Маленькие бесцветные глаза так и бегали, будто хозяин их имел намерение быстро и враз все разведать и узнать.

— Порфирий Леонтьевич, я вижу, у вас название темы актуальное и нужное. Что по этой теме делается?

Он, прежде чем начать говорить, уселся поудобнее, чуть откинулся, будто хотел предаться глубокому раздумью, потом, тряхнув головой, как бы просыпаясь, скрипучим голосом начал рассказывать о задачах, которые он ставит перед собой. Рассказывал он последовательно и толково: задачи были понятны, Порфирий Леонтьевич показывал неплохую эрудированность в вопросе. Я выслушал и сказал:

— Порфирий Леонтьевич, у вас в лаборатории Теребай Жанпеисов и Кылыш Ахатов занимаются вдвоем на одной установке, и уже давно, но не видел, чтобы они получили хоть одну кривую, по которой можно было бы судить хотя бы о надежной работе установки. А девушка, которая работает у вас с водными растворами, мне не могла рассказать о составе их... Ведь каждый опыт — не только наши обычные знания, но и что-то новое, и им, и вам, и вашим сотрудникам надо много и тщательно готовиться... Не мне вам рассказывать, вы же, как сужу по вашим трудам, опытный исследователь.

Порфирий Леонтьевич снова, чуть откинувшись, закрыл глаза, снова, выпрямившись и тряхнув головой, раскрыл их и начал мне подробно рассказывать, что я, в общем-то, уже знал. Рассказывал он витиевато, явно уходя от прямого ответа на мой вопрос. Я повторял свой вопрос, разъясняя ему, чего хочу от него, тем не менее он каким-то образом (мне даже трудно теперь восстановить) избегал ответа. И скрипучий голос его, и привычка закрывать глаза, прежде чем говорить, стали меня раздражать, я уже начал бояться, что скажу что-то резкое и ненужное... Спас меня сам Порфирий Леонтьевич, незаметно перейдя (я даже не заметил, как это произошло) на семейные дела одного из сотрудников, на его размолвку с женой по вине другой его сотрудницы, молодой лаборантки:

— До развода дошло? — почему-то вырвалось у меня.

— Нет пока, но может дойти, надо принимать немедленные меры, вот я и занимаюсь... Подробно расспросил сотрудников, жену, его самого и эту лаборантку... Знаете, недолго до греха... Немедленно надо создать комиссию

и разобраться до конца...— Рассказывал он с удивительными подробностями, изображая лаборантку чуть ли не злодейкой, парня — слабеньким существом, поддавшимся ее искусным чарам, а жену — невинной жертвой этой злодейки. В этих подробностях были и такие вещи, что неприятно было слушать, но Порфирий Леонтьевич нажимал на эти подробности с удовольствием, жмурясь и вращая головой; при этом в скрипучем голосе появлялись даже сочные нотки. Из всего, что рассказал Порфирий Леонтьевич, я понял одно, что подробное разбирательство ни в коем случае не будет способствовать укреплению семьи, о которой шла речь. И на самом деле, когда, по моему настоянию, перестали интересоваться взаимоотношениями этих людей, все утихло и стало на свое место. Я понял и другое: некогда было Порфирию Леонтьевичу сидеть в лаборатории и заниматься своими делами, слишком он был занят всякого рода разбирательствами, которые не находил нужным сдерживать Жантак Бокенович. Между тем, он был неплохим научным работником, выполнившим, как мне рассказывал мой друг доцент Куцый, довольно серьезные работы под руководством известного профессора Темпля, с которым он сотрудничал вплоть до переезда в наш институт. По-видимому, есть определенная категория людей, которые могут работать лишь под жестким присмотром. Холод представлялся ярким примером этого: приехав в наш институт и став хозяином своей творческой судьбы, он не только не занимался, но и не хотел заниматься и именно поэтому он избегал прямых, деловых ответов на мои вопросы. Но зато он с удовольствием разбирался в ссорах, размолвках, неладах, то и дело возникающих в институте, как во всяком другом коллективе. Большое удовлетворение он, по-видимому, получал от ненормальных взаимоотношений в дирекции института. Живя рядом с Хайловым, он постоянно настраивал его против Жедельбаева, потом против меня; будучи мастером рассказывать всякие раздражающие подробности, сгущая негативные стороны фактов, он отлично управлял эмоциями Михаила Исаковича. И самое удивительное, что при этом Холод не преследовал каких-либо выгод для себя. Он был совершенно бескорыстен, просто такова была его натура; было лишь влечение, род недуга. В этом я убедился, когда речь зашла о направлении в аспирантуру его сотрудников Жанпеисова и Хохловой. Я считал, что он будет возра-

жать, полагал, что предстоят тяжелые разговоры с Хайловым и Бокеновым. Ничего подобного не случилось. Услышав мое предложение, Холод закрыл глаза, чтобы открыть их, тряхнув головой, и сказал:

— Ну что же, Мажит Муканович, это нужное дело. Пусть они едут учиться. Тем более, если к Дмитрию Викторовичу, которого я очень уважаю.

Поняв бесплодность своих попыток заставить Порфирия Леонтьевича заниматься по-настоящему научным исследованием, я понемногу забирая у него людей то к себе, то в другие лаборатории, которые организовывались в институте. Он отдавал их, глазом не моргнув, вернее, даже не закрывая по привычке глаза, пока не осталось у него несколько человек, которым не было необходимости интересоваться тем, чем они занимаются. Михаил Исакович несколько раз подступал было ко мне, что напрасно сокращается группа Холода и что он, Холод, занимается актуальными проблемами, но вынужден был замолчать, потому что я начинал обсуждать с ним научные подробности, в которых он был несведущ. Однако в президиум Академии и в другие инстанции не преминул все же пожаловаться по этому поводу и письменно, и устно. Сам же Холод не проявил и тени неудовольствия. Но зато он с увлечением, достойным лучшего применения, прислушивался, бегал, составлял комиссии для расследований при обязательном своем участии, часами обсуждая с Бокеновым и Хайловым все, что, на его взгляд, заслуживало внимания, естественно, особо выделялось при этом поведение директора института. Он не мог равнодушно смотреть на разлады между людьми и как будто даже боялся, что они исчезнут — так была сильна у него любовь к разжиганию всякого рода ссор и размолвок. Позднее, замечая, как у него все более сужается поле любимой деятельности, он как-то сник и ушел работать вместе с Хайловым, так и не напечатав за три года работы в институте ни одной научной статьи. Там, в филиале Хайлова, у него тоже что-то не получилось, и он уехал во вновь организованное научное учреждение где-то в Центральной части страны. Потом слышал, что и оттуда ушел. Где теперь этот интересный человек с его любовью к чужим интимностям и несчастьям, не знаю и, признаться, не интересовался.

Беспокойно, иногда и просто тяжело было мне с Хайловым, Холодом, Бокеновым и с некоторыми другими,

не понимавшими или не хотевшими понять; но жизнь шла вперед, принося много хорошего и отрадного. Совершенно спокойно, я бы сказал эпически спокойно, исподволь обдумывая свой каждый шаг, трудился Валерий. Докладывал он о своих неудачах таким же ровным и обыденным голосом, как и об удачах, хладнокровно анализировал, не боясь повторений, все свои опыты и продолжал делать свое дело неторопливо и методично. Возбуждение, которому я склонен был предаваться при обсуждении опытных данных, казалось, его совершенно не трогало. Меня в начале нашего сотрудничества это его непробиваемое спокойствие раздражало, потом привык к нему и, когда были получены (примерно через полгода после того, как Валерий приступил к экспериментам) первые, совершенно достоверные, неоспоримые результаты его упорного труда, я благодарил бога, одарившего меня таким «лентяем».

— Слушай,— говорил я иногда ему,— где твои взъерошенные волосы, где горящие глаза, где возбужденное лицо, где твоя трепетная творящая сущность? Холоден как рыба, а я еще питаю какие-то надежды, что ты зашагаешь как бы по высям творений...

— У вас совершенно неправильное представление о шагающих по высям...— смеясь, не оставался в долгу Валерий,— еще великий Пушкин говорил, что служенье муз не терпит суеты, а музы и наука чуть ли не родные сестры. Последнее, кажется, сказал Эйнштейн, старик, кое-что смысливший в науке.

Я был доволен работой Валерия Петровича по изучению одной просверливавшей мне мозг идейки и был рад, что эта идейка попала в надежные руки. Но я недаром столько лет после защиты кандидатской диссертации жил в беспокойном поиске, боясь остаться навсегда на том же уровне, на который меня вывел Дмитрий Викторович. Я имел в голове еще кое-что, и это кое-что было уже опробовано Удольским Иосифом Марковичем, моим дипломником по прежней работе. Уезжая, я закинул удочку на этого Иосифа. Он был очень хорошим студентом, но не только поэтому я был уверен, что из него получится хороший научный работник. Он мне нравился тем, что, когда я, беседуя по теме курсового и даже дипломного проектов, рассказывал о предстоящих лабораторных исследованиях и о том, что результаты могут иметь практическое значение, его большие карие глаза умно загорелись, подкупив меня искренним интересом к делу. И уже

через несколько дней готов был работать, успев прочитать и разобраться в деталях будущих опытов и к тому же уговорив своего друга, тоже дипломника, Руденко проводить эксперименты совместно, ибо объем исследований предполагался солидный. Трудились Удольский и Руденко в той части нашего полуподвала, где я впервые увидел доцента Куцего еще в качестве аспиранта. Я по вечерам приходил из замдиректорского кабинета к своим студентам и, с удовольствием наблюдая за их усердием, обсуждал результаты выполненных опытов. В то же время мы, молодые доценты кафедры Дьячкова Куцый, Гайнитдин, Углев и я, имели привычку постоянно шутить друг над другом, не скрывая это от студентов старших курсов. Видимо, шутили мы на самом деле интересно, ибо выпускники кафедры, ныне маститые инженеры, до сих пор с удовольствием вспоминают отдельные наши шутки. Однажды, уходя из полуподвала, я обратился к Удольскому и Руденко в духе этой привычки:

— Трудитесь, трудитесь, друзья, имейте в виду, что из этого полуподвала вышел известный доцент Куцый, научная карьера которого только началась и обещает быть такой, что вы еще будете гордиться, что выполняли дипломные работы на том самом месте, где он проводил свои первые памятные эксперименты...

Когда я произнес эту высокопарную тираду, Удольский, не сразу поняв, что это шутка, обернулся ко мне и посмотрел как-то странно, в его взгляде прочел и неверие, и надежду одновременно: он не очень верил, что из нашего полуподвала могут выйти большие люди, и в то же время не имел оснований отвергать эту вероятность, ибо не раз слышал, что крупное в науке начинается большею частью с тех, кто мало привередлив к условиям работы.

Я был доволен тем, что поймал Иосифа на движущей черте его характера — на честолюбии. Я не находил в этом ничего предосудительного и только заключил для себя, что Иосиф будет работать плодотворно, если ставить перед ним дельные задачи. Естественно, я был рад, когда Иосиф после окончания института приехал на работу ко мне. Он приехал в серьезных раздумьях, так как, будучи толковым парнем, уже начал понимать, как малонадежны излишние оптимистические выводы, сделанные им в дипломной работе на основе студенческих опытов, и как было опрометчиво определять по ним направление дальнейших исследований. Это было хорошо, и мы долго обсуждали, как

и с какой стороны подступиться к экспериментам. Иосиф красивыми сильными пальцами тер свой правильный и чистый лоб под копной густых, слегка выющихся темных волос: он уже чуть завидовал Иванову, поскольку успел ознакомиться с его опытами и нашел, что тот начал получать достаточно устойчивые зависимости. Иосиф бежал по городу, метался по командировкам, постоянно расстраиваясь тем, что в Москве, например, все под рукой, нас же ставит в тупик любой пустяк, и поэтому все получается не так быстро, как бы нам хотелось, но все же, уверенно добываясь своего, наконец собрал установку для опытов. Однако установка долго не давала надежных результатов, Иосиф часами просиживал над ней, потирая лоб и снова приступая к повторению того, что было в новом, чуть измененном варианте. Когда же были получены первые надежные данные, свидетельствовавшие о том, что теперь можно смело приступать к самим исследованиям, Иосифа, казалось, это не обрадовало. Он так долго возился, что плохо этому верил, и на мой восторг скептически качал головой:

— Мажит Муканович, не знаю... торжествовать я еще боюсь...

— Наградил меня бог не учениками, а стариками... У Иванова я не заметил ни крупницы восторга, хотя у него уже было немало оснований для этого, а теперь и ты, черт возьми, качаешь головой... — сказал я как бы в сердцах, хотя на самом деле мне понравился скепсис Иосифа.

Из этого начального периода нашей совместной работы с Иосифом очень запомнился один казус, который был допущен, главным образом, по моему научному незнанию. В соответствии с моим заданием Иосиф выполнил предварительные расчеты для определения вероятности прохождения химических реакций, к экспериментальному изучению которых мы приступали. Я взял домой эти расчеты, тщательно, казалось, проверил, потом мы все данные обсудили совместно и, подготовив на основе их статью, послали в наш академический научный журнал. Месяца через три или четыре Иосиф гордо положил мне на стол пачку оттисков, присланных редакцией журнала: он был счастлив появлением первой своей публикации. Через какое-то время после выхода статьи, приехав в президиум, я встречаю в вестибюле здания Академии одну научную даму, знакомую лишь шапочно, но известную мне по отзывам как одна из толковых учениц Пенера. Вижу,

как эта маленькая, очкастая ученица очень уважаемого мной профессора не ограничивается ответом на кивок моей головы и, обратив вверх, к моему лицу, громадные очки, закрывавшие чуть ли не все ее маленькое личико с острым носиком, говорит, робея и запинаясь:

— Мажит Муканович, извините меня, я прочитала вашу статью, выполненную вместе с вашим сотрудником. Мне показалось, что вы не совсем тщательно проверили ее. Может быть, вам стоит посмотреть ее еще раз... Пожалуйста, посмотрите, там что-то, мне кажется, не так. Я знаю, как вы заняты. Извините меня, я вас так уважаю... Владимир Фридрихович так тепло о вас отзывался...

Я, провожая ее до подъезда, благодарил за внимание и обещал обязательно посмотреть, причем не просто посмотреть, а еще раз вникнуть в суть, сообщить ей затем, что из этого у меня получилось; она же все продолжала извиняться, повторяя, чтобы я не утруждал себя никаким письмом в ее адрес. Весь облик дамы, казалось, выражал просьбу простить ее за прочтение этой злополучной статьи. Почувяв что-то недоброе в этом трогательном участии научной дамы, я, приехав домой, ухватился за статью и, перечитывая, не находил ничего такого, что могло заслужить ее внимание. Но все же не мог полагать, что обратилась она ко мне случайно. Был легкий способ узнать подоплеку ее сомнений — позвонить или переписаться, но разыгравшееся во мне самолюбие начисто отвергло подобную бесхарактерность. Немало помучившись и повозившись с разбором задач, подобных нашей, по источникам, я, наконец, через несколько дней обнаружил свою ошибку и, обнаружив, не знал, куда девать себя от стыда. Обзывал себя последними словами и в то же время находил себе слабое утешение в том, что нашел ошибку все-таки сам. Беда заключалась в том, что мы: сначала я, затем Иосиф — совершенно неправильно понимали отправные положения, легшие в основу расчетов, и поэтому получили данные, обольщавшие предполагаемой легкостью реакций, подлежащих экспериментальному осуществлению, и заражавшие нас в связи с этим обманчивым энтузиазмом. Когда я пригласил Иосифа и рассказал ему историю нашего позора, он вначале не поверил, решив, что шеф, как обычно, шутит, потом, убедившись в горькой правде, растерянно заморгал своими большими глазами, усиленно растирая при этом лоб. Нелегким оказалось делом печатно расписаться в своей неграмотности, если

не в невежестве. Я был благодарен Иосифу: он ни разу не дал мне повод уловить его в законном упреке в мой адрес, ибо мне было совсем нелегко чувствовать, как подвел его, поспособствовав первому появлению имени молодого своего соратника в печати над этим зыбким подобием научного труда. Мы с Иосифом судили, рядили, пока не пришли к выводу, что лучше и честнее будет, если мы кратко, ясно объясним ошибочность статьи и дадим исправленные выводы, попросив извинения у редакции и читателей; что и было сделано. Потом Валерий шутил, что Иосиф оказался хитроумным молодым ученым, сумевшим выступить в печати дважды с одной и той же статьей, в первый раз написав нарочно неправильно, во второй — опровергнув себя же самого. Его острота была нацелена, конечно, и против меня, но приходилось терпеть. Зато из того мы извлекли большой урок. Мы на своей шкуре испытали, что нельзя обольщаться ясностью в понимании, что необходимо проверять и еще раз проверять себя в самых ясных и понятных вещах, шире и чаще консультируясь с коллегами, и никогда не торопиться с публикациями. Обнаруживались ошибки и в дальнейших наших работах, но они были частными и незначительными. В тех же случаях, когда это касалось работ Иосифа Марковича, я находил нужным сказать:

— В работах Иосифа не может быть крупных ошибок, ибо все солидные ошибки он собрал в свой первый печатный труд, заранее вылив на него всю свою неграмотность и оставив в себе только грамотность...

Иосифу очень хотелось оформить поскорее кандидатскую диссертацию, не только потому, что он был достаточно честолюбив для этого, но еще и потому, что, хорошо зная о неладах между мной и Хайловым, сомневался в прочности моего положения и, следовательно, в благополучном доведении своей работы до защиты, так как считал, по-видимому, академика более важной и устойчивой фигурой, чем кандидата наук, пусть даже оказавшегося на какое-то время директором. Оттого он явно нервничал и проявлял, в общем-то, мало присущую ему спешку в оформлении результатов исследований. Я не имел каких-либо формальных оснований быть недовольным Иосифом и делал вид, что ничего не замечаю, хотя тайная подоплека его нервной торопливости становилась особенно ясной в сравнении с твердокаменным Валерием, трудившимся с неменьшим усердием и с таким

сосредоточенным спокойствием, будто никакие события окружающего мира его не касались.

И еще был один повод, который некоторое время расстраивал Иосифа. Исследования Валерия быстро привели нас к тому, что мы получили авторское свидетельство на изменение головной операции в технологической схеме того уральского завода, где я бывал, как я тебе писал, дорогой друг, руководя практикой студентов, и где впервые появились у меня те мысли, над которыми трудились теперь мои сотрудники. Мы почувствовали, что это изобретение может быть внедрено не только на этом уральском заводе, но и на комбинате, куда я ездил в свое время докладывать кандидатскую диссертацию. Валерий Петрович ездил на эти предприятия вместе со мной и без меня, легко вступая в деловые контакты с заводскими инженерами, а в институте стал обрастать сотрудниками, работавшими под его руководством, словом, хорошо продвигался по изучению как теории, так и прикладной стороны своей темы. Работа же Иосифа имела более дальний прицел, требуя скрупулезного познания природы явлений, и по ней не намечался непосредственный прикладной выход, что вовсе не должно было преуменьшать значение исследования, отличавшегося неоспоримой новизной как в постановке, так и в намечаемом решении проблемы. Я, например, совершенно был уверен, что эта работа Иосифа находилась на несравненно более высоком уровне, чем моя кандидатская диссертация. Тем не менее, Иосиф вздыхал, его явно тревожила зависть к Валерию. Кроме того, он усердно проповедовал мысль, что работникам института не подобает мотаться по заводам для внедрения изобретения, их удел — заниматься фундаментальными проблемами науки и т. д. Мне не понравились рассуждения Иосифа, я вызвал его и сказал:

— Ты же знаешь, Иосиф, что мы живем в век научно-технической революции, когда проблема, которую сейчас изучаешь как теоретическую, немедленно находит практический выход. Так во всех естественных науках. Мы не можем оставаться в стороне, когда видим, что в наших исследованиях получается что-то нужное производству. Не думаешь ли ты, что твоя проповедь имеет нездоровую основу... Не полагаешь ли, что твой коллега Иванов может думать, что эти соображения ты вещаешь просто из зависти?

Иосиф хотел было что-то сказать, потом густо по-

краснел и замолчал. Я нашел необходимым переменить тему разговора.

Позднее, когда работы кандидата наук Удольского стали приобретать явно прикладной характер и он довольно успешно начал внедрять их в производство, окружив себя большим количеством отлично работающих сотрудников, кто-то из товарищей, хорошо знавших Иосифа, кажется, Иванидис, сказал ему:

— Иосиф Маркович, ну что ты мотаешься по предприятиям, размениваешься на мелочи вместо решения фундаментальных академических проблем?

Иосиф чуть потемнел в лице, но ничего не ответил. Понятно стало, что эта шутка не требует повторения. Ныне Иосиф Маркович Удольский, доктор наук, руководитель лаборатории, отличный, доброжелательный товарищ, с которым легко работать. И я им не менее горжусь, чем Валерием Петровичем и многими другими своими младшими товарищами.

Дорогой друг, тебе не кажется, что я слишком долго кручусь возле своих любимых парней, как будто кроме них в быстро разросшемся институте никого и не было? Были, конечно, и есть, и о них я мог бы очень много говорить, а Иванов с Удольским стали моей первой, но надежной опорой в научных делах, которые я затеял. Помню, с каким удовольствием помогал оформлять кандидатские диссертации моим первым ученикам, придираясь чуть ли не к каждому слову, и как мне было приятно, когда они почти триумфально защитились. Но уже в это время рядом с ними работали не менее серьезные последователи. Я имею в виду Полубричкина, того самого Николая Алексеевича Полубричкина, с которым подружился на уральском заводе и который, не забыв эту дружбу, приехал работать вместе со мной. Еще ранее приехал ко мне из Киргизии Айкен Хасенов. Оба они быстро и легко вписались в дела, начатые Валерием и Иосифом. Айкен сейчас кандидат наук и руководитель лаборатории, он неизменно вдумчив, степенен, по-мальчишески моложав и дерзает вскоре стать доктором наук. Он оказался особо удачливым в контактах с производством и неплохо внедряет свои изобретения, которых у него теперь немало. К сожалению, не могу сказать того же о Николае Алексеевиче, кандидате наук и старшем научном сотруднике, который по-прежнему питает нелюбовь к женщинам. Сейчас почти треть лабораторий института продолжает дела,

получившие развитие с легкой руки Валерия и Иосифа, и я не перестаю удивляться, как не предвидел тогда десятой, а может быть, и сотой доли новшеств, которые рождены ныне пытливей деятельностью не одного десятка моих сотрудников. Я не предвидел их и позже, когда писал докторскую диссертацию, сосредоточенно систематизируя все, что было сделано к этому времени моими учениками, и, имея, казалось, возможность взглянуть глубже и дальше. Тем и хороша творческая работа, что нет в ней повторения, что новое всегда рождает новое и нет предела этому обновлению продукции мозга, следствием которых и является дальнейшее углубление наших знаний. Ведь одна и та же исходная идея вертится, охватывая молодыми побегамии все более широкий круг непознанных, но уже подлежащих познанию вещей. Сейчас многие мои ученики ушли по этим ветвям настолько вперед, что я и не дерзаю угнаться за ними. Пришел, например, сегодня утром навестить меня спокойный, улыбающийся, красивый брюнет, молодой доктор наук Нурахметов. Он — бывший кандидат физико-математических наук, и, тем не менее, он считает себя моим учеником, поскольку его, физика, мы удачно переделали в химика. На самом деле было так. Я дал ему задание заглянуть в молекулярную природу одного химического соединения, которое мы синтезировали и свойства которого хотели досконально знать. Работая с этим соединением, Нурахметов убедил меня, что необходимо приобрести очень дорогие, стоящие не один десяток тысяч рублей приборы, способные фиксировать энергетические следствия взаимодействий внутри вещества на молекулярном уровне. Положив в чрево этих приборов наше соединение, Нурахметов снимал с них показания и на основе этих показаний написал такие математические уравнения, сути которых мой грубый разум не мог постигнуть даже при самом предельном напряжении, хотя конечные выводы из этих уравнений были понятны и очень удовлетворяли меня. Эта «китайская грамота» (так шутили над Нурахметовым его зубоскалы-товарищи) бывшего физика была признана в Москве высоким научным достижением, и автору ее, к нашей гордости и радости, была присвоена степень доктора химических наук. Количество энтузиастов, следующих за Нурахметовым, увеличивается и теперь; можно сказать, что институт работает в шикарном диапазоне — от изучения микромира веществ до внедрения прикладных ре-

зультатов исследований в масштабах, приносящих заметные выгоды народному хозяйству. Кстати сказать, когда получались в наших изысканиях данные, явно приложимые к улучшению действующих технологий предприятий, нам всегда не терпелось предложить их для внедрения. Приходилось прибегать ко всякого рода изобретательности, чтобы порою не столько убедить, сколько прорвать, пробить удивительное равнодушие инженеров-производственников из руководящего звена, не высказывавших как будто никаких принципиальных возражений, но и не предпринимавших ничего, чтобы помочь делу. Это, конечно, приводило к неописуемым трудностям. Со временем накапливался опыт, устанавливались связи, что давало некоторое облегчение. Необходимо было, скажем, проводить испытание на месте, на самом предприятии, привлекались к делу заводские инженеры, которые становились чуть ли не научными сотрудниками нашего института и далее, вначале под моим руководством, а затем под руководством моих учеников продолжая научные изыскания, становились кандидатами наук. Такими воспитанниками института мы очень гордились, на производстве они становились активными проводниками наших идей, облегчали хлопоты по внедрению многих наших работ. Подобные взаимоотношения у нас установились с инженерами комбината, где я докладывал, как ты помнишь, дорогой друг, свою кандидатскую диссертацию. Главный инженер этого комбината, дальновидный и зоркий Викторов, постоянно поощрял творческие контакты исследователей из института с инженерно-техническими работниками, и мы привыкли в отдельных случаях, большей частью по нашему предложению, планировать совместные исследования с прицелом на будущее. Наши контакты привели к тому, что я, например, наряду с работниками комбината и некоторых других научных учреждений оказался лауреатом Государственной премии за работы по резкому улучшению технологии этого предприятия. Я мог гордиться, что нашли практическое воплощение кое-какие из мыслей, рожденных тогда, когда в ожидании своего доклада по диссертации на технологическом совете бродил по цехам комбината. Но не все благополучно было в отношении того уральского завода, где впервые зародилась моя основная идея, хотя и здесь удалось пробить стену сопротивления, благодаря тому, что в лице Иванова нашел помощника, не признающего в этом

деле неудач и совершенно незнакомого с такими ослабляющими человека эмоциями, как уныние или отчаяние. Он старался даже полушутя, полусерьезно теоретически обосновать свое изумительное упорство в хлопотах по внедрению изобретений. Для этого он использовал известную мысль, что при проведении исследований, да и во всякой другой работе, необходимо не оболящаться предполагаемой легкостью в достижении целей, а наоборот надо настраиваться на самые большие трудности, и тогда морально легче будут преодолеваются препятствия. Склонный находить во всем смешное, Валерий однажды выступил в стенной газете со статьей, которая, помню, начиналась так: «Всем известно, что наш шеф является автором известного постулата, в популярном изложении гласящего: если тебе предстоит поднять барана, то представь себе, что он — слон, и тогда баран покажется пухом. Стоило бы подсчитать, сколько мы теряем от того, что, предаваясь ложному оптимизму, надеемся иметь дело с бараном в пуховом исполнении и от этого последний превращается в слона, перед которым, естественно, трудно сохранить присутствие духа и не впасть в отчаяние». И далее с присущим ему остроумием Валерий высмеивал тех коллег, которые, жалуясь на непробиваемость производственников, по существу недостаточно настойчиво занимались внедрением своих изобретений. В этой статье он шутливо высказал то, что однажды не менее оригинально выразил на ученом совете:

— Мы знаем, что новая идея не овладевает умами без конфликтов. Но всегда было отрадным то, что после признания она, идея, находила свое место в жизни почти беспрепятственно. В этих случаях говорили о триумфальном шествии идей. Это, так сказать, идеальная норма конфликтности в науке. Мы, к сожалению, часто встречаемся с некоторым смещением этой нормы от идеального: идея признается, никто не возражает, и в то же время она не внедряется, т. е. наша беда начинается на этой последней стадии. Мы вынуждены допускать и принимать сердцем ставшую постоянной для нас вот эту практическую, а не идеальную норму конфликтности, и с учетом ее продолжать упорно вводить в производство новшества, найденные нами.

Все пишу, дорогой друг, к тому, что хочу рассказать, как нам с Валерием удалось внедрить наше изобретение на теперь уже известном тебе уральском заводе. Прохо-

дили годы, в каждом из которых нам казалось, что завод не имеет теперь никаких оснований, чтобы не внедрить наше предложение. Отраслевой проектно-исследовательский институт, находившийся рядом с заводом, не только стал на нашу сторону, но и провел у себя на опытном заводе испытание на агрегате нашей конструкции, затратив на это один месяц, при полной поддержке министерства. Директор проектно-исследовательского института и я не раз встречались и получали от директора завода заверения, что в наступающем году предложение будет внедрено. И тем не менее на заводе с удивительной изобретательностью находили причины для того, чтобы переносить внедрение из года в год, и, как мы поняли потом, по их установившейся практике это должно было продолжаться до тех пор, пока не иссякнет упорство авторов и они, наконец, не перестанут обращаться. Об этом я думал однажды утром, идя на работу. И тогда я сказал Иванову:

— Валерий Петрович, не стоит ли тебе как молодому ученому обратиться в ту высшую инстанцию, которую мы беспокоим лишь по очень важным делам... или в тех случаях, когда у нас другого выхода нет... Здесь, мне кажется, именно тот случай...

На другой день Валерий принес мне проект письма, от чтения которого я испытал истинное удовольствие и, мало того, хохотал до слез, ибо это было написанное талантливым автором письмо. Валерий писал, что для агрегата, который должен привести к столь благородным изменениям во всей технологии одного из важных цехов, требуется столько производственной площади, сколько занимают три беседующих на эту тему директора. Недели через две после того, как отправили письмо, нас пригласили в Москву, и там этот смех повторился; очень ответственный товарищ, к которому мы зашли, посмотрела на нас троих: директора проектно-исследовательского института и завода уступали мне по росту, но зато брали диаметром. После этого смешного письма с неслыханной быстротой стали решаться все вопросы. В какие-то полгода изобретение было внедрено, и оно в дальнейшем явилось причиной многих совершенствований, которые нынче полностью изменили облик цеха. Правда, для нас теперь и эта технология, стоившая стольких нервов и хлопот, является делом прошлого, ибо видятся нам иные перспективы, иные заботы. И среди этих забот, может

быть, стоило бы рассказать о том, как мы обнаружили одну закономерность в химических взаимодействиях элементов. Дело в том, что мне стоит большого труда сосредоточить себя на том, что требует безотлагательного обдумывания и решения. Вместо того мне в голову приходят совершенно побочные, совершенно второстепенные детали, которые, хотя и связаны с тем главным, о чем настоятельно необходимо думать, но на самом деле лишь отвлекают от него. И это меня иногда настолько раздражает, что я вообще перестаю думать.

В один из таких раздражающих моментов (это было, когда писал докторскую диссертацию) поймал себя на том, что это второстепенное, которое только что пришло на ум, стоит того, чтобы о нем порассуждать. Порассуждать я мог только с Валерием Петровичем, ибо это была область его научных интересов. Толкуя и развивая мысль, мы почувствовали, что необходимы предварительные расчеты, которые, естественно, должен был выполнить Валерий. Получая задания, он не преминул сказать:

— Мажит Муканович, к сослуживцам, к младшим или старшим, добрые люди ходят по вечерам весело провести время, отвлечься от забот... Не знаю, какой бог наградил нас шефом, приходя к которому непременно натыкаешься на грядущие заботы и бессонные ночи...

— Ох, Валерий Петрович, погиб в тебе тонкий льстец и талантливый царедворец. Три четверти века назад далеко бы пошел... И все же ты и теперь достоин нормальной рюмки коньяка, — отвечал я.

— Боюсь, что этот льстец и царедворец три четверти века назад ходил бы в лаптях и об этом коньяке и не слышал бы, — засмеялся тогда Валерий. Так начиналась одна из наших теоретических работ, в которую ныне втянули немало людей, и теперь мы уверены, что обнаруженная нами закономерность найдет себе много приложений и войдет в учебники.

Я уже писал тебе, что академик Хайлов своими необычными методами работы помог мне глубже разобраться в людях. Он способствовал также расширению моего кругозора. Не назовешь это иначе, ибо я был вынужден глубже, чем это полагалось по должности, вникать в те дела, которые нашли место в институте в связи с именем Михаила Исаковича и которые Академия считала необходимым усиленно развивать. Я был обязан достаточно грамотно и разумно поддерживать тех моло-

дых людей, которые, освободившись от странной опеки Михаила Исаковича, рвались к проведению солидных и стоящих исследований. Место Хайлова как заместителя занял молодой ученый Комовнин, и под его руководством, а также при неутомимой деятельности таких научных работников, как Аккулов, Лапин и другие, этот отдел института превратился в такую самостоятельную научную единицу, что теперь ставится вопрос об организации на базе его нового научно-исследовательского института, что и будет, наверное, осуществлено в ближайшее время. Правда, с помощниками по организации науки у меня были и неудачи, одну из которых я особо переживал.

...Институт рос, и президиум нашел необходимым выделить еще одну должность заместителя по науке. По моему предложению утвердили в этой должности небезызвестного тебе Иванидиса, который к этому времени успел уже стать руководителем лаборатории. Владимир Иванович очень старался быть хорошим заместителем, он внимательно выслушивал меня, записывал мои распоряжения, усердно выполнял их и не менее усердно возился с бумагами, но, сколько я ни дожидался, он ни разу не сделал даже попытки самостоятельно решить какой-то вопрос или выступить с какой-либо инициативой. А когда под моим напором пробовал делать то и другое, у него все получалось неуместно и невпопад, в чем сам же потом признавался. Выезжая в командировки, он возвращался с грудой нерешенных дел, потому что не проявлял, несмотря на мои подробные инструкции, изобретательности и настойчивости. Я, естественно, расстраивался и злился и, поскольку мы с ним были на «ты», довольно грубо, не стесняясь в выражениях, отчитывал его. В таких случаях он виновато смотрел на меня своими добрыми глазами; смотрел до тех пор, пока мне не становилось жалко его. Однажды после такого неприятного разговора мне пришло на ум намеренно затеять с ним беседу по его научным делам. И тут заметил, как только что печальные глаза Иванидиса загорелись животворным блеском, как он (тут же забыв мои грубости) начал с удовольствием рассказывать о выполненных и задуманных им экспериментах, норовя втянуть меня в обсуждение волнующих его деталей.

— Жалкая и одобая ты личность, Владимир Иванович, — прервал я его, улыбаясь. — Почему ты не можешь с таким же жаром рассказать о том, чем занимаются

в подчиненных тебе лабораториях, почему ты не вникаешь в их научные интересы!.. Ты обязан это делать по службе, но, кроме того, ты же будешь расти и научно, ибо познанное в смежных областях в сочетании с тем, что у тебя накопилось и ввелось, является источником идей... Ты же эту истину великолепно знаешь. И, несмотря на это, ты о делах других лабораторий докладываешь, как формалист и бюрократ. Блеск в твоих глазах появляется лишь при переходе к своим делам. Эгоист несчастный...

— Мажит Муканович, хватит тебе отчитывать меня, как мальчишку. Я стараюсь честно выполнять свои обязанности. Но, знаешь, тебе не угодишь...

Видя, что становлюсь для него въедливым ворчуном, которому не угодишь, все больше убеждался, что мой добрый Иванидис не рожден заниматься несколькими делами враз и разнообразить интересы настолько, чтобы разумно и инициативно вмешиваться в дела других, понял, что им для этого слишком владела инерция раздумий над собственной темой. И, когда я ему предложил подать заявление об освобождении от занимаемой должности, он без обиды и даже, кажется, с удовольствием согласился:

— Слава богу, я уже сам думал, как бы освободиться от этой с тобой близости, пока совсем не загрыз.

— Добился своего, куркуль несчастный... не вывелся в тебе предок — мужик, не видящий ничего, кроме своего огорода, то бишь своей лаборатории, — только и мог сказать я на это.

...Ворча и злясь на Иванидиса, я все более замечал, что делами Владимира Ивановича, по сути, овладел ученый секретарь Торебай Жанпеисов, только что получивший диплом кандидата наук, окончив аспирантуру у академика Дьячкова. Этот небольшого роста, щупленький, чернявый и большеглазый парень с молчаливой улыбкой уже показывал умение работать с людьми, объективно судить о фактах и спокойно высказывать строго продуманные и поэтому достаточно аргументированные суждения. Пока я заставлял Иванидиса вникнуть в тематику подчиненных ему лабораторий, Торебай во всем довольно быстро успел разобраться и уже был всегда в курсе того, что делает каждый научный работник и что ему нужно для успешной работы. Когда Иванидис и другие товарищи рекомендовали мне его на должность ученого секретаря, я сказал, шутя, что Торебая на эту административную должность непременно надо назначить,

ибо это соответствует желаниям его почтенного родителя. Шутил я, вспомнив следующий случай. Однажды, придя утром на работу, увидел в приемной аксакала, сидевшего, опершись о трость. Он был старомоден в своем просторном чапане и азиатских галошах, надетых на ичиги. Таких аксакалов теперь осталось мало и в аулах. Я по-старинному приветствовал его и пригласил в кабинет. Аксакал оказался отцом аспиранта Торебая. Он спокойно, с достоинством сел против меня, перебирая свою бороду, подробно осведомился о здоровье матери, жены и детей, потом, сделав солидную паузу, сказал:

— Свеча моя, говорят, что ты очень ученый и очень большой человек. Да сопутствует тебе и дальше удача... Но у тебя, наверное, есть такой старик, как я. Мы, старики, стоим одной ногой на земле, другой в могиле, и все же аллах не снял с нас интереса к земным делам... Беспокоит теперь мой единственный кормилец, мой сын Торебай, который здесь, внизу, под твоей комнатой, возится с утра до вечера с какой-то грязной водой, похожей на болотную жижу и разлитой во множество верблюдошеих склянок. Я смотрю на него и думаю: умру я вот так, ни на один день не освободившись от забот о собственном прокормлении... Между тем, один из сверстников Торебая — директор совхоза, другой — главный агроном: их отцы режут на согум не менее двух лошадей в зиму, а я еле наскребая денег на пол-лошади... А ведь мой Торебай учился лучше их. Спрашиваю Торебая — он молчит и улыбается. Теперь у него учение такое, что коран на моей могиле он не прочитает, так хоть на земле перед смертью пожить бы в достатке...

Смотрел я на аксакала, улыбаясь, но его морщинистое с седыми, редкими щетинами лицо оставалось спокойным и серьезным.

— Аксакал, — ответил я, — вы все говорили правильно. И, несмотря на это, вам надо радоваться, очень радоваться, а не печалиться. Вы хорошо знаете великого Абая?

— Казаху, свеча моя, стыдно его не знать... Он из рода Тобыкты, в большом перекрестном родстве с каракесеками, а мы, в свою очередь, в родстве с последними... — старик оживился и начал рассказывать чуть ли не обо всей родословной Абая, пересыпая речь стихами великого поэта, что я даже позавидовал многознанию аксакала.

— Вы, аксакал, Абая не хуже меня знаете, но вы, наверное, не слышали, что стихи Абая были напечатаны лишь через пять лет после его смерти. А вот ваш сын еще только начал заниматься в науке, а напечатал уже статью. Русские буквы знаете? Давайте посмотрим: Жанпеисов Торебай Нуртаевич. Жанпеис — ваш отец, Нуртай — вы, Торебай — ваш сын. Это напечатано в толстой книге, которая никогда не пропадет. Через десятки, сотни лет какой-то неведомый наш потомок возьмет и прочтет мысли и думы вашего сына... А сколько умных предков ушло, о которых мы ничего не знаем: ни дум их, ни имен. А если бы знали, были бы и мы умнее. Раньше казах, помните, хотел иметь сына, чтобы его упоминали хоть в одном поколении. А сколько поколений теперь будут читать ваше имя, имя вашего сына и вашего отца... Подумайте только, к какой жизни мы пришли. Этого мало... Напечатанное тут на пользу всем нам. Иначе б не напечатали. А ведь ваш сын только начинает. Теперь рассудите, стоит это того, чтобы на вашем дастархане одной лошадью было больше для угощения родных, близких и соседей... Ведь лошадь вам для этого требуется? Надо надеяться, и это ненадолго... Рассудите также, могли вы делать то, что делает ваш сын, когда были сами молоды? Не могли... Значит, надо радоваться и не всегда считать жизнь по дастархану... Между тем, воспитав такого сына, и вы немало сделали для жизни.

Пока я говорил, старик, уставившись в страницу журнала, где напечатана была статья сына, водил толстым указательным пальцем по своей фамилии, пока по еле знакомым буквам твердо не вывел ее. Я заметил, как с удовольствием прошептал он имя своего отца, как при этом разгладились на его лице морщины, как из-под нависших бровей вышли в светлой улыбке глаза. Он посмотрел на меня и сказал:

— Спасибо, свеча моя, спасибо. Надоумил меня, старого и темного. По очень хорошим законам вы теперь живете. И это мы не всегда понимаем. Спасибо! Разрешите, свеча моя, не занимать твое время. Да наградит тебя аллах,— от души говорил он, почтительно прощаясь со мной.

Бывали у меня и другие аксакалы. Интересная беседа у меня состоялась, например, с отцом Акылтая Игенбаева, того самого Акылтая, которого я встретил вместе с Торебаем, работавшим по заданию Холода. Помню, сидел

я у себя в кабинете, просматривал бумаги, как раскрылась дверь, и в ней показалась старомодная, большая зимняя шапка-тымак, заслонившая чуть ли не весь проем двери. Видя, что ко мне жалуется старый человек, я вскочил и пошел навстречу. На мое приветствие он ответил не сразу. Сначала молча положил свой тымак на приставной столик, затем приспустил толстый кушак, на который ушло метров пять материи, сел и только потом сказал:

— Уагалейкомсалам, сын мой. Аллах тебя наградит за почтение к старшим.

И пошли расспросы, без которых не обходится ни один аксакал.

— Сын мой,— сказал он далее.— У тебя здесь работает мой сын Акылтай. До него у меня было пять сыновей, этот у меня младший, бог сохранил его одного. Старшие положили головы за Родину. Так вот о нем, об Акылтае, хочу поговорить. Пришел года два назад и говорит, что его назначили секретарем, да не простым, а ученым. Мне это понравилось. Значит, думаю, мальчик достоин, чтобы занимать ученую должность. Все хорошо, кажется, было, но вот в последнее время я что-то беспокоюсь. Стар уже стал. Акылтай, помню, часто занимался по вечерам, читал, писал, теребил волосы на голове, значит, что-то не поддавалось его уму... А теперь перестал — ходят они с келин по вечерам в кино, в гости, благо внук с удовольствием остается со мной... Так ты скажи мне, директор-сын: или Акылтай стал таким большим ученым, что ему не к чему дальше ломать голову, или он зажирел, ибо лишний жир набирают только бараны. Говорят, что ты сам приходишь в этот кабинет ни свет ни заря и сидишь за книгами, а твой брат Акылтай спит в это время так, что чуть не опаздывает на работу... Я понимаю, что теперь в жизни все умом делается, надо много думать... много читать... Если цель — лисица, надо стать гончей собакой...

Я смотрел на него, все более удивляясь уму и зоркости этого живого осколка прошлого, ввалившегося в мой современный кабинет в громадных старинных сапогах-саптама с войлочным подкладом и широкими голенищами выше колен, в просторнейшей шубе, опоясанной толстым жгутом серого полотна, в тымаке с широченным задником, прикрывавшим чуть не всю спину, словом, во всем том, что теперь не носит ни один, родившийся хотя бы на десять лет позже этого аксакала. Не зря избороздили глубокие морщины широкое лицо этого человека, оставив молодыми

лишь глаза, если он увидел то, что не очень склонны были замечать мы. Акылтая этого назначили мы ученым секретарем, польстившись на то, что он неплохо показал себя как младший научный сотрудник, отличаясь вдумчивостью и исполнительностью. Переводя на должность ученого секретаря, мы его предупреждали, чтобы он не забывал свои исследования, в которых имел заметный задел. Между тем, Акылтай, очень аккуратно и усердно исполняя свои должностные обязанности, понемногу остывал к научным делам, и мы это знали. Он оказался из тех, кто не может успешно заниматься двумя делами одновременно. Не отличаясь честолюбием, он со временем решил, по-видимому, довольствоваться тем, что есть. После предупреждения аксакала мы все же решили перевести Акылтая на научную работу, где он продвигался спокойно и уверенно, благодаря своему усердию и аккуратности и был избран руководителем лаборатории, и, видимо, недалеко то время, когда станет доктором наук. Мне же остается думать, что, возможно, научная судьба Акылтая оказалась бы менее счастливой, если бы не пришел ко мне вовремя его старый, умный отец.

Не думаешь ли ты, дорогой друг, что я сильно отклонился? Я же хотел тебе рассказать о Торебае Жанпеисове. Так вот, этот медлительный и флегматичный на вид Торебай оказался единственным кандидатом на должность заместителя директора. Его очень рекомендовали и Иванидис, и Комовнин, и многие другие; он уже был замечен своей деловитостью в президиуме Академии. Теперь он является наряду с Комовниным бессменным заместителем директора по научной работе. Однажды вечером, после работы, он зашел ко мне и начал рассказывать своим будничным голосом о том, что он давно думает о путях разложения одного распространенного природного минерала таким образом, чтобы этот минерал можно было легко и отдельно извлечь из химического и металлургического сырья, и стал толковать о найденном им способе. Я чуть не подскочил и уставился в него, как будто ко мне в виде этого Торебая спустился оракул и указывает вещими перстами на то явление, которое до сих пор всем нам было известно, но никто не думал о том, что оно может быть использовано для решения казавшейся неразрешимой проблемы, как предлагает этот невозмутимый молодой человек, продолжающий повествовать все так же спокойно о выполненных и задуманных

опытах. На мои нетерпеливые вопросы и высказываемые тут же соображения он отвечал таким ординарным, таким ровным голосом, что я уже начал злиться и пенять на бога, наградившего меня такими учениками, как Валерий и этот Торебай, которые родились, наверное, с какими-то природными огнетушителями, чтобы никто не заметил их внутреннего горения. С этого началось то большое дело, которым теперь занимается Торебай, успев втянуть в него немало энтузиастов, включая даже очень авторитетных ученых Москвы. Работа уже нашла промышленное применение, что является, по-видимому, лишь началом. Недавно Торебай со своими друзьями-москвичами ездил за границу, вызвав своим докладом большой интерес на международном научном симпозиуме. И вот теперь, когда думаю о брате-ученом, кому вменяют в обязанность организовать наши научные дела, нахожу, что среди нас очень мало тех, кто умеет замечать, неумоимо выискивать, находить и выделять невидимые с поверхности связи между явлениями, то есть, как мы говорим, творчески мыслить; еще менее тех, кто наряду с умением творчески мыслить способен зажигать других своими страстями к поискам истины и спланировать творческие коллективы на решение научных задач; и уж совсем мало тех, кто награжден волей стать, когда это нужно, выше своих научных страстей, чтобы проникнуться сочувствием к подобным же страстям товарища, гармонически сочетая в душе свои интересы с интересами других. Я ныне уверен, что Торебай относится к разряду последних, и он, пожалуй, единственный ученый в нашем институте, кого я мог бы рекомендовать вместо себя, ибо это время, мне кажется, уж совсем недалеко.

Лежу, дорогой друг, в своей палате, к которой уже привык, и улыбаюсь; можно подумать, что жить здесь, выполняя наставления докторов как можно меньше читать и писать и еще меньше двигаться, — самая лучшая форма бытия. Улыбаюсь же оттого, что вот только побывал у меня мой друг Иванидис, и в лицах, как это он умеет делать, рассказал о беседе Торебая, который командует институтом на время моей болезни, с молодым специалистом, явившимся к нам на работу. Вначале Торебай спокойно, привычно разговаривал с молодым человеком, расспрашивал о его дипломной работе, о кафедре, на которой он кончил институт, о лаборатории, где он хотел бы трудиться, потом, сделав паузу, резко наклонился к

столу и, доверительно улыбнувшись, мягко подражая моему голосу, сказал:

— Молодой человек, а можно к вам обратиться с одним деликатным вопросом? Вы женаты? Давно женаты? Жена у вас хороший человек? Любит вас? Вы не думайте, что я задаю такой вопрос из обывательского любопытства... Вы будете научным работником, ваша жена должна способствовать тому, чтобы вы могли плодотворно работать. Знаете, как будет плохо, если наоборот... К сожалению, последнее бывает у нас не очень редко...

Торейбай, у которого юмор струился постоянно, при Иванидисе нарочито изображал меня, поскольку не раз был свидетелем подобных бесед моих с поступающими на работу, и имитировал мое поведение настолько тонко, что еле удержавшийся Иванидис взорвался хохотом, когда, наконец, ничего не подозревавший молодой специалист ушел.

Между тем, привычку интересоваться личной жизнью своих сотрудников приобрел давно, ибо по опыту знаю, как продуктивен труд научных работников, одаренных счастьем семейной жизни. Смешно, но иногда приходит на ум, не потому ли великий Сократ не писал, что женой его была неумная Ксантиппа? Мне кто-то говорил, что великие люди не всегда удачно претендуют на мудрость, ибо как понять Толстого, который начинает «Анну Каренину» словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — полагает, что счастливая семья не имеет своих особенностей... Жизнь все убеждает, что Толстой глубоко прав: человек не склонен анализировать, почему он счастлив в семье, он наслаждается счастьем, не раздумывая и не размышляя, тогда как несчастье в семье связано с такими душевными муками, что в каждом человеке оставляет свои особенные неповторимые следы.

Я не раз упоминал о Жедельбаеве, и вам, наверное, показалось, что я как будто избегал говорить о нем более подробно, несмотря на его большие заслуги как ученого, оставившего заметный след в нашем институте. Помню, на мой вопрос, почему он так легко сдал свои позиции во взаимоотношениях с Хайловым, ответил, что не рожден руководить коллективом, ибо вспыльчив, не выдержан, к тому же настолько занят делами, что некогда думать об ответах на интриги Хайлова, Холода и Бокенова и что именно поэтому пошел по более легкому пути — попро-

сился в лабораторию. Когда я начал рассказывать ему о трудностях, которые мне тогда приходилось переживать, пытаюсь тем самым вызвать его участие, он настолько пассивно и безучастно слушал меня, что я даже обиделся. Но случай помог мне несколько по-иному взглянуть на его судьбу. Как-то позвонил мне один товарищ, назвался управляющим большого треста и попросил принять его. На всех хозяйственников я смотрю с точки зрения, чем бы поживиться для института, и конечно, был рад такому посещению. Но управляющий рассказал историю не очень приятную.

— Приехал я недавно из другого города. Получил квартиру и теперь обживаю, — грустно начал он. — Но вот что плохо. Стал я просыпаться от раздававшегося через стенку странного звука: не то плача, не то воя часа в два-три ночи. Заинтересовался, кто же живет в соседстве со мной в другом подъезде. Оказалось, профессор Жедельбаев. Обращаться во дворе к такому большому человеку и его молодой высокой приятной жене по такому вопросу посчитал неудобным. Но вчера этот плач, подобный вою, повторился утром между шестью и семью. И решил зайти. Вбегаю к ним в подъезд, поднимаюсь на второй этаж, стучусь. Слышу мужской голос: «Войдите!» Дверь не заперта, вхожу и вижу: сидит мой сосед тут же в коридоре на полу. Приветствую и спрашиваю: «Я же гость, почему не встаете». Сосед мой извиняется и говорит: «Мне не до гостей, и вообще ни до кого, ни до чего... остается лбом об стенку». Дверь в спальню открыта, оттуда появляется простоволосая его жена в ночной рубашке. Спрашиваю: «Соседка, это вы не даете мне спать?» Та каким-то жалобно-плаксивым голосом отвечает: «И вы бы завыли, если бы муж к вам так относился!» «Слушайте, я же не женщина, я посторонний, я — мужчина, почему не закроете дверь, чего вы красуетесь передо мной в ночной рубашке?!» «Мне не до этого», — отвечает она и все же скрывается за дверью. А хозяин продолжает сидеть безразлично на полу. Я не выдержал этой сцены и, сказав соседу: «Я не завидую вам!» — выбежал. Вот ведь какая история.

Признаться, я не ожидал, что в семье Жедельбаева разыгрываются такие неприятности. Я бывал у него, жена его, Жемис, встречала приветливо, весело и хлебосольно; девочка и сын все время кружились возле отца, видно было, что папа души не чаял в них. Хотя казалось, что

в квартире не видно того уюта, который непременно связан с домовитостью хозяйки. И, поскольку сосед Жедельбаев приезжал ко мне с чисто человеческой тревогой, я счел необходимым поговорить с Уахитом Шариповичем. Но мне не очень хотелось вести этот разговор с профессором в служебном кабинете: беседа могла получиться официальной и незадушевной. На второй или третий день я увидел в окно кабинета, как профессор проковылял через дворик института в стеклодувную мастерскую. Я улыбнулся про себя, ибо мне все время казалось, что Уахит Шарипович не ходит, а ковыляет: так портят кривые ноги его атлетически сложенную фигуру.

Профессор любил шутить над кривизной своих ног, и, несмотря на то, что был старше меня всего лет на десять-двенадцать, поговаривал:

— Вы — дети машинного века, а я успел на коне поездить, с семи лет стал любимым помощником известного в наших западных степях конокрада, не раз с ним угонял байские косяки лошадей... и оттого на всю жизнь искривил ноги, но зато эти ноги в свое время так липли к конским бокам, что меня с седел нелегко было содрать... А пел я вот как:

Пегий конь подо мной рысист,
Косяки понимают мой свист...
Этого бая угнал лошадей,
Кто там другой: пузом трясись!

И Жедельбаев лихо запевал старинную песню степных робингутов.

Я встретил его во дворе. При виде меня зеленватые глаза профессора на полном одутловатом лице заискрились. Подавая руку, он лукаво поддел меня:

— Приветствую моего директора... Вот хожу к стеклодуву, кланяюсь в ноги, для мыши, знаете, сильнее кошки зверя нет... Стеклодув этот для меня более важен, чем директор, президент и вообще кто-либо. Решать подобные вопросы можно бы и через вас, да надо временем дорожить...

— Вы, профессор, не перестаете распоряжаться, как директор; люди продолжают по инерции слушаться вас и, естественно, что вы свои вопросы решаете без меня, — не остался я в долгу. — Давайте, Уахит Шарипович, погуляем, научным работникам иногда, говорят, полезно по-

болтаться, непривычная обстановка освежает мысли... — добавил я, не дожидаясь ответа на свою шутку, и мы пошли с ним в парк, расположенный рядом с институтом.

Сообщив ему, что меня посетил его сосед, я даже пожалел об этом: так изменился весело шедший рядом со мной Уахит Шарипович. Улыбчивые глаза его сразу потемнели, упругие, лоснившиеся щеки стали серыми и обвисли. Он довольно долго шел молча, потом заговорил, и говорил, наверное, часа два. Я не считал необходимым перебивать его вопросами. Женился он, когда ему было почти сорок. До этого возраста дотянула его несчастная любовь, принеся глубокие разочарования наряду с неверием в женскую привязанность. И когда его теперешняя жена стала настойчиво проявлять к нему свое внимание, ему показалось, что эта самая Жемис, тоже оставшаяся одинокой почти до тридцати лет в результате каких-то сердечных неудач, и есть та наиболее подходящая женщина, которая может устроить его судьбу. Срочно была сыграна пышная свадьба, которую ее родственники старались сделать, естественно, за счет состоятельного профессора-зятя. Но после свадьбы покладистую и ласковую Жемис будто подменили. Впервые скандал разразился, когда Уахит Шарипович задержался на профсоюзном собрании и пришел домой позднее обычного на два или три часа, Жемис устроила такую истерику, что бедный профессор не знал, куда деваться. Она обливала его всевозможной грязью, обвиняла в различных грехах, будто бы совершенных им в тот день и до этого. Разъяснений она не слушала, ибо была совершенно уверена в правдивости того, что ей подсказывало ее больное воображение. Уахит Шарипович был ошарашен, потом пришел в себя, и, так как грязные обвинения продолжались, он не выдержал и тоже начал кричать, пошли взаимные угрозы... Словом, было очень плохо, одно лишь утешало, что никого, кроме них, дома не было. Мать, никогда не отлучавшаяся от своего единственного Уахита, ушла жить к дочери, хотя у той жила свекровь. Уахиту Шариповичу было тяжело, но он терпел и прощал супруге бурные сцены, которые неожиданно повторялись. Его сильно настораживало и то, что ею ни разу не овладевало раскаяние за эти нелепые и дикие выходки. И все же он старался быть до конца снисходительным, оправдывая нервозность жены ее беременностью.

Родился сын, радостям Уахита Шариповича не было предела, он сам пеленал и купал малютку, каждое утро до работы выносил на свежий воздух, бегал спозаранку за детским питанием, так как молодая мать плохо кормила своего первого ребенка. Между тем, сцены продолжались по-прежнему. Самым ужасным было то, что среди ночи Жемис начинала вдруг громко реветь, даже как-то подывая. Уахит Шарипович с ужасом просыпался, не зная, что делать. Он лихорадочно искал выход из своего положения и не находил. И, когда ему предложили поехать директором вновь открывающегося института, он с удовольствием согласился, это ему показалось спасением, ибо считал, что на Жемис вредно влияет ее окружение. Однако ее выходки не прекратились и здесь, она продолжала его ревновать ко всем женщинам почти без разбора. Ему нельзя было при жене отвечать на приветствия других женщин, ибо Жемис тут же менялась в лице, и он уже знал, что за этим дома последует ужасная сцена. Через два года родилась и дочь, но взаимоотношения с женой оставались прежними. Ее не покидала болезненная ревность, сопровождавшаяся сценами настолько дикими, что он еле удерживался, чтобы ее не избить. Был даже случай, когда она, явившись за чем-то на работу к Уахиту Шариповичу, увидела, как из директорского кабинета выходила молодая сотрудница, и, заподозрив неладное, бросилась в кабинет и запустила в мужа тяжелый чернильный прибор со стола, который, к счастью, чуть задев висок Уахита Шариповича и обрызгав его лицо и костюм чернилами, пролетел мимо. Она настолько была вне себя, что не заметила сидевшего в кабинете Холода, которому действия жены профессора очень пришлось по душе.

— Таковы несчастные обстоятельства моей жизни, Мажит Муканович! Я не в силах ничего понять... Она неплохо кончила университет. Устроилась здесь на хорошую работу — преподавателем в институте, но ее постоянная ревность не дает ей покоя... — со вздохом закончил печальную повесть Уахит Шарипович.

— Уахит Шарипович, скажите честно, вы любите ее?

— Честно сказать, в те дни, когда я сошелся с ней, мне казалось, что я ее люблю... Потом я решил, что она больна, и стал ее жалеть, и, может быть, от этого терпел ее выходки, теперь овладело мной такое безразличие к ней, что держат меня возле нее только мои детки. Ненавидеть ее не могу, настолько она нелепа, нелогична в своих

поступках... Ни разу не раскаивалась и не извинялась. Вместо этого она лепетала что-то детское и наивное, вроде: «Ведь я его люблю...» Как будто, любя, можно делать любую гадость... Все прошло, дорогой Мажит! Я во всем разуверился, остается мне от нее уходить... Ибо она не работает, как положено, и, по существу, не работает и я... Уже пять лет, как пишу монографию, не могу дописать, сотрудникам помогаю из рук вон плохо. Надо бежать и бежать...

— Не надо этого делать, Уахит-ага... «Все образуется», — мудро говорил Облонскому его Матвеич. Ведь ваша жена, в сущности, неплохой человек... Только затянулось ваше притирание друг к другу... У нее, наверное, не было воспитания. Ваша задача воспитать...

— Ох, уж сколько я слышал, Мажит Муканович, таких увещеваний, кто только не занимался моими семейными делами. Плохо, когда в семейной жизни не остается укрепляющих ее секретов...

Я, может быть, не передал и десятой доли того, что мне тогда рассказал Уахит Шарипович. Это была, дорогой друг, тяжелая, печальная повесть. Я не мог не верить ему. Мне было жалко и Уахита Шариповича, и его жену, и детей. Во всем этом было что-то такое, что не подчинялось логике такого человека, как я, не выдавшего в семейной жизни ничего подобного. Прошло некоторое время, как Иванидис, который был близок к своему шефу, с тревогой передал мне, что дело, по-видимому, идет к полному разрыву, ибо Уахит Шарипович ведет переговоры о переводе в столицу. Нам профессор был очень нужен, и я очень жалел этой об потере. Мне почему-то думалось, что никто по душам, по-человечески не разговаривал с Жемис Жанибековной. Я сделал такое предложение своей жене, но она наотрез отказалась, сказав, чтобы я уволил ее от обязанности видаться и беседовать с такой несусветной дурой. В то время я очень верил в свои способности убеждать и решил поговорить с женой Жедельбаева сам, тем более, полагал, что человек с университетским образованием не может вовсе не обладать хотя бы какой-то крупницей разума. Был единственный способ побеседовать — у них дома. Я позвонил, подняла трубку сама Жемис Жанибековна и изъяснила радость по поводу моего желания посетить их. Сел в машину и через пять-десять минут был у профессора дома.

— Ты что, Мажит Муканович, один приехал, зови жену,— засуетился было Уахит Шарипович, но я пошутил:

— Уахит Шарипович, если хотите, чтобы я чуть выпил, угостите меня без нее, ведь при ней, сами знаете, не смогу, от одного ее взгляда желание пропадает...

— Тогда бегу в магазин,— собрался Уахит Шарипович. Сын увязался за отцом, и я остался с маленькой дочерью, которая спокойно возилась на своей кровати с игрушками. Я счел удобным обратиться к суетившейся на кухне хозяйке.

— Жемис Жанибековна, извините меня, не трудитесь, пожалуйста, я только что поел, тем более, хочу попросить разрешения обратиться к вам с одним деликатным вопросом. Это правда, что у вас не ладятся семейные дела?.. Это многим и мне, в частности, непонятно: оба вы хорошие, интеллигентные люди, такие красивые дети...

Стоило мне это сказать, как немедленно пропала веселость хозяйки, ее небольшие серые глаза позеленели, толстые губы вокруг маленького рта собрались в гармошку, и эта улыбчиво-радушная дама превратилась в дышащую злостью мегеру. Она начала поносить Уахита Шариповича такими словами, что я не знал, как ее слушать, так как остановить было невозможно: она совершенно не обращала внимания на мои попытки перебить ее. Никакой логики в том, что она говорила, не было, и я лихорадочно начал соображать, как мне вывернуться из этого положения. Я с ужасом думал о том, как буду выглядеть перед Уахитом Шариповичем, когда он вернется. Оставался единственный способ — выйти и дожидаться Уахита Шариповича во дворе.

— Женгей, извините, я сейчас вернусь,— пробормотал я и выбежал, несмотря на то, что взбеленившаяся хозяйка продолжала кричать свое.

— Ты что, мой директор, во дворе моционировать? Женгей твоя выгнала, что ли? — говорил Жедельбаев, встретив меня гуляющим во дворе. — Пойдемте...

— Да вышел отдать шоферу распоряжение...

Мне, признаться, не хотелось идти, но я не мог обидеть радужного Уахита Шариповича и вернулся. Меня поразило, что Жемис Жанибековна встретила нас как ни в чем не бывало, с прежней веселостью; можно было подумать, что ее подменили. Посидел я часик, ведя никчемные разговоры, и ушел, думая о том, как много в жизни

сложностей, не укладывающихся в логику нашего мышления.

Профессор Жедельбаев все же уехал. Я на всю жизнь запомнил тяжелую сцену, когда этот большой, сильный человек, придя перед отъездом ко мне, зарыдал. Оказывается, он только что был у дома, где он жил, желая повидать детей, и когда сын, бегавший во дворе, бросился к нему, из окна второго этажа раздался лающий крик матери, и испуганный мальчик, оглядываясь, убежал домой.

— Извини, Мажеке, за проявление слабости,— говорил он, успокаиваясь.— Мне лучше не тревожить детей, вырастут, найдут...

Через несколько дней, убедившись, что на этот раз Уахит Шарипович уехал насовсем, ко мне пришла Жемис Жанибековна и стала истерически рыдать, упрашивать, чтобы я вернул ей мужа.

— Ведь вы же сами виноваты,— пробовал совестить ее я, но она продолжала говорить свое, обвиняя всех, кроме самой себя. И все же мне понравилось, когда она, уходя, сказала:

— Я все равно теперь всю жизнь буду ждать его...

Уахит Шарипович не дождался того времени, когда повзрослевшие дети нашли бы своего старого отца. Он прожил в столице несколько лет, устроившись заведующим кафедрой в одном из вузов. Однажды мы получили печальную весть о его кончине от инфаркта. По-видимому, длительные семейные дразги и разлука с детьми не прошли ему даром. Между тем, дети Жедельбаева превратились в рослых, красивых юношу и девушку, оба пошли лицом в отца, сын уже студент. Я их изредка вижу, поскольку живем мы в одном квартале. Жемис Жанибековна после того, как уехал Уахит Шарипович, не долго держалась своего слова, вышла замуж за спокойного мирного парня, и я, часто раскланиваясь с молодой представительной дамой, на которую, как мне кажется, время не действует, думаю о талантливом профессоре, чья научная отдача была варварски сокращена рассказанными выше обстоятельствами личной жизни.

Семейная драма профессора Жедельбаева запомнилась мне, и я боялся повторения ее в какой-либо сфере среди близких сотрудников. Есть у нас трудолюбивая старшая научная сотрудница кандидат наук Аккагаз Жаниенова. Помню, пришла ко мне маленькая, хрупкая жен-

щина, претендуя на то, чтобы быть моим аспирантом. Я, честно сказать, не испытал при этой первой встрече особой веры в ее возможности, но все же согласился. Аккагаз оказалась удивительно самостоятельным человеком, воле и смелости которого позавидовал бы любой мужчина. Когда мы договаривались об очередных экспериментах, она молча уходила, чтобы вернуться только когда эти эксперименты с присущей ей дотошностью бывали выполнены. Мне это нравилось, и я не мог этим не дорожить. Лишь однажды она чуть струсила, когда на одну из ее статей, посланных в центральный научный журнал, пришел разгромный отзыв известного академика. Однако после тщательного обсуждения мы решили наши опыты повторить и убедились, что мы правы. Академик-рецензент, по-видимому, согласился с нашими доводами, и статья была напечатана. Так вот эта целеустремленная маленькая Аккагаз, когда дело приблизилось к окончанию диссертации, как будто и не радовалась столь успешному завершению своей работы. Однажды она пришла ко мне и сказала:

— Мажит Муканович, я, наверное, не буду защищаться!..

Это было ново, я посмотрел на свою аспирантку: чуть раскосые выразительные черные глаза помутнели от накатывавшихся слез, что было совершенно непривычно для этой твердокаменной особы. Оказалось, что муж устраивает постоянно сцены, считая, что она, получив ученую степень, займет положение, ущемляющее его авторитет как главы семьи. Мне оставалось посоветовать ей собрать всю присущую ей выдержку и довести дело до конца, ибо соискание ученой степени не личное дело каждого из нас, поскольку научные работники нужны не для семьи, а для страны и науки. Эти слова я не находил высокопарными, потому что всегда считал, что многие талантливые люди не совсем понимают свое общественное предназначение. Аккагаз успешно защитилась, и, несмотря на бойкот со стороны мужа ее научным успехам, она продолжает довольно плодотворно работать, хотя мне кажется, она могла бы трудиться успешней, если бы не эти особенности ее личной жизни.

Так, вольно или невольно вникая в чужие неприятности, я всегда благодарил судьбу за то, что она наградила меня, баловня своего, такой женой, с которой ты находишь нужным при встречах смачно целоваться. Я

никогда не отличался ревностью, но, обладая склонностью в моменты нервного возбуждения срывать зло на близких, готов был вспылить по поводу и без повода — в такие моменты она отделялась непроницаемым молчанием, благодетельные последствия которого я с годами оценивал все больше. Моя мать, которая любила, если не сказать обожала свою сноху, помню, как-то сказала, смеясь:

— Везет, Мажит, твоему роду насчет жен! — имея в виду, конечно, в основном меня и моего отца.

Я ответил ей тогда:

— Хвастливая ты, старушка Умсун! От тебя и ко мне перешло это свойство, все время ловлю себя на желании похвастать!

Теперь, когда ее, моей милой матери, нет (она умерла лет десять назад), я не нахожу ничего излишнего в том, что она гордилась женой старшего сына, находя в ней самые лучшие черты своего характера. Быть женой профессора, который, кроме скверных особенностей своего характера, еще и обладает привычкой по-степному во время и не вовремя приводить гостей, ставя супругу в неудобнейшее положение, растить его двух дочерей и двух сыновей, которые, взрослея, не уменьшают, а, наоборот, прибавляют забот, и, кроме того, еще работать доцентом, на такое способна, как я полагаю, только сноха моей матери, ибо недаром в народе говорят, что пыль очага помогает наследовать молодой женщине все хорошее от свекрови. Что касается детей, то вот растут акселераты, не видевшие ничего подобного, что видели мы, и рассеянно, лишь из чувства деликатности слушающие скучные для них сказки о нашем тяжелом былом. Все, кажется, хорошо: и ведут себя корректно (мамино воспитание), и учатся неплохо (старшая кончает институт), но я ишу в них и не могу обнаружить ту радость и счастье, которые ощущал в юности, когда познавал что-то новое и у меня возникало желание познать глубже и дальше,— все для них так просто и так легко... Я боюсь этого отсутствия азарта ставить перед собой трудные задачи и ощущать душевное удовлетворение от преодоления их, ибо мне мыслится, что без последнего не может вырасти творческая личность. И поневоле приходится все чаще вспоминать знаменитую предсмертную песнь-завещание акына Кемпирбая, точнее, две строчки из нее:

Птица-песня махнула крылами, угрюмо сказавши: «Прощай!»

Значит в насест ей не годен мой сын Серкебай...

Иногда я отгонял от себя эти удручающие мысли, полагая, что сам был не лучше, чем они, что дай тогда теперешние условия жизни, я выглядел бы даже хуже, и что напрасно я ставлю перед ними задачи, родившиеся в моей голове от позднего раскаяния за глупости юных лет, которых было не так уж мало. Может быть, думается мне, эти превозносимые мною радости от познания нового накатывались на меня лишь изредка и запоминались-то из-за своей редкости, а я несправедливо обобщаю. Может быть, и так... Истина, пожалуй, где-то в середине, и у меня, возможно, нет особых оснований жаловаться на детей...

Как сложна все же, мой дорогой читатель, эта жизнь и как она горазда на такие удивительные сюрпризы, что порою и не разберешься, приятны или неприятны эти сюрпризы. Что ты можешь мне сказать, дорогой гуманист, про такой случай, происшедший недавно здесь в этой палате. Входит молодая, красивая женщина, ничего не сказав, садится рядом, кладет свою маленькую ладонь на мою руку, лежащую на бедре, и, наклонившись, начинает беззвучно плакать. Это для меня так неожиданно, что долго молчу, не зная, что сказать. Потом, поняв, что надо что-то говорить, бормочу:

— Не плачьте, не надо... Здравствуйте, спасибо, что пришли... Когда приехали?... Как живете, как работаете... Все нормально... плакать не надо...

Не знаю, сколько продолжался этот ее беззвучный плач, но знаю, как мне стало приятно и легко, когда она наконец подняла голову, вытерла слезы, распушив свои длинные, не тронутые краской ресницы и посмотрев на меня большими, увлажненными, ласковыми глазами, засмеялась радостным смехом:

— Простите меня, Мажит Муканович, за эту бабью выходку, наверное, и вправду в народе говорят, что не бывает в жизни хорошего, пока не подумаешь о плохом... Мне такое рассказывали о вашем состоянии, что я и не знала, как мне быть, в таком была шоке... Забыла работу, мужа, детей, себя и только жила желанием во что бы то ни стало увидеть вас, и когда, дозвонившись, узнала, что разрешат вас посетить, немедленно прилетела... Войдя, увидела вас таким, каким я вас знаю, улыбающимся только вам присущей улыбкой, и, знаете, не выдержала... А шла ведь, крепилась, хотела сказать что-то обычное, незначительное, что полагается говорить больному. Расквасилась, расплакалась. Расплакалась от радости, что вы

выглядите совсем не таким, каким я представляла, плохо думая о вашей болезни... Простите меня...— И снова ее бездонные глаза помутнели от слез. Я увидел, как ее красивое лицо, постоянно удивляющее меня неувловимым сочетанием нашего национального с античным и отличавшееся подчеркнутой суровостью, как-то расслабилось и обмякло.

— Как хорошо, что я заболел, иначе не знал бы, что вы — тоже женщина...— пробую шутить я, чтобы скрыть волнение, но чувствую, что шучу не очень тактично... Она, улыбаясь, исправляет эту неудачную шутку:

— Не женщина, а просто баба... живущая, как все бабы, чувствами и сердцем...

— И все же здорово, что вы приехали! Молодец, спасибо!..— говорю я, чувствуя, как и на мои глаза с постыдным запозданием навертываются слезы счастья, стараюсь скрыть их, и это мне удастся. Слабость продолжается недолго, ко мне возвращается благо-разумие.

Женщина эта — большой ученый, стремительно и рано достигший высот науки. У меня сложилось мнение, что главное у нее еще впереди, ибо в делах она отличается страстной и в то же время холодной, неженской рассудительностью. Я знаком с ней с тех пор, как она, работая над докторской диссертацией, обращалась ко мне за консультациями по отдельным вопросам, и нам приходилось пространно беседовать на научные темы, поскольку мы находили много общего в наших взглядах на различные занимающие нас проблемы. Я побывал в один из своих приездов у нее дома и познакомился с ее мужем и двумя мальчиками, с приятностью ощущая уют и благополучие в молодой семье. И, признаться, никак не ожидал, что она может так разволноваться, получив известие о моей болезни. И я думаю, что это сердечное неравновесие в молодой женщине вызвано неудовлетворенностью в личной женской судьбе. Полагая так, я прихожу к не очень приятному для моего самолюбия признанию, что моя персона является лишь неким индикатором для проявления этой ее неудовлетворенности и что мне не следует обольщаться тем, что я являюсь предметом ее волнений. А может быть, мне, успевшему убить в себе все возвышающие, зовущие к благородному безрассудству чувства и превратиться в старого сухаря, просто хочется оправдать свою наружную глухоту к не-

ожиданному вниманию, на которое способна только женщина... Что ж, может быть, и это...

Я заканчиваю, дорогой друг, это последнее письмо. Боюсь, что не очень пополнил твой и без того большой запас знаний о тружениках науки. В письмах к тебе остался таким же, каким бываю в моих научных раздумьях: хотелось писать о главном, о чем просил, а лезло на бумагу второстепенное, находящееся около главного. Не смог победить себя. Прошу меня простить.

Несколько лет тому назад была отмечена некая круглая дата моей жизни. Жаль, что, приболев, ты не мог тогда присутствовать. Было собрание, где преувеличенно отмечались мои заслуги. Я же сидел и думал, что, по-видимому, чем старше становится ученый, тем больше его надо похваливать, ибо похвала — единственный способ, с помощью которого, вероятно, можно заставить нашего брата как-то работать, в особенности в тех случаях, когда этот брат-ученый в какой-то мере достиг степеней известных. Я это не преминул тогда же высказать. Я и теперь совершенно уверен в этом, и каждое слово о так называемых достижениях академика Нурбаева не перестает вызывать во мне тревожные размышления о чем-то недодуманном, недоделанном... И в этой тревоге, может быть, дорогой друг, и заключается смысл жизни.

г. Караганда, 1982 г.

Букетов Евней.

Б 90 .Шесть писем другу.— Алма-Ата: Жалын, 1989.— 288 с.

Читателям хорошо известно имя академика Евнея Букетова. Он ушел из жизни, но остались его бесценные научные труды, его книги, сборники очерков и эссе, художественные переводы классиков мировой и советской литературы.

Эта книга, написанная в форме писем другу, наиболее полно и ярко отражает личность автора, легко и естественно рассказывает о лучших традициях советского народа, о славных людях, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, о самом дорогом и священном — дружбе между людьми.

Б 4702010201—56 30—89
408(05)89

6601783

Евней Арстанович БУКЕТОВ

ШЕСТЬ ПИСЕМ ДРУГУ

Редактор *Хасенова К*
Художественный редактор *Тленшиев А.*
Художник *Слюсарева Р*
Технический редактор *Кушнарева Н*
Корректора: *Алексеевко Л., Едилова С*

ИБ № 4152

Сдано в набор 18.13.88 Подписано в печать 21.10.88. УГ 28112. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная Гарнитура литературная Печать высокая. Усл. кр.-отт 15,96. Усл. п. л. 15,12+0,21 вклейки. Уч изд. л. 16,32 Тираж 24 000 экз. Заказ 53 Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «КИТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, пр. Гагарина, 93

Набрано ВЦКП ГКН СССР с использованием АСУТП «Союз» оператором Карибаевой Г Р